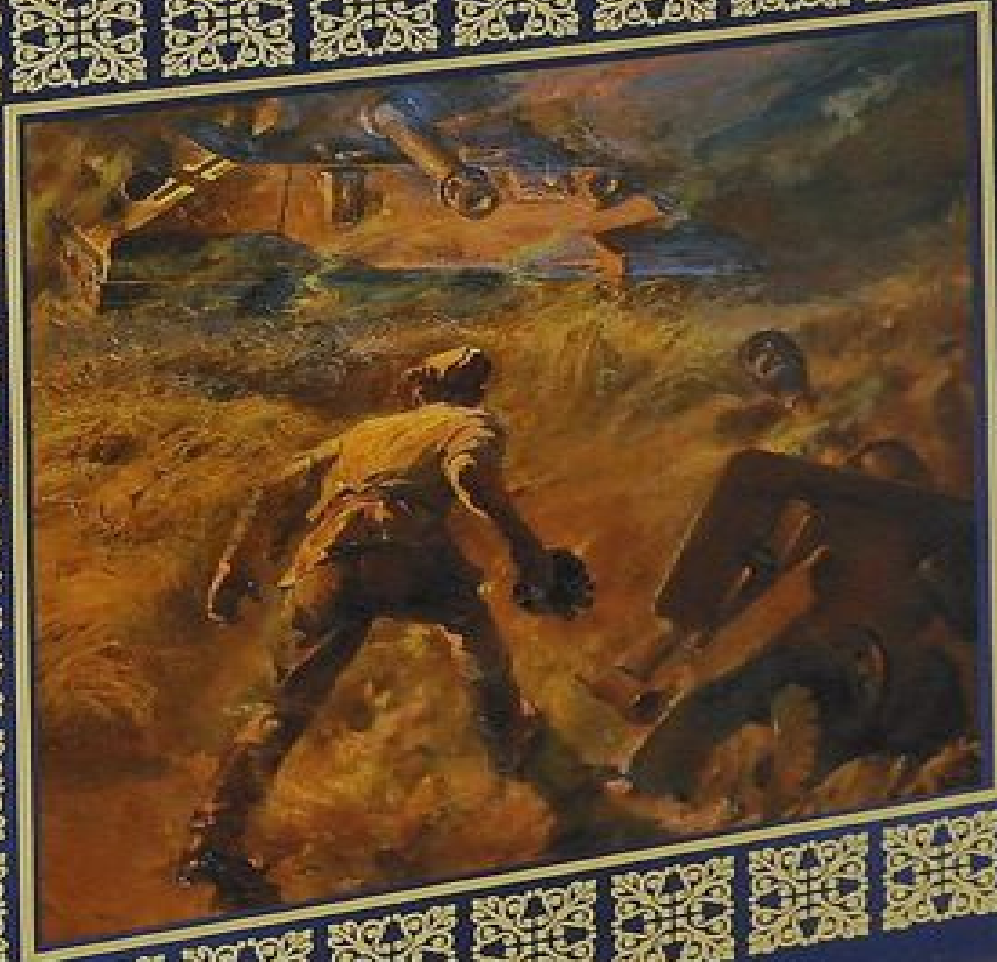




ВИКТОР АСТАФЬЕВ

ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ  
книга первая  
ЧЕРТОВА ЯМА



В. АСТАФЬЕВ • ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ • I



## Annotation

Роман [Виктора Астафьева](#) «Прокляты и убиты» — одно из самых драматичных, трагических и правдивых произведений о солдатах Великой Отечественной войны. Эта книга будет им вечным памятником.

---

- [Виктор Петрович Астафьев](#)
    - [Расскажу о себе сам...](#)
    - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
      - [Глава первая](#)
      - [Глава вторая](#)
      - [Глава третья](#)
      - [Глава четвертая](#)
      - [Глава пятая](#)
      - [Глава шестая](#)
      - [Глава седьмая](#)
      - [Глава восьмая](#)
    - [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
      - [Глава девятая](#)
      - [Глава десятая](#)
      - [Глава одиннадцатая](#)
      - [Глава двенадцатая](#)
      - [Глава тринадцатая](#)
      - [Глава четырнадцатая](#)
      - [Глава пятнадцатая](#)
    - [Послесловие](#)
-

# **Виктор Петрович Астафьев**

## **ЧЕРТОВА ЯМА**

*Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом.*

*Святой апостол Павел*

## Расскажу о себе сам...

### Автобиография

По деревенскому преданию, мой прадед Яков Максимович Астафьев (Мазов) пришел в Сибирь из Каргопольского уезда Архангельской губернии со слепой бабушкой как поводырь. Происходил он из старообрядческой семьи, не пил горькую, не курил, молился наособицу, был от рождения башковит и в преклонном возрасте тучен телом.

Еще будучи подростком, похоронив или с кем-то оставив бабушку (говаривали, что он с нею еще и в Овсянку переселился, но точных данных на этот счет нету, а очевидцы давно все померли), так вот, будучи еще подростком, прадед мой подался в верховские енисейские села, где нанимался работником на водяные мельницы. Там он освоил мельничное дело и заработал денег, которые зашил в драную меховую шапку и бросал ее где попало, чтобы капитал не украли и капиталиста не ограбили. Об этом со смехом рассказывал мой дедушка Павел Яковлевич Астафьев, единственный сын Мазовых Анны и Якова.

На капиталы, нажитые трудом праведным, Яков Максимович построил мельницу на речке Бадалык за городом Красноярском. Город бурно строился и развивался, леса вокруг него вырубались на строительство и выжигались под пашню. Речка Бадалык измельчилась, летами начала пересыхать. Мельничных мощностей хватало смолоть мешок зерна, а потом ждать накопления воды в пруду. В конце концов Яков Максимович бросил мельницу на Бадалыке и пошел искать новое место. Побывал он в селах Торгашино, Есаулово и еще где-то, везде на речках стояли мельницы и работали с полной нагрузкой. Прадед пошел в село Базаиху, а там на речке Базаихе стоят уже две мельницы, и одна из них на механическом ходу.

Были у прадеда в Базаихе родственники или знакомые, и они подсказали ему, что за перевалом бурно развивается село Овсянка, а мельницы в нем вроде и нету. Яков Максимович построил на краю села Овсянка маленькую избушку. И то ли оттого, что она была в пазах мазана глиной, иль потому, что примазался к селу, его здесь называли Мазовым, а все его потомство, и меня в том числе, звали Мазовскими.

Я не только поносил в детстве прозвище Витька Мазовский, но и пережил избушку прадеда. Еще в 1980 году, когда я переехал из Вологды на родину, избушка — подлаженная, с фундаментом и верандочкою и все еще мазанная по пазам — стояла на месте. Но затем ее продали хозяева, наездом бывавшие в ней, и на месте ее сейчас стоит кирпичный особняк в два этажа, пустующий и летом, и зимою. Кто-то вложил в это сооружение ворованные деньги и затаился.

Прадед же, Яков Максимович, переселившись в Овсянку, начал осваивать речку Большую Слизневку, которая в то время называлась Селезневкой. Был прадед могучен и трудолюбив, он на себе таскал бревна из лесу, а в прежние времена лес произрастал прямо от овсянской околицы и до обеих речек Малой и Большой Слизневки. Помню я, что Большая Слизневка была по обоим берегам заросшая красивым сосняком. Несколько сосен с обрубленными сучьями, напоминающие нищенку или употребленную на ходу проститутку, еще стоят по огородам нынешнего поселка, где леспромхозовских рабочих и сплавщиков с их устарелыми хибарами окружили и под гору спустили со всех сторон напирющие, нахрапистые дачники, и где еще сохранился бугорок от насыпи, а в правом берегу часть сруба мельничной плотины.

Дед мой, Павел Яковлевич Астафьев, с детства человек бедовый, в детстве же потерявший глаз (левый), от пыльного, дисциплины требующего мельничного труда увильнул. Обучился играть на гармошке, плясать босиком (это считалось особым шиком в Овсянке), рано начал жениться и творить детей. И то ли роковым он был человеком, то ли диким темпераментом обладал и загонял жен до гробовой доски, но только одна за другой его жены мерли. И дело дошло до того, что ни в одном овсянском доме, ни одну девку в роковой дом не отдавали. Я не помню, где был первый дом деда, но тот, что был построен в начале двадцатых годов на берегу Енисея, помню довольно ясно, дом этот есть на фотографии овсянской школы. Судьбе было угодно часто шутить надо мною, и, не иначе как в шутку, первоклашкой ходил я в родной дом. Сейчас на месте этого давно сгубленного дома стоит двухэтажный особняк, построенный местной самогонщицей для своего сыночка, тоже промышленяющего подпольным торговым делом и отравляющего впавших в пьянку паленкой, то есть древесным спиртом. Ему уже и самогонку гнать не надо, хотя под

домом он устроил целое бетонное помещение для самогонного цеха. Вероятно, сейчас там склад с бочонками травленой жидкости.

Ну да бог с ними, с этими жлобами, что заполонили мое родное село, наседающими на него со всех сторон особняками, виллами и современными дворцами. А когда-то наш дом с первою в деревне терраской был самым видным и, однако, самым шумным. Дед Павел, устремясь к торговому делу, сшибал какие-то подряды, пытался проникнуть в потребиловку и винополку, на недолгое время проникал, но в силу сверхообщительного характера и склонности царить в винополке не только на правах хозяина, но и потребителя быстренько оттудова вылетал. Старший его сын и мой отец, Петр Павлович, был из дома отца изъят Яковом Максимовичем и под крылом его, лупимый часто кулаком, порой и палкою, обучен мельничному делу — как оказалось впоследствии, на беду и горе нашей семьи.

Когда пала третья жена Павла Яковлевича, остался полный дом детей, приبلудного люду. Печник Махунцов, например, знаменитая на всю округу личность, годами тут обретался. А во дворе ревела и била стойла некормленная скотина. Дед проделал еще одну дерзкую операцию — раз за него никто замуж не идет, женил старшего сына на Лидии Ильиничне Потылицыной, моей будущей маме. Так вот в содомном, часто пьяном доме моего деда появилась работница из большой, трудовой и крепкой семьи. И хотя ломила она работу день и ночь, справиться с таким разгильдяйским домом и хозяйством одна была не в силах. И тогда дед задумал и провел еще одну очень простую, но предрезкую операцию.

Надев все «выходное» на себя, начистив хромовые сапоги, прихватив гармошку, он с верховскими обозниками подался вверх по Енисею искать себе жену. На самом Енисее ничего у него не получилось, и он, как опытный стрелок и рыбак, ринулся на его притоки, где и сопутствовала ему удача.

На волшебной-красивой реке Сиси, в одноименном селе, ныне не существующем — затоплено, — высватал он сироту, вошедшую в лета и уже немалые, Марию Егоровну Осипову. Поскольку дед был человеком с коммерческими наклонностями, для начала наполовину обсчитал ее на детях. «Бабушка из Сисима», — так звал я ее маленький, так и написал на ее могильной плите. Она была очень красива, бела лицом, нраву несколько скрытного и невероятная

чистюля. Ох, сколько горя и мук она приняла за свою жизнь в семейке Астафьевых и за семейку Астафьевых!

Мария Егоровна обихаживала дом, стряпала, варила, стирала. Мама моя, почти ровесница свекрови, ломила во дворе, папа мой и дед Павел, свалив дом и хозяйство на двух молодых женщин, гуляли и плясали, хвастались ружьями, собаками и конями. Яков Максимович с мельницы почти не вылезал, видеть он не мог, как живут и правят жизнь в доме его сын и внук.

Папа мой был темпераментом награжден от отца своего и быстренько изладил маме двух девочек, но те не выдержали бурной жизни в мазовском доме и умерли маленькими, и я по сию пору не знаю, скорбеть ли по ним иль радоваться, что Бог их прибрал во младенческом возрасте. Однако я всю жизнь ощущал и ощущаю тоску по сестре и на всех женщин, которых любил и люблю, смотрю глазами брата. И они каким-то образом всегда это чувствовали, старались заменить мне сестер, и, видимо, не напрасно первой любовью наградил меня Господь к сестре милосердия, в госпитале.

Но вот пришла пора и мне родиться. В доме гульба, дым коромыслом, и мама ушла рожать в баню, благо это была одна из первых «белых» бань в деревне, и все завершилось благополучно. Дед Павел последнее время водился с городской знатью — зубоставами, парикмахерами, лавочниками, адвокатами иль скорее судебными ярыжками, на более высокое городское сословие он не тянул, но ему и этой шушеры вполне хватало для удовлетворения честолюбия и умной беседы.

Утром мама пришла в дом с узелком и показала деду его первого внука. Восторг, рев, звон бокалов, «аблокаты» вызвали меня крестить и дали мне модное городское имя. Я был первым на всю деревню Виктором. Федек, Петек, Сережек, особенно Колек и Иванов дополна, а Виктор один. Вероятно, роды были тяжелые — попробуй легко родить такого типа, как я. Через несколько дней мама вышла из горницы больная, бледная и, естественно, спросила, окрестили ль парнишку и если крестили, кто крестные, где они и как их звать.

Дед замельтешил, стушевался — имен крестных он не помнил, и тогда мама заплакала и сказала: ну ладно, с ней как с собачонкой обращаются, а с парнишкой-то зачем так? Маму дед уважал и всю жизнь вспоминал с почтением и виновностью перед нею. Он пошел в

церковь и как-то уломал попа окрестить меня снова под тем же многозвучным, модно-шродским именем. Поп, скорее всего, пьяных «аблокатов» всерьез за крестных не принял и в церковную книгу их не записал. Вторыми крестными у меня были сестра мамы Апраксинья Ильинична и юный брат отца Василий Павлович.

Какое-то время семья Мазовых жила мирно и спокойно. Мария Егоровна не убереглась от пылкого деда и родила сыночка, назвали его Николаем. В 1927 году отец мой съездил в устье Енисея под Гольчиху на рыбалку, изрядно заработал и по возвращении с путины широко загулял. Будучи деревенским красавчиком и маломальским гармонистом и плясуном, был он большой волокита, отчего сомневался во всех женщинах, в том числе и в маме. В компаниях он ее ревновал к мужикам и шиньгал все время, то есть щипал и толкал локтем. И дощипался до того, что однажды мама моя, человек твердого характера, но без вспыльчивости, что передалось и мне, сгребла мужа в беремя и потащила его топить в Енисей.

Отобрали добрые люди папу. «И здря, и здря отобрали», — заверяла потом бабушка моя, Екатерина Петровна, на дух не переносившая гулевого зятка. Несколько раз мама уходила из дома Мазовых, но, имея доброе сердце, начинала жалеть мазовских ребятишек, необихоженную скотину, тосковала по дому свекра, да и папу, видать, любила, на горе свое и беду, вот и возвращалась батрачить в надсадном хозяйстве Мазовых.

Тем временем на страну Россию, на село наше и на безалаберное семейство Мазовых надвинулись эпохальные события и перемены, началось раскулачивание и коллективизация. Везде и всюду по Руси великой мельник был первым кандидатом в кулаки, и Яков Максимович Мазов не избежал этой участи. Ему перевалило за сто, на мельнице он давно не работал, сдавал ее в аренду сельской общине, и в любом разум не потерявшем государстве трясти его, кулачить и затем из дома гнать было бы предосудительно. Но у нас все моральные устои — уважение к старости, понятия чести и совести как-то сразу и охотно были похерены. Оказались мы, русский народ, исторически к этому подготовлены. И уроки костолома сумасшедшего Ивана Грозного, и реформы пощады не знавшего Великого Петра, и затем кликушество народившейся интеллигенции, породившее безверие, высокомерное культурничество нигилистов, плавно перешедшее и переродившееся в



народничество, метавшее бомбы направо и налево, наконец, наплыв на Россию революционеров сплошь нерусских, оголтелых фанатиков — не прошло даром.

Темная, неграмотная страна продрала спросонья очи и круто взялась за преобразования, поднялась на борьбу не только за свое счастье, но и всего мирового пролетариата. Дед Мазов, дни и ночи игравший с бабкой Анной в карты и люто ее ревновавший, раньше-то некогда было — на мельнице обретался круглые сутки, времени на причуды не оставалось, вот он и наверстывал упущенное, изводил тоже столетнюю жену свою. Как вскоре оказалось, был он уже «не в себе», и когда Мазовых всем табором и его с женой вытряхнули из дому, не сразу догадался, что произошло. Его с бабкой Анной переселили в баню, и отгудова неся по окрестностям дребезжащий боевой напев: «Ето есь наш последний и решительный бой...» Кто завез на мельницу эту славную песню, дед уже не помнил.

Песенка эта так прилипла к деду Мазову, что и на пароходе «Спартак», везомый на Север, в ссылку, он, приплясывая в кальсонах на палубе, повторял и повторял эти слова...

А до этого была тяжелая высылка из дома, из разоренного села, в котором из 250 домов после завершения коллективизации осталось 85, остальные были сведены с земли, растасканы на дрова, сожжены ради потехи, но большей частью уплавлены со всем скарбом, иногда и с разобранной печью, в Красноярск. Закачинский поселок по улице Лассалья (ныне Брянская), вся почти Покровка, дальние окраины Николаевки выросли за счет сбежавших от коллективизации приенисейских крестьян.

Самая тяжкая ноша, или, точнее, доля, досталась Марии Егоровне, бабушке моей из Сисима.

Отец мой был с семьей отделен от семьи заранее предусмотрительным отцом, Павлом Яковлевичем, и семья наша обреталась в зимовье, где мама до высылки спасала ребятишек и стариков мазовских. Затем бдительная власть, пуще огня боящаяся своего народа, пересадила глав раскулаченных семейств в тюрьму. И Вася, мой крестный, вслед за отцом был посажен в тюрьму, как только ему исполнилось 16 лет. Бабушка из Сисима со всей оравой попала на пересылку в Николаевку. Там, неподалеку от кладбища, на пустыре был огорожен колючей проволокой загон, в котором томились тысячи

семей спецпереселенцев. В загоне не было никаких построек, даже нужников не было. Люди растоптали, размесили загон, скоро тут началась дизентерия, подкрадывались и другие страшные болезни, которые преследовали и преследуют скученных, обездоленных людей.

Видимо, в загон загнали людей на короткое время, но бардак и разгильдяйство, порожденные советской властью и до сего дня не изжитые, привели к тому, что люди начали гибнуть. Прежде всего дети. Их ночами выносили за проволоку и возле въезда складывали в кучи. Слово «сибиряк» в ту пору произносилось реже, чем сейчас, но истинные сибиряки были! Они, объявляя себя родственниками, разбирали и хоронили мертвых детей, помогали затворникам, чем могли, иных и выкупили у охранников, забрали к себе.

И вот избавление от нечаянного концлагеря — везут на Север, строить новый порт Игарку. Во главе мазовской оравы, где нет ни одного трудоспособного человека, и таких семей здесь большинство, — Мария Егоровна. Расположились удобно, в трюме, и ехали ладно до Енисейска и Подтесово. Там на пароход ввалилась орда пролетариев под названием «ирбованные» и подняла хай — как так, вражеский элемент расположен с комфортом, а сознательные советские трудящиеся загибаются на палубе.

Вытряхнули Марью Егоровну, вытряхнули из трюма вместе с помешавшимся стариком и ребятишками. Попали они табором за пароходную трубу. Пароход отапливали дровами, и, хотя на трубе была решетка, мелкие уголья вылетали наружу, падали на половики, одеялья, одежонку, которыми были укрыты спящие Мазовские. Бабушка обирала пальцами уголья, и, когда пароход пристал к берегу возле Черной речки на карантин, брюшки ее пальцев были сожжены до костей.

Все это и дальнейшая судьба Марии Егоровны и детей Мазовых описаны в «Последнем поклоне», «Краже», в рассказах, и повторяться нет надобности. Скажу только, что Мария Егоровна полной мерой извела муки за чужую семью, за верность и преданность семье, из которой в Игарке смог работать только один Иван Павлович, четырнадцати лет от роду. Был он человеком неунывным, башковитым, скоро выучился на рубщика и стал зарабатывать деньги, кормить семью. Погиб он в Отечественную войну под Сталинградом и

похоронен в братской могиле в деревне Селиванове, в 17 верстах от волжской твердыни.

Осенью, уже в начале октября, с шугой вместе прибыли из тюрьмы Павел Яковлевич и Василий Павлович. Марья Егоровна перевела дух, но рановато. Зима, лютая, заполярная, убавила семейство. Умер от цинги дед Мазов, мучительно и долго боролся за жизнь один из сыновей деда Павла горбатый Алеша, но на горбу у него открылся свищ, и он пал, приняв все муки, какие уготовила судьба ему, и без того несчастному человеку. Остальных Мария Егоровна сохранила, сберегла, прежде всего в люльке привезенного в ссылку сыночка своего, Николая.

А в это время в Овсянке преобразования и борьба за счастье человека набирали мощь и силу. По пустым избам гулял ветер, по селу гуляли местные коммунисты Ганька Болтухин, Шимка Вершков, хитро к ним прильнувший Федор Фокин, он же Федоран. И наша невестка, жена дяди Дмитрия Татьяна, женщина здоровая, четверых уже детей нарожавшая, но никакого внимания ни на них, ни на мужа, ни на дом (а жили они долго в зимовье, на подворье Потылицыных) не обращавшая. Вся она была охвачена революционным энтузиазмом, одной из первых вступила в партию и, поскольку была маленько грамотная, занимала какую-то должностишку в комбеде, активно боролась с кулачеством.

Лиза, одна из сестер моего отца, красивая и работающая деваха, гулявшая с хорошим парнем Федором Сидоровым, пристроилась к сидоровской семье. Папа и мама мои жили случайными заработками. Но вот наступили совсем тяжкие времена: пашни и огороды запущены, колхоз имени Щетинкина, наспех сколоченный, на ладан дышит, в деревне нечего жрать — мельница-то деда Мазова умолкнула, замерзла. Нашли, призвали моего папу мельничать, пообещав зачислить его и маму в колхоз, чему мама была безмерно рада. Но потрудиться ей на счастливой коллективной сельхозниве не довелось.

Папа мой, восстановив мельницу, снова загулял, закуролесил, не понимая текущего момента, и однажды сотворил аварию. Но мельница-то не его уже и не дедова — это уже социалистическая собственность. И папу посадили в тюрьму, в красноярскую, ту самую, что и сейчас красуется на проспекте Свободном. Мама нанималась на

поденные работы, пилила дрова на продажу и плавила их в город, где собирала посылку заключенному мужу.

В 1931 году семью нашу постигла еще одна, всю нашу жизнь потрясшая трагедия: плывя с передачей в Красноярск, мама моя, Лидия Ильинична, утонула прямо напротив деревни. Вскоре отца осудили на пять лет как врага народа и послали на строительство Беломоро-Балтийского канала имени товарища Сталина.

В это тяжелое, смутное время случилась еще одна драма, впоследствии обернувшаяся трагедией. Федор Сидоров, муж Лизы, работавший в колхозе кладовщиком, сделал растрату. Был он человек добрый и отзывчивый: кому совок крупы, кому пудовку зерна даст займы, чтобы накормить голодных детей, а отдавать-то нечем. На нем и так висело клеймо «ненадежного человека», как же — женат на подкулачнице. Однажды Федор с Лизой из села бежали, оказались в городе Черемхово, сменили фамилию, достали документы, Федор работал шахтером, а Лиза поваром на той же шахте, где и муж.

Они родили двух детей, жили благополучно, насколько это можно в замордованной, несчастной стране. Накануне войны, в ночь на 22 июня, с Лизой случилось несчастье: паром, выбившимся из котла, ей ошпарило глаза. Какое-то время она жила и мучилась слепая, потом к ней привязался рак, и еще одну страдальицу, русскую женщину, смыло с забедованной русской земли.

В 1934 году, построив великий канал, папа возвратился из заключения, начал гулять и активно свататься. В деревне Бирюсе охмурил он молодую, красивую деваху из большой семьи Черкасовых, Таисью Ивановну, и быстренько сотворил ей младенца, которого без мудростей назвали Николаем. Хватили бед и горя и мачеха моя, и младенец Коля, и я вместе с ними. В повести «Перевал» почти с точностью описана первая зима, проведенная боевой семейкой в поселке Сосновка, в повести переименованном в Шипичиху.

В 1935 году нас унесло в Заполярье, на большие заработки. Что из этого получилось, можно узнать из повести «Последний поклон», прочитавши главы «Без приюта» и «Карасиная погибель».

В 1939 году утонул дед Павел, и вскоре подоспела война. Иван, а спустя год Василий угодили на фронт, где и погибли, защищая столь к ним любезное отечество.

Бабушка из Сисима, Мария Егоровна, с сыночком всю войну отбедовала в Игарке, а мой егозливый папа с неизлечимой страшной болезнью псориазом как-то умудрился попасть на фронт, командовал там сорокапяткой, был ранен в голову и из госпиталя комиссован домой, где вместе с пылкой мачехой, Таисьей Ивановной, сотворил еще четверых детей — двух парней и двух девочек. И они хватили горя не меньше, чем я, давно семьею отверженный и забытый.

В 1942 году я окончил железнодорожную школу ФЗО № 1 на станции Енисей и недолго проработал по распределению на пригородной станции Базаиха составителем поездов.

Отсюда добровольно ушел в армию, угодил сперва в 21-й стрелковый полк, располагавшийся под Бердском, а затем в 22-й автополк, что стоял в военном городке Новосибирска.

Весной 1943 года вместе со всем полком был отправлен на фронт и угодил в гаубичную 92-ю бригаду, переброшенную с Дальнего Востока, в которой и воевал до сентября 1944 года, выйдя из нее по тяжелому ранению.

Более в строй я не годился и начал мыкаться по нестроевым частям, которые то мне не подходили, то я им. Так продолжалось, покада не угодил в военно-почтовую часть, располагавшуюся неподалеку от станции Жмеринка, в местечке Станиславчик. Здесь я повстречал военную Марию Семеновну Корякину, сразу же после демобилизации женился на ней и поехал на ее родину, в город Чусовой Пермской (в ту пору Молотовской) области. В этом городе мы прожили 18 лет, хватили полной мерой счастливой жизни в самом счастливом и свободном государстве под названием СССР.

Здесь родились и выросли наши дети — дочь Ирина и сын Андрей, а первого ребенка, дочку Лидию, названную в честь моей мамы, мы потеряли. И здесь же, в этом незабываемом городе, я начал пописывать, попал работать в местную газету «Чусовской рабочий», затем недолго поработал собкором Пермского областного радио. Здесь же в 1951 году опубликовал в «Чусовском рабочем» первый свой рассказ. Он был замечен, и я начал заниматься литературным трудом.

Отсюда, из города Чусового, осенью 1959 года я уехал учиться на Высшие литературные курсы в Москву, которые и окончил в 1961 году. Из тяжелого города с тяжелой промышленностью, загазованного, задымленного, где нравы и мораль не способствовали творческому

труду, а даже, наоборот, угрюмой провинциальностью не прощали «выскачек» и вообще всякую грамоту, надо было уезжать.

Тянуло на родину, в Сибирь, но обстановка в красноярской писательской организации была как в эковском бараке, где правят и мордуют всех, кто им не нравится, местные литературные паханы.

Остались на Урале, в Перми. Наконец-то дали нам квартиру-хрущевку, где работать даже такому неизбалованному сочинителю, как я, было невозможно. Стали искать домик в деревне. Мой давний покровитель, а затем и старший верный друг, главный редактор Молотовского издательства Борис Никандрович Назаровский предложил съездить за Камское водохранилище на винный завод, названный так потому, что еще при императрице Екатерине здесь курили вино. Ничего не скажешь, царевы подданные умели устраиваться! Винный завод, даже подтопленный водохранилищем, сохранивший с десятков домиков, стоял на шикарном месте. Песчаные пляжи по берегам, в лог втекал светлый ключ, сзади поселка могучий сосновый бор. Поскольку электричество и все достижения прогресса из-за образования нового моря-водохранилища были отключены и ликвидированы, заречные жители покинули свои гнездовья. Избы продавались по всему берегу. А уже начиналась дачная стихия, и как я представил себе, что будет делаться на этих берегах через десять лет, то и попросился куда-нибудь поглуше и попроще. Через желтоствольный бор, в котором велись черника, брусника, а по опушкам и возле дороги земляника, Борис Никандрович повел меня в почти уже опустевшую деревню Быковку, что стояла на берегах одноименной речки. По дороге я увидел, как много птиц и всего прочего обитало в бору, здесь был даже полуразбитый глухариный ток.

В деревне Быковке мы выбрали и купили вконец запущенную избу, да и как она могла быть незапущенной, если за последние годы в ней успело пожить тринадцать колхозников с семьями. Последний, четырнадцатый, был мельник, но мельницу он сгубил по пьянке, вовремя не отдолбив ворота для весенней воды, которая напором своим промыла часть плотины. Вода из пруда укатилась, мельница умолкла, да и молот здесь уже было нечего и не для кого.

В Быковке, приведя избу в порядок, мы прообретались лет семь — как оказалось потом, самых плодотворных в моей работе и самых счастливых в нашей жизни. Здесь была еще приличная охота, в речке

водилась рыба, природа была хоть и повреждена лесозаготовками, но еще не убита до конца. Но в море вырубок и уцелевших лесочков свирепствовал клещ, и у меня сразу двое — Марья Семеновна и ее племянник, выросший в нашей семье, — смертельно заболели энцефалитом. Спаслись оба, но по существу сделались инвалидами.

В Быковке я написал «Кражу», первую книгу «Последнего поклона», повесть «Пастух и пастушка», до десятка рассказов и там же начал писать «Затеей». Однако от Урала успел устать, дела в писательской организации после ухода на пенсию ее руководителя Клавдии Васильевны Рождественской шли к развалу, здесь царило пьянство и тунеядство, и я решил покинуть опостылевший мне край.

В 1969 году я переехал с женой и дочерью в Вологду, сын в это время служил в армии, племянник жены обзавелся семьей, которая скоро распалась. Связь с Уралом не ослабела по той причине, что у Марьи Семеновны остались там все родственники, и сын Андрей по возвращении из армии поступил в Пермский университет.

В Вологде мы прожили десять лет, очень для меня плодотворных и более или менее благополучных в смысле быта.

И чем дальше я жил среди вологжан, чем больше читал о «тихой моей родине» воистину сыновних признаний, написанных с преданной любовью, тем более ощущал, что живу все-таки вне дома своего. В это время я часто летал в Сибирь, еще было много родных в Овсянке и в городе. Писательская жизнь в Красноярске шла по-прежнему в склоках, все еще угнетали здешнюю литературу графоманы и нахрапистые партийцы, поддерживаемые крайкомом партии.

Борис Васильевич Гуськов, тогдашний заведующий отделом культуры крайкома, все настойчивей звал меня «домой». И однажды я поставил ему условие — квартиру за городом, желательно в Академгородке. Ибо, живя в центре Вологды, побыл уже в осаде графоманов и праздношатающих творческих людей. Еще просил в дела мои не вмешиваться, помочь с ремонтом, с оформлением покупки дома в родном селе.

Дом этот, принадлежавший односельчанину Василию Юшкову, я уже подсмотрел давно и с хозяином его договорился — дом был запущенный, полугнилой, но в родном переулке, напротив дедова дома, где прошли мои самые памятные детские годы. В одной его половине жила моя тетка и крестная Апраксинья Ильинична.

Осенью 1980 года я переехал «домой». Марья Семеновна устраивала в Вологде детей и внуков, она это умеет делать лучше меня, и в Красноярск приехала гораздо позднее.

«Дома» мне сделалось спокойней и, поборов рутину, склоки, прямой и явный давеж со стороны крайкома, где уже устали «бороться» с местными писателями и охотно уступили поле брани тем, кто хотел навести здесь хоть какой-то порядок, удалось успокоить писателей, упорядочить творческую жизнь.

И сам я принялся жадно работать в своем домике в родном селе, совсем перестал ездить на Урал. Домик в Выковке отдали мы жене племянника, а она продала его другу нашего сына, который женился в Вологде, где и живет со своей семьей до сих пор. Деревенский же домик позапрошлой зимой спалили забравшиеся в него бомжи. И как-то остро я почувствовал еще одну заплатку, приклеившуюся к сердцу, — все же многое меня связывало с Уралом, а пока стоял дом в Выковке, связь эта была более осязаема. А вот в домике, иль точнее домишке, построенном мною в городе Чусовом, затеян литературный музей, и дела в нем, сколь мне известно, идут к завершению. Вообще на Урале после того, как я уехал, «любить» и даже ценить меня стали больше. А вот в Вологде вроде как обиделись, что я уехал, не понимая, что не одним им хочется жить дома и писать о своей Родине и любить ее не издаля, а живя и вместе с нею перебарывая время, перенося все страдания, муки и постоянное ощущение счастья соприкосновения с нею.

В Вологде похоронен мой отец, Петр Павлович. Досрочно освободившись из заключения, он завербовался в рыбаки на Каспий, долго жил в Астрахани, там снова женился и снова овдовел. Он в последующие годы почти каждое лето наезжал к нам в отпуск, очень любил жить в Выковке, а затем и в вологодской деревне, где я купил дом, и тоже все собирался «домой», в Сибирь. Но пить не перестал, оброс хворями и через пятнадцать лет совместной жизни, не дотянув года до моего приезда в Сибирь, скончался и поместился на городском кладбище, в сырой глине.

Умерли все родственники Марьи Семеновны на Урале, почти не стало близкой родни и у меня в Сибири. Лет шесть назад я похоронил в Дивногорске мачеху Таисью Ивановну, поместив ее рядом с дочерью Ниной и сыном Анатолием. Юная дочь ее была бойкая, красотка, в



Петра Павловича удавшаяся. Мечтала стать альпинисткой и сорвалась со скалы, что против Дивногорска, с той самой скалы, на которой шибко любимыми родную партию патриотами было крупно написано «Слава КПСС».

Анатолий умер от алкоголизма. Николай, старший сын мачехи, переехал из Игарки в Ярцево, растил двух парней, Владимира и Анатолия, но заболел раком и умер в мучениях двадцать с лишним лет назад. Одного из его сыновей, Владимира, убили в Афганистане, второй живет в Ярцево.

В Игарке живет и рыбачит один из средних сыновей отца — Владимир. Выехала из Игарки, живет и работает в Красноярске очень похожая на отца Галина Петровна.

Очень печальна судьба тех родичей и овсянцев, что были разорены и из родного дома выгнаны, в ссылки увезены, в бега ударились — Лиза, Елизавета Павловна, получив инвалидность, умерла от неизлечимой болезни в день начала войны, 22 июня 1941 года. Федор женился вторично и с новой женой нажил еще двух дочерей, одна из которых, названная Лизой, однажды написала мне письмо с Сахалина. И я ей послал ответ, но не надеясь, чтженщине удастся разобрать мои каракули, попросил его напечатать на машинке, чем напугал человека, выросшего в страхе и на вечном подозрении.

Сам Федор, почуяв приближающийся конец жизни, тайком приехал в Овсянку, потому как всю жизнь тосковал по ней, а как по ней тоскуют, мне объяснять не надо, я знаю это по себе.

В доме Сидоровских, возле которого ныне сидит на корточках больной и пьяный Анатолий Иванович, собралась вся родня. Выпили, поговорили, и Федор попросил баб попеть. Песельницы у Сидоровских знатные, да еще наша Анна тут была. Сестра Федора, Лизавета, как рявкнула, так и электричество заморгало. Федор испугался, попросил сестер и родственников петь шепотом, они и пели шепотом до утра. Федор вернулся в Черемхово и вскорости умер. А Лизавета сахалинская уже в мою бытность в Овсянке появилась здесь, объяснила мне, отчего не ответила на мое письмо.

Вот он, страх — жуткое наследство, перешедшее от отцов и матерей, от дедушек и бабушек, этакое страшное коммунистическое наследие, доставшееся нашему народу и до сих пор угнетающее его.

Забыл заметить, что прабабка Анна не угодила в ссылку в Игарку вместе со всеми, она тяжело заболела и умерла на 102-м году жизни на Усть-Мане, где и похоронена мачехой моею, царство им обоим небесное.

Здесь же, в Сибири, настигла нас страшная беда. 13 лет назад в Вологде больная сердцем скончалась наша дочь, Ирина Викторовна. Я перевез ее гроб на овсянское кладбище, и лежит она под березами, где завещали мы с женою и нас поместить по окончании наших земных сроков.

Дедушка Илья Евграфович умер в 1936 году, бабушка Екатерина Петровна умерла в 1948 году. Они, а также тетя Мария, дядя Дмитрий похоронены в одной ограде с мамой на старом овсянском кладбище. Чтобы не затерялись их могилы, я заказал и положил в могильную ограду мраморную плиту, на которой перечислены все мне родные, давно усопшие люди.

Тяжкая доля была почти у всех русских людей, в первую голову крестьян. Но особенно тяжкая жизнь выпала на долю бабушки из Сисима Марии Егоровны.

В 1947 году я ее вывез наконец-то из опостылевшей ей Игарки, к этой поре она осталась совершенно одна, ибо любимого ее сыночка забрали в армию и по «умной» привычке, как закаленного Севером человека, на Север же и отправили. Он вместе с еще семью архаровцами попал под Магадан, на маяк, что стоял на необитаемом острове. Остров этот был поросший кустами и ягодниками. Раз в год морякам маяка завозили продукты, муку, сахар, соль. Они сами себе пекли хлеб и попутно научились производить брагу и даже ягодное вино.

Мария Егоровна, проверенный, качественный кадр, все это время служила прислугой у военного профессора-хирурга, терпеливо дожидаясь домой сына. Но дома-то своего у нее фактически не было, и, когда вернулся Николай, они какое-то время жили у племянницы Марии Егоровны, Валентины Осиповны Юшковой.

Увы, Николай вместе с компанией моряков-маяковцев вернулся домой законченным алкоголиком и гомосексуалистом. Он поступил работать на Красноярскую швейную фабрику электриком, даже женился и во вновь построенном швейной фабрикой доме в Покровке получил квартиру. Но пороки, нажитые в доблестной нашей армии,

преследовали его, губили. Со швейной фабрики, где в комнатке электриков Николай устроил пивнушку, его прогнали, и он устроился туда, куда подбирали всех пропойц и бродяг, в троллейбусный парк, и опять электриком. Пил он уже беспробудно, стал отбирать у матери пенсию и те деньги, которые я ей посылал. Жену, разумеется, потерял, друзей настоящих у него и не было. Дело кончилось тем, что ему отрезали в больнице половину желудка, но он все равно пил, слабел, опускался, стал поднимать на мать руку и однажды решил ее убить и повеситься. Я опоздал всего на четыре дня — летя из Вологды через Москву, по погодным условиям остановился в Новосибирске, и тут меня стопорнули мои верные друзья.

Когда я явился в Покровку, в доме, всеми брошенная, на грязной кровати лежала избитая, изувеченная бабушка из Сисима, а на шпингалете большого окна белел умело, по-моряцки завязанный узелок. Похороны Николая толпой полупьяных мужиков из троллейбусного парка, оформление бабушки в дом инвалидов — о, это позорное и надсадное зрелище мне уже не забыть до конца дней моих.

Когда все закончилось, я уже и сам был на грани гибели. Спасло меня то, что догадался поехать в Казачинское к Николаю Волокитину, который в ту пору работал там редактором районной газеты.

Лет шесть назад умерла и племянница бабушки из Сисима, Валентина Осиповна, во время похорон гроб ее вытаскивали в окошко, ибо в двери ее хоромины, нажитой долгим трудом, домовина не проходила. Более некому стало ухаживать за могилами бабушки, Марии Егоровны, и ее несчастного сына. Чтобы могилы не потерялись, я попросил поставить на них оградки. Но время, неумолимое время идет, все меняется, и на кладбище Бадалык тоже. Бабушка и Николай когда-то «открывали» это кладбище, и в прошлом году я уже с большим трудом нашел могилу бабушки, а могилу Николая Павловича не нашел. Надо было много бродить по густонаселенному кладбищу, где в старой его части уже захоронения делают на прежние могилы, ходить я много не могу, вот и потерял еще одну могилу.

Огромное чувство вины носил и ношу я в сердце перед бабушкой из Сисима, Марией Егоровной, и ее сыном, да и перед всей родней, с каждым годом все уменьшающейся.

Уже нет не только теток моих Апраксиньи и Августы Ильиничны и дяди Кольчи-младшего. Не стало и брата моего двоюродного, Николая Ивановича, умерли оба сына Апраксиньи Ильиничны, Александр Павлович и Иван Павлович.

Когда я изредка перебираю старые альбомы с фотографиями, то вижу, что кругом меня обступили покойники, и это после семидесяти лет, а каково-то тем людям, которые перевалили за девяносто и не утратили памяти?

Поэтому не хотел бы я заживаться долго, неся на себе все более тяжелеющий воз утрат. Пока еще сохраняется моя трудоспособность, пусть и не такая уже неистовая, как прежде, пока еще ясна память и хоть плохо, да ходят ноги. Но недуги обступают, надвигаются со всех сторон, и хотел бы я, как и многие люди с чистыми помыслами и не до конца утраченным оптимизмом, покинуть всех вас, дорогие мои, не намучив себя и вас, с пишущей ручкой в руках и пусть на слабых, но на своих ногах.

*17 октября 2000 г.*

*г. Красноярск.*

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## Глава первая

Поезд мерзло хрустнул, сжался, взвизгнул и, как бы изнемогши в долгом непрерывном беге, скрипя, постреливая, начал распускаться всем тяжелым железом. Под колесами щелкала мерзлая галька, на рельсы оседала белая пыль, на всем железе и на вагонах, до самых окон, налип серый, зябкий бус, и весь поезд, словно бы из запредельных далей прибывший, съежился от усталости и стужи.

Вокруг поезда, спереди и сзади, тоже зябко. Недвижным туманом окутано было пространство, в котором остановился поезд. Небо и земля едва угадывались. Их смешало и соединило стылым мороком. На всем, на всем, что было и не было вокруг, царило беспросветное отчуждение, неземная пустынность, в которой царапалась слабеющей лапой, источившимся когтем неведомая, дух испускающая тварь, да резко пронзало оцепенелую мглу краткими щелчками и старческим хрустом, похожим на остатный чахоточный кашель, переходящий в чуть слышный шелест отлетающей души.

Так мог звучать зимний, морозом скованный лес, дышащий в себе, боящийся лишнего, неосторожного движения, глубокого вдоха и выдоха, от которого может разорваться древесная плоть до самой сердцевины. Ветви, хвоя, зеленые лапки, от холода острые, хрупкие, сами собой отмирая, падали и падали, засоряли лесной снег, по пути цепляясь за все встречные родные ветви, превращались в никому не нужный хлам, в деревянное крошево, годное лишь на строительство муравейников и гнезд тяжелым, черным птицам.

Но лес нигде не проглядывался, не проступал, лишь угадывался в том месте, где морозная наволочь была особенно густа, особенно непроглядна. Оттуда накатывала едва ощутимая волна, покойное дыхание настойчивой жизни, несогласие с омертвелым покоем, сковавшим Божий мир. Оттуда, именно оттуда, где угадывался лес и что-то еще там дышало, из серого пространства, слышался словно бы на исходном дыхании выпускаемый вой. Он ширился, нарастал, заполнял собою отдаленную землю, скрытое небо, все явственней обозначаясь пронзающей сердце мелодией. Из туманного мира, с небес, не иначе, тот отдаленно звучащий вой едва проникал в

душные, сыро парящие вагоны, но галдевшие, похохатывающие, храпящие, поющие новобранцы постепенно стихали, вслушивались во все нарастающий звук, неумолимо надвигающийся непрерывный звук.

Лешка Шестаков, угревшийся на верхней, багажной, полке, недоверчиво сдвинул шапку с уха: во вселенском вое иль стоне проступали шаги, грохот огромного строя — сразу перестало стрелять в зубы от железа, все еще секущегося на трескучем морозе, спину скоробило страхом, жутью, знобящим восторгом. Не сразу, не вдруг новобранцы поняли, что там, за стенами вагона, туманный мерзлый мир не воет, он поет.

Когда новобранцев выгоняли из вагонов какие-то равнодушно-злые люди в ношеной военной форме и выстраивали их подле поезда, обляпанного белым, разбивали на десятки, затем приказали следовать за ними, новобранцы все вертели головами, стараясь понять: где поют? кто поет? почему поют?

Лишь приблизившись к сосновому лесу, осадившему теплыми вершинами зимний туман, сперва черно, затем зелено засветившемся в сером недвижимом мире, новобранцы увидели со всех сторон из непроглядной мглы накатывающие под сень сосняков, устало качающиеся на ходу людские волны, соединенные в ряды, в сомкнутые колонны. Шатким строем шагающие люди не по своей воле и охоте исторгали ртами белый пар, вослед которому вылетал тот самый жуткий вой, складываясь в медленные, протяжные звуки и слова, которые скорее угадывались, но не различались: «Шли по степи полки со славой громкой», «Раз-два-три, Маруся, скоро я к тебе вернуся», «Чайка смело пролетела над седой волной», «Ой да вспомним, братцы вы кубанцы, двадцать перво сентября», «Эх, тачанка-полтавчанка — все четыре колеса-а-а-а».

Знакомые по школе нехитрые слова песен, исторгаемые шершавыми, простуженными глотками, еще более стискивали и без того сжавшееся сердце. Безвестность, недобрые предчувствия и этот вот хриплый ор под грохот мерзлой солдатской обуви. Но под сенью соснового леса звук грозных шагов гасило размичканным песком, сомкнутыми кронами вершин, собирало воедино, объединяло и смягчало человеческие голоса. Песни звучали бодрее, звонче, может, еще и оттого, что роты, возвращающиеся с изнурительных военных занятий, приближались к казармам, к теплу и отдыху.

И вдруг дужкой железного замка захлестнуло сердце: «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой...» — грозная поступь заняла даль и близь, она властвовала над всем остывшим, покорившимся миром, гасила, снимала все другие, слабые звуки, все другие песни, и треск деревьев, и скрип полозницы, и далекие гудки паровозов — только грохочущий, все нарастающий тупой шаг накатывал со всех сторон и вроде бы даже с неба, спаянного с землею звенящей стужей. Разрозненно бредущие новобранцы, сами того не заметив, соединились в строй, начали хлопать обувью по растоптанной, смешанной со снегом песчаной дороге в лад грозной той песне, и чудилось им: во вдавленных каблуками ямках светилась не размицканная брусника, но вражеская кровь.

Солдаты, угрюмо несущие на плечах и загорбках винтовки, станки и стволы пулеметов, плиты минометов, за ветви задевающие и снег роняющие пэтээры с нашлепками на концах, похожими на сгнившие черепа диковинных птиц, шли вроде бы не с занятий, на бой они шли, на кровавую битву, и не устало бредущее по сосняку войско всаживало в колеблющийся песок стоптанные каблуки старой обуви, а люди, полные мощи и гнева, с лицами, обожженными не стужей, а пламенем битв, и веяло от них великой силой, которую не понять, не объяснить, лишь почувствовать возможно и сразу подобраться в себе, ощутив свое присутствие в этом грозном мире, повелевающем тобою, все уже трын-трава на этом свете, все далеко-далеко, даже и твоя собственная жизнь.

И когда новобранцев ввели в полутемный подвал, где вместо пола на песок были набросаны сосновые искрошившиеся лапы, велели располагаться на нарах из сосновых неокоренных бревешек, чуть стесанных с той стороны, на которую надо было ложиться, в Лешке все не смолкало, все надломленно-грозно произносилось: «Вставай на Смертный бой...» Покорность судьбе овладела им. Сам по себе он уже ничего не значит, себе не принадлежит — есть дела и вещи важней и выше его махонькой персоны. Есть буря, есть поток, в которые он вовлечен, и шагать ему, и петь, и воевать, может, и умереть на фронте придется вместе с этой все захлестнувшей усталой массой, изрыгающей песню-заклинание, призывающей на смертный бой одной мощной грудью страны, над которой морозно, сумрачно навис морок. Где, когда, как выйдешь из него один-то? Только строем, только рекой,



половодьем возможно прорваться к краю света, к какой-то совсем иной жизни, наполненной тем смыслом и делом, что сейчас вот непригодны да и неважны, но ради которой веки вечные жертвовали собой и умирали люди по всей большой земле.

Душу Лешки посетило то, что должно поселиться в казарме и в тюрьме, — вялое согласие со всем происходящим, и когда его назначили в первый наряд: топить печь в казарме сырыми сосновыми дровами, — он воспринял это назначение без сопротивления. Выслушав наказ: не спать, не спалить карантин, следить, чтоб новобранцы ходили по нужде подальше в лес, бить палкой тех, кто вздумает мочиться в казарме, шариться по котомкам или, тем паче, пить горючку, — он покорно повторил приказание и громче повторил слова старшего сержанта Яшкина, что, если кто нарушит, с тем разговор будет особый.

У сержанта к рукаву шинели была привязана повязка, какие нацепляют людям, стоящим в почетном карауле. Он и назвался старшим караула по карантину. Яшкин уже побывал на фронте, имел орден, в запасном полку он оказался после госпиталя, с маршевой ротой вот-вот снова уйдет на передовую из этой чертовой ямы, чтоб она пропала, провалилась, сгорела в одночасье — так заявил он.

Был Яшкин малоросл, худ, зол. Борода у него почти не росла, реденько торчало что-то на прогнутых непробритых санках челюсти, да сорно лепилась редкая поросль под носом, глаза желтые, унылые, кожа под ними мелко сморщенная, на лбу тоже желта. Он грелся, налегши грудью на печку, толсто заваленную перекаленным песком, ежился спиной, со щенячьим скулежом втягивал воздух, спрашивал табаку, хлеба, сала. Табак у Лешки хороший, хлеба еще маленько было, сала не велось. Лешка кивнул на толстобрюхие сидора угрюмых людей из старообрядческих таежных краев, обнимавших те сидора обеими руками, будто богоданную бабу, — эти асмодеи не обеднеют, если поделятся припасами.

Яшкин прошелся по карантину, обшарил кошачьими глазами лепившихся на нарах новобранцев — многие уже спали, блатняки из золотишных забоев Байкита, Верх-Енисейска, с Тыра-Понта, как они говорили о других, секретных районах, сложив ноги калачом, сидели крутом, резались в карты. Один картежник пребывал уже в кальсонах, проиграв с себя все остальное, и, оттесненный за круг, тянул шею,

издаля давал игрокам советы и указания: чем бить, каким козырем крыть. В темном, дальнем углу карантинной казармы, которую в двух концах освещали две первобытные сальные плашки да лениво горящая чугунная печка без дверец, на краю нар лепились тесно, будто ласточки на проводах, уже неделю назад прибывшие новобранцы и терпеливо ждали своего часа. Яшкин знал, чего они ждали, прошелся по рядам упреждающим взглядом, но его в полутьме словно бы даже и не заметили.

На нижних нарах, в притемненной глубине, кто-то молился: «Боже милостив, Боже правый, избави меня от лукавого и от соблазна всякого...»

— Отставить! — на всякий случай приказал Яшкин и последовал дальше, отпуская замечания тем, кто чего-то не так и не то делал.

Поскольку все население карантина ничего не делало, то и замечания скоро иссякли.

Яшкин вернулся к штабному месту, к печке, назначив по пути две команды пилить и колоть дрова на улице, сам опять устроился на чурбаке против квадратно прорубленного горячего отверстия, снова распахнул руки, приблизил к печке грудь, вбирал тепло, все не согреваясь от него.

В казарме было не совсем тепло и не совсем холодно, как и бывает в глубоком земляном подвале. Печка лишь оживляла зажатую в подземелье, тусклую жизнь со спертым, неподвижным воздухом глухого помещения, да и то изблизя лишь оживляла. По обе стороны печи жердье нар было закопчено, но на торцах, упрямо белеющих костями, как бы уже побывавшими в могиле, выступала сера. Чуть слышный запах этой серы да слежавшейся хвои на нарах — вместо постели тоже настелены жесткие ветки — разбавляли запахи гнили, праха и острой молодой мочи.

Старообрядцы, уткнувшись смятыми бородами друг в дружку, что-то побубнили, посоветались, и один из них, здоровенный, в нелепом картузе без козырька, состроенном в три этажа, пригибаясь, подошел к печи и положил на колени Яшкина круглый каравай хлеба с орехово темнеющей коркой, кусок вареного мяса, две луковицы, берестяную зобенку с солью, сделанную в виде пенала. Яшкин достал из кармана складник, отрезал горбушку хлеба себе, подумал, отрезал

еще ломоть и, назвав фамилию — Зеленцов, — сунул в тут же возникшие руки хлеб, комок мяса и принялся чистить луковицу.

— Сохатина! — раздался голос Зеленцова с нар, скоро и сам он сполз вниз, принюхался широкими, будто драными ноздрями, зыркнул маленькими, но быстро все выхватывающими глазами и потребовал у гостя закурить.

— Некурящие мы, — потупился старообрядец.

— И непьющие?

— По святым праздникам коды. Пива...

Лешка протянул кисет Зеленцову, тот закурил, взвесил кисет на руке и, не спросив, отсыпал в горсть табаку. Яшкин неторопливо, безразлично жевал, двигая скобками санок, ловко, издаля кидая пластины нарезанной луковицы в узкий, простудой обметанный рот. Поел, поискал кого-то глазами, дернул за ноги с верхних нар двоих храпящих новобранцев, велел принести воды. Сверху грохнулись два тела. «Че мы да мы?» — заныли парни и, брякая посудиной, удалились. Дверь казармы тяжело отворилась, сделалось слышно ширканье пилы, в казарму донесло стылую, сладкую струю воздуха. Все время, пока в железном баке на жерди, продернутой в дужку, не принесли воду, в дверь свежо тянуло, выше притвора далеко, недостижимо серела узкая полоска ночного света.

Бак, ведра на три объемом, был поставлен на печку, в печке зашипело. К воде потянулись жаждущие с кружками, котелками, банками. Дежурные не то в шутку, не то всерьез требовали за воду хлеба и табаку. Кто давал, кто нет. Дежурные тоже начали жевать и, получив от кого-то плату картошкой, закатали ее ближе к трубе, в горячий песок. В помещении запахло живым духом, забившим кислоту и вонь.

На запах картошки из темных недр казармы являлся народ, облепляя печку, накатывал от себя картошек, будто булыжником замостив плоское пространство чугунки, не имеющей дна и дверки, наполовину уже огрузшей в песок.

— Па-аа-абереги-ы-ы-ысь! — послышалось в казарме, и от двери, весело брякая, покатались рыжие чурки, было еще принесено несколько охапок колотого сухого сосняка, может, и какой другой лесины, уведенной откуда-нито находчивыми пыльщиками.

Яшкин отодвинулся от устья печки, в дыру натолкали поленья, да так щедро, что торцы их торчали наружу. Печка подумала-подумала, пощелкала, постреляла да и занялась, загудела благодарно, замалинилась с боков. Народ, со всех сторон родственно ее объяввший, ел картошку, расспрашивал, кто откуда, грелся и сушился, вникал в новое положение, радовался землякам-однородцам и просто землякам, еще не ведая, что уже как бы внял времени, в котором родство и землячество будут цениться превыше всех текущих явлений жизни, но паче всего, цепче всего укрепятся и будут царить они там, в неведомых еще, но неизбежных фронтовых далях.

Старообрядец в знатном картузе назвался Колей Рындиным, из деревни Верхний Кужебар Каратузского района, что стоит на берегу реки Амыл — притоке Енисея. В семье Рындиных он, Коля, пятый, всего же детей в доме двенадцать, родни и вовсе не перечесть.

Над Колей начали подтрунивать, он добродушно улыбался, обнажая крупные зубы, тоже пытался шутить, но когда к печке подлез парнишка в латаной телогрейке, из которой торчала к тонкой шее прикрепленная голова, и выхватил с печи картофелину, Коля ту картофелину решительно отнял.

— Я ж тебе, парнишша, говорил: покуль от еды воздержись, от картошки, да еще недопеченной, разнесет тебя ажник на семь метров против ветру... — Коля приостановился и гоготнул: — Не шшытая брызгов! — И далее серьезно, как политрук, повел мораль: — Понос штука переходчивая, а тут барак, опчество — перезаразишь народ. — Он достал из своего сидора желтый холщовый мешочек, насыпал в кружку горсть серой смеси, поставил посудину на уголья и назидательно добавил; — Скипятится, и пей — как рукой сымет.

Весь народ и сержант Яшкин тоже с интересом уставились на старообрядца.

— Что это? Что за лекарство? — расспрашивал народ, потому что не одному Петьке Мусикову — так звали парнишку-дристуна — требовалась медицинская подмога: дорогой новобранцы покупали и ели что попадя, напились сырого молока, воды всякой, вот и крутило у них животы.

— Сушенная черемуховая кора с ягодой черемухи, кровохлебка, змеевик, марьин корень и ешшо разное чего из лесного разнотравья, все это сушеное, толченое лечебное свойство освящено и ошоптано

баушкой Секлетиньей — лекарем и колдуном, по всему Амылу известным. Хотя тайга наша богата умным людом, но против баушки... — Коля Рындин значительно взнял палец к потолку. — Она те не то что понос, она хоть грыжу, хоть изжогу, хоть рожу — все-все вплоть до туберкулеза заговорит. И ишшо брюхо терет.

— Брюхо-то зачем? Кому? — веселея, уже дружелюбно спросил Колю Рындина старший сержант Яшкин.

— Кому-кому! Не мне жа! Жэншынам, конешно, чтобы ребеночка извести, коли не нужон.

Народ сдержанно хохотнул, раздвинулся, уступая Коле Рындину место подле главного командира — Яшкина. Петьку Мусикова и еще каких-то дохлых парней почти силком напоили горячим настоем. Петьке сухарей кто-то дал, он ими по-собачьи громко хрустел. Тем временем картежники подняли драку. Яшкин, взяв Зеленцова и еще одного парня покрепче, ходил усмирять бунтовщиков.

— Если не уймется, на мороз выгоню! — фальцетом звучал Яшкин. — Дрова пилить!

— Я б твою маму, генерал...

— Маму евою не трожь, она у него целка.

— Х-хэ! Семерых родила и все целкой была!..

— Одного она родила, но зато фартового, гы-гы!..

— Сказал, выгоню!

— Кто это выгонит? Кто? Уж не ты ли, глиста в обмороке?

— Молчать!

— Стирки не трожь, генерал! Пасть порву!

— У пасти хозяин есть.

— Сти-ырки не рви, пас-скуда!

Из-под навеса нар на Яшкина метнулся до пояса раздетый, весь в наколках блатной и тут же, взлаяв, осел на замусоренный лапник. Яшкин, вывернув нож, погнал блатного пинками на улицу. Лешка, Зеленцов, дежурные с помощниками двоих делег сдернули с нар и заголившимися спинами тащили волоком по занозистым, искрошенным сучкам и тоже за дверь выбросили — охладиться. Зеленцов вернулся к печке с ножиком в руках, поглядел на кровоточащую ладонь, вытер ее о телогрейку, присыпал пеплом из печи, зажал и, оскалившись редкими, выболевшими зубами, негромко, но внятно сказал в пространство казармы:

— Шухер еще раз подымете, тем же фонарем...

Блатняки утихли, казарма присмирела. Коля Рындин опасно поозирался и с уважением воззрился на Зеленцова, на Яшкина: вот так орлы — блатняков с ножами не испугались! Это какие же люди ему встретились! Ну, Зеленцов, видать, ходовой парень, повидал свету, а этот, командир-то, парнишка парнишкой, хворый с виду, а на нож идет глазом не моргая — вот что значит боец! Поближе надо к этим ребятам держаться, оборонят в случае чего. Зеленцов уютно приосел на корточки, покурил еще, позевал, поплевал в песок и полез на нары. Скоро вся казарма погрузилась в сон.

Яшкин приспустил буденовский шлем, на подбородке застегнул его, поднял мятый воротник шинели, засунул руки в рукава, прилег в ногах новобранцев, на торцы нар, спиной к печи, и тут же запокрипывал носом, вроде бы как обиженно.

— Хворат товариш сержант, — заключил Коля Рындин и, посидев, добавил, обращаясь к Лешке: — Я те помогать стану, дежурить помогать. Че вот от желтухи примать? Каку траву? Баушка Секлетинья сказывала, да не запомнил, балбес.

— Да он с фронта желтый, со зла и перепугу.

— Да но-о!

Дежурные до утра не продержались. Лешка, привалившись к столбу нар, долго боролся со сном, клевал носом, качался и наконец сдался: обхватив столб, прижался к шершавой коре щекою, приосел обмякшим телом, ровно дыша, поплыл в родные обские просторы. Коля Рындин сидел-сидел на чурбаке и замедленно, словно бы тормозя себя в полете, свалился на засоренный окурками теплый песок, наощупь подкатил чурку под голову, насадил глубже картуз — и казарму сотряс такой мощный храп, что где-то в глубине помещения проснулся новобранец и жалким голосом спросил:

— О-ой, мама! Че это такое? Где я?

Утром карантин плакал, стонал, матерился, исходил истерическими криками — все пухлые мешки новобранцев были порезаны, содержимое их ополовинено, где и до крошки вынута. Блатняки реготали, чесали пузо, какие-то юркие парни шныряли по казарме, отыскивая воров, одаривая оплеухами встречных-поперечных. Вдали матерился Яшкин: несмотря на его приказ и запрет, нассано

было возле нар, подле дверей, в песке сплошь белели солью свежие лунки. Запах конюшни прочно наполнил подвал, хотя сержант и распахнул настежь тесовую дверь, в которую виден сделался квадрат высветленного пространства.

Яшкин пытался выдворить народ на улицу на умывание, несколько человек, среди них и Лешка Шестаков, вышли и нигде никаких умывальников или хоть какой-нибудь воды не нашли. В прореженном, стройном, или как его еще любовно называют — мачтовом, сосняке сплошь дымило. Из земли, точнее из бугров и бугорков, меж сосен горбящихся, чуть припорошенных снегом, игрушечно торчали железные трубы. Под деревьями рядами стояли пять подвалов со всюду распахнутыми воротами-дверями, толсто белел куржак над входами — это и был карантин двадцать первого стрелкового полка, его преддверие, его привратье. Мелкие, одноместные и четырехместные, землянки принадлежали строевым офицерам, работникам хозслужб и просто придуркам в чинах, без которых ни одно советское предприятие, тем более военное подразделение, никогда не обходилось и обойтись не может.

Где-то далее по лесу были или должны быть казармы, клуб, санслужбы, столовая, бани, пекарни, конюшни и штаб полка, но карантин от всего этого отторжен на порядочное расстояние, чтоб новобранцы заразу какую в полк не занесли, чтоб в карантине прошли проверку, санобработку, баню, затем оформлены и распределены были по ротам. От бывалых людей, уже неделю, где и две ошивавшихся в карантине, Лешка узнал, что в баню их поведут ли, еще неизвестно, но вот в казармы, к месту, скоро определяют — полк снарядил маршевые роты на фронт, и как только их отправят, очередной призыв, на этот раз ребята двадцать четвертого года заполнят казармы, начнется настоящая армейская жизнь. За три месяца молодняк пройдет боевую и политическую подготовку и тоже двинется на фронт — дела там шли не очень важно, перемалывались и перемалывались машиной войны полки, дивизии, армии, фронту, как карантинной печке дрова, требовались непрерывные пополнения, чтобы поддерживать хоть какой-то живой огонь.

Пока же было приказано раздеться до пояса и мыться снегом. Но того, что зовется снегом, белого, рассыпчатого или нежно-пухового, здесь, возле Бердска, не было. Все вокруг испятнано мочой, всюду

чернели застарелые коричневые и свежие желтенькие кучи, песок превращен в грязно-серое месиво, лишь подальше от землянок, под соснами, еще белелось, и из белого сквозь пленку снега светилась красная брусника.

Лешка хотел было сунуться в отхожее место, огороженное жердями и покрытое тоже жердями, но вокруг этого помещения и в самом помещении, где было сколочено из жердей седалище с прорубленными в жердях дырками, так загажено, так вонько и скользко, что отнесло его далеко от карантинных казарм, тем более что возле землянок, помеченных трубами, люди в подштанниках, в сапогах махали руками, ругались и отгоняли народ подальше, хватаясь за поленья и палки.

Лешка отбежал так далеко, что в сосняке появился подлесок и под ним тонкий слой снега, мало тронутый и топтанный. За плотно сдвинувшимися вдаль сосняками чудилась река. «Уж не Обь ли?» — подумал он с тоской и начал набирать в горсти снегу, соображая: высаживались на станции Бердск, вроде бы это недалеко от Новосибирска, на Оби же... «Ах ты, родимая же ты моя!» — вздрогнул губами Лешка и начал скорее тереть лицо снегом, не давая себе расчувствоваться и все же думая, какая она здесь, Обь-то. Широкая ли? Там, в низовьях, в его родных Шурышкарах, она, милая, летами как разольется — другого берега не видать, в море превращается, до самого Урала доходит с одной стороны, в надгорья упирается, если бы не хребет, дальше бы разлилась, как разливается бескрайно у правого берега по тундре, открывая устье вширь до такой большой воды, что и не знаешь, где Обская губа соединяется с морем, а море с нею.

Вспоминая родную северную местность, Лешка наскреб из-под снега горсть брусники и, услышав, что у землянок кличут людей, высыпав мерзлую ягоду в рот, поспешил к карантину. Там уже сбивалось что-то наподобие строя, только никак не могли выжить из подвала старообрядцев да каких-то еще больных или придуривающих людей.

Подле каждой карантинной землянки колотилась, дрожала на утреннем холоду, присматриваясь и прислушиваясь к окружающей действительности, стайка плохо одетых, уже грязных парней с закопченными ликами. Они приплясывали, махали руками, кляли тех, кто прятался в казарме. Возникшие возле подвалов командиры в сером,



сами тоже серые, сплошь костлявые, как щенят за шкурку, выбрасывали из землянок новобранцев.

Старообрядцы, пока не зашили мешки, из казармы не вышли. Начальник карантина, старший лейтенант в мятой, воробьиного цвета шинели с блестящими пуговицами, дождался, пока вызволят всех служивых из помещений, сбил старообрядцев в отдельную небольшую стайку и, обходя угрюмо насупившийся пестрый строй карантина, уделил правофланговым особое внимание:

— Пока не сожрете харчи, сидора оставлять на нарах... (Старообрядцы уважительно глядели на светлые пуговицы и ремни командира. Что на брюхе ремень — они понимали, у них у самих опояски на брюхе, но вот еще зачем два ремня через плечи? Ежели б штаны держали, тогда понятно.) Н-на нарах! — повторил старший лейтенант, — назначайте своего дежурного, чтоб вас совсем не обшмонали. Остальным завтракать. Не все так богато запаслись провиантом? Не все?

Получив подтверждение, командир приказал вести людей в столовую, сказав на прощание: днями новичков распределят по казармам, там всякая вольница и разброд кончатся, наступят напряженные дни службы. Пока же всем бородатым бороды сбрить, всем волосатым волосы состричь, всем, у кого расстроены животы, кто простудился в пути, отправляться в санчасть, остальным заготавливать дрова, потому как приближаются настоящие сибирские морозы, после завтрака не бродить по расположению полка, в землянке будет политчас и личные знакомства с представителями строевых подразделений — с командирами рот и батальонов.

Следуя в столовую по расположению полка, с любопытством и тревогой смотрели новобранцы на строения военного городка, состоявшего все из тех же подвалов-казарм, только еще более длинных, плоских, не с одной, а с несколькими трубами и отдушинами, как в доподлинном овощехранилище, с двумя широкими раскатанными входами в подземелье, из которого медленно ползла иль постоянно над входом плавала пелена испарений, даже на отдаленный взгляд нечистых, желтушных. От морока и сырости над входом в казармы намерз не куржак, а многослойная ребристая пленка, под нею темнела раскисшая, большей частью уже развалившаяся лепнина ласточкиных гнезд. Среди этих отчужденно темнеющих казарм

высилось вширь расплзшееся, в лес врубленное, никак не спланированное сооружение, еще не достроенное, с наполовину покрытой крышей и с невставленными окнами. Просторное и прстранное помещение — если его распилить повдоль, то получилось бы два, может, и три барака, — будущая столовая полка. Чуть на отшибе, разбегшись по молоденькому сосняку, белела стайка тесовых и бревенчатых домов, огороженных продольным заборчиком из пиленых брусков. На домах и меж домов имелись щиты, на них лозунги, плакаты, портреты руководителей государства и армии. С крыши большого, тоже неуклюжего помещения, осевшего углами в песок и начавшего переламываться, сплошь облепленного плакатами, призывами, кинорекламой, звучало радио (клуб, смекнули новоприбывшие), а вокруг него все эти свежо желтеющие домики — штаб полка. Но догадались об этом не все. Старообрядцы и всякий таежный люд, коего среди новичков было большинство, глядели на штаб, точно праздные заморские путешественники на Венецию, суеверно притихнув, пытались угадать, откуда исходит музыка — с крыши какой или уж прямо с небес.

У парней посасывало в сердце, всем было тревожно оттого, что незнакомое все кругом, казенное, безрадостное, но и они, выросшие не в барской неге, по баракам, по деревенским избам да по хибарам городских предместий собранные, оторопели, когда их привели к месту кормежки. За длинными, грубо сколоченными из двух плах прилавками, прибитыми ко грязным столбам, прикрытыми сверху тесовыми корытами наподобие гробовых крышек, стояли военные люди, склоненные как бы в молитве, — потребляли пищу из алюминиевых мисок. Столы-прилавки тянулись длинными, надсаженно-прогнутыми рядами, упираясь одним концом в загаженный полубодранный лес, другим — в растоптанный пустырь, в этакое жидкое, никак не смерзающееся, растерзанное всполье военного городка, по которому деловито ходили вороны, чего-то вышаривали клювами в грязи, с криком отлетали из-под ног людей, на ходу заглатывающих пищу и одновременно сбивающихся среди грязи в терпеливый строй.

Крестьянского роду парни по им известным приметам усекли — среди леса не песок, а грязь оттого, что были здесь прежде огороды, может, и пашни. Меж столов и подле раздачи грязь вовсе глубока и

вязка. Питающийся народ одной рукой потреблял пищу, другой цепко держался за доску стола, чтобы не соскользнуть в размешанную жижу, не вымочить ноги. Впереди день строевых и прочих занятий на сибирском, все круче припекающем морозе. Деловитый гул, прерываемый выкриками и руганью, ходил над обширной площадкой, называемой летней столовой, продлившейся до зимы. Звук посуды, звон тазов, бренчанье ковшиков о железо, выкрики типа: «Быстренько! Быстренько! Н-не задерживай очереди!», «Сколько можно прохлаждаться?», «Пораспустили пузы!», «Минометная рота! Минометная рота!», «Отойди от окошка, отойди, сказано, не мешай работать!», «3-з-заканчивай прием пищи!», «Поговори у меня, поговори!», «А пайка где? Па-айку-у спе-орли-ы-ы!», «Взвод, на построение!», «Быстренько! Быстренько! Освободить столы!», «Жуете, как коровы! Пора закругляться!», «Э-эй, на раздаче, в рот вам пароход, в жопу баржу! Вы когда мухлевать перестанете? Когда обворовывать прекратите?», «А-атставить!», «Поторапливаемся! Поторапливаемся!». «Да сколько можно повторять? Сказано, значит, все!».

Мест здесь, как и во всех людских сборищах, как и везде в Стране Советов, не хватало. Люди толпились у раздаточных окон кухни, хлеборезки, заняв стол-прилавок, держали за ним оборону. Получив кашу в обширные банные тазы из черного железа, стопки скользких мисок, служивые с непривычки не знали, куда с ними притиснуться, где делить хлеб, сахар, есть варево.

«Сюда! Сюда! Эй, карантинные, сюда!» — послышалось наконец из-за крайних столов от лесу, и новобранцы, пытаясь обогнуть грязь, мешковато потрусили на зов. Пока не сложились команды, не разбились люди на десятки, карантинный контингент, еще не связанный расписаниями, режимом, правилами, кормили в последнюю очередь, и насмотрелись, наслушались ребята всего. Вася Шевелев, успевший уже в досталь «накомбайнериться» в колхозе, как он с усмешкой пояснил, глядя на здешние порядки, покачал головой и с грустным выдохом внятно молвил: «И здесь бардак».

Возникали стычки, перекатно гремел мат, сновали воришки, больные, изможденные люди подбирали крошки, объедки со столов и под столами. Там, куда не доставала обувь стесанными подошвами, на

ничейном месте, украдчиво выросшая, кучерявилась стылая мокрица, засоренная рыбьими костями.

Военный люд рассеялся, за столами сделалось просторно, однако никак не могли парни приспособиться одновременно есть и держаться за нечистые, обмерзлые плахи. Бывалые бойцы, уже одетые в новое обмундирование, на занятия не спешившие, позавтракав, облизав ложки и засунув их за обмотки иль в карманы, посмеивались над новичками, подавали им добродушные советы, просили закурить, которые постарше бойцы, значит и подобрей, наказывали: Боже упаси стоять в грязи меж столами или оплескаться похлебкой — сушиться негде, дело может кончиться больницей, а больница здесь...

Покуривши, сделав оправку в лесу, со взводами и ротами уходили и эти мужики, а так хотелось еще с ними поговорить, разузнать про здешнюю жизнь, да что же разузнавать-то, сами не слепые — видят все.

Снова наполнился сосновый сибирский лес строевыми песнями. Снова сцепило покорностью и всепоглощающей стужей зимнюю округу. Еще сильнее скрючило, сдавило там, внутри, у молодых парней, тяжкие предчувствия вселял небольшой, не в братстве нажитый опыт: поздней осенью здесь будет еще хуже.

А раз так, скорее бы уж на фронт вслед за этими основательными дяденьками, которые где уберегли бы от беды, где подсказали чего, где и поругали бы — уцелеешь, не уцелеешь в бою, не от тебя только одного зависит, на войне все делают одно дело, там все перед смертью равны, все одинаково подвержены выбору судьбы. Так близко и так далеко-далеко от истины были в этих простецких, бесхитростных думах только начавшие соприкасаться с армейской жизнью молодые служивые.

С новобранцев, которые были нестрижены, снимали волосье. Старообрядцы с волосами расставались трудно, однако стоически, крестились, плакали, а потом хохотали друг над другом, не узнавая голые морды свои и товарищев, один старообрядец плакал особенно безутешно, даже и на обед не пошел. Закрывшись полами шабуров, каких-то лишь нашим людям известных тужурок, телогреек, пальто и им подобных одежд, водворив вместо подушки сидора под головы, ребята пробовали спать, однако день выдался суматошный, их то и

дело сгоняли с нар, выдворяли из помещения, выстраивали, осматривали, переписывали, разбивали по командам, не велели никуда разбредаться, ждать велели, но чего ждать — не сказали. Уже тут, в полужилом подвале, на подступах к военной службе, парням внушалась многозначительность происходящего, веяние какой-то тайны, все тут насквозь пронзившей, должно было коснуться даже этого пока еще полоротого, разномастного служивого пролетариата.

Многозначительность, важность еще больше возросли, когда началась политбеседа. Не старый, но, как почти все здешние командиры, тощий, серый ликом, однако с зычным голосом капитан Мельников, при шпалах и ремнях, оглядел внесенную за ним двумя новобранцами в помещение треногу, пошатал ее для верности, пришпилил к доске кнопками политическую изношенную карту мира с едва видимыми синенькими, желтыми, коричневыми и красными странами и материками, среди которых раскидисто малинилось самое большое на карте пятно — СССР, уверенно опоясавшее середину земли.

Одернув гимнастерку, причесавшись расческой, капитан Мельников продул ее, из-подо лба наблюдая за рассказывающимися по краям нар новобранцами, провел большими пальцами под ремнем, сгоняя глубокие, бабьи складки на костисто выгнутую спину, сосредоточиваясь на мыслях, кашлянул, уже скользом оглядел публику, плотно рассевающуюся в проходе, но не вместившуюся ни на плахах, ни на нарах, по-куриному приосевшую на корточки спиной к коленям сидящих сзади, — сцепка людей была всеобщая, по казарме никто не смел бродить, курить тоже запрещалось.

— Наши доблестные войска, перемалывая превосходящие силы противника, ведут упорные кровопролитные бои на всех фронтах, — начал неторопливо, как бы взвешивая каждое слово, капитан Мельников, — Враг вышел к Волге, и здесь, на берегах великой русской реки, он найдет свою могилу, гибельную и окончательную...

Голос политотдельца, чем дальше он говорил, делался увереннее, напористей, вся его беседа была так убедительна, что удивляться только оставалось — как это немцы умудрились достичь Волги, когда по всем статьям все должно быть наоборот и доблестная Красная Армия должна топтать вражеские поля, попирать и посрамлять фашистские твердыни. Недоразумение да и только! Обман зрения.

Напасть. Бьем врага отчаянно! Трудимся героически! Живем патриотически! Думаем, как вождь и главнокомандующий велит! Силы несметные! Порядки строгие! Едины мы и непобедимы!.. И вот на тебе — враг на Волге, под Москвой, под Ленинградом, половину страны и армии как корова языком слизнула, кто кого домалывает — попробуй разберись без пол-литры.

Однако слушать капитана Мельникова все одно хорошо. Пусть обман, пусть наваждение, блудословие, но все ж верить хочется. Закроешь глаза — и с помощью отца-политотдельца пространства такие покроешь, что и границу не заметишь, в чужой огород перемахнешь, в логове окажешься, и, главное дело, время битвы сокращается с каждой минутой. Что как не поспеешь в логово-то? Доблестные войска до тебя домолотят врага? Тогда ты с сожалением, конечно, но и с облегчением в сердце вернешься домой, под родную крышу, к мамке и тятке.

Под звук уверенного голоса, под приятные такие слова забывались все потери, беды, похоронки, слезы женские, нары из жердинника, оторопь от летней столовой, смрад и угарный дым в казарме, теснящая сердце тоска. И дремалось же сладко под это словесное убаюкивание. Своды карантина огласил рокот — не иначе как камнепад начался над казармой, кирпичная труба рассыпалась и рухнула, покатила по тесовой крыше. Капитан Мельников и вся ему внимавшая публика обмерли в предчувствии гибели. Рокот нарастал.

— Встать!

Рокот оборвался. Все ужаленно вскочили. Коля Рындин, мостившийся на конце плахи, упал в песок на раздробленное сосновое месиво, шарился под нарами, отыскивая картуз, который он только что держал на коленях.

— Кто храпел?

Коля Рындин нашел картуз, вытряхнул из него песок, огляделся.

— Я, поди-ко.

— Вы почему спите на политзанятиях?

— Не знаю. — Коля Рындин подумал и пояснил: — Я завсегда, коль не занят работой, сплю.

Народ грохнул и окончательно проснулся. Капитан снисходительно улыбнулся, велел всем сесть, но нарушителю приказал стоять, пообещав, что как перейдет новоприбывшее войско на

казарменное положение, так просто никому не спишется срыв важнейшего воспитательного предмета, каким являются политические занятия, такому вот моральному отщепенцу, храпуну, кроме своих прихотей ничего не уважающему, уделено будет особое, самое пристальное внимание. Коля Рындин напугался обличительных слов важного капитана, потому что быть моральным отщепенцем ему еще не доводилось, пнем горелым торчал среди полутемной казармы, на всякий случай, пригнувшись под потолком, изо всех сил старался слушать политбеседу, но непобедимая дрема окутывала его, размягчала, уносила вдаль, качала-убаюкивала, и, боясь рухнуть наземь среди почтительной беседы, он принял меры безопасности.

— Ширай меня под бок, если што, — шепнул он рядом сидящему парню.

— Чего, если что?

— Под бок ширай, да пошибче, а то погибель.

Политбеседа закончилась обзором мировых событий, уверением, что не иначе как к исходу нынешнего года, но скорее всего по теплу союзники — Англия и Америка — откроют второй фронт, капитан попросил, чтоб бойцы показали на карте, где находится Англия, где располагается Америка. Нашлись два-три смельчака, отыскали дальние страны союзников на карте. Коля Рындин, которому наконец-то позволили сесть, вытянул шею, глядел на деревянную указку, шепотом спрашивал:

— Какой оне веры?

— Бусурманской.

— Я так и думал. Потому оне и не отворяют другой фронт, чтобы мы надорвались, обессилели. Тоды они нехристей на нас напустют.

Ребята, удивленно открыв рты, внимали Коле Рындину. Капитан сворачивал карту в трубочку, удаленно глядел мимо разношерстных новобранцев, мучал заморенное сознание, сосредотачиваясь перед новой беседой — ему предстояло побывать во всех казармах карантина да еще провести, уже вечером, последнее, наставительное занятие с младшими командирами одного из маршевых батальонов. Работал капитан Мельников так много, так напряженно, главное, так политически целенаправленно, что ему не только пополнять свои куцые знания, но и выспаться некогда было. Он считал, что так оно и должно быть: сгорать на партийно-агитационной работе дотла во имя

любимой Родины и героического советского народа — его назначение, иначе незачем было в армию идти, в политучилище маяться, которое он уже забыл, когда закончил, да и себя мало помнил, потому как себе не принадлежал, зато числился не только в полку, но и во всем Сибирском военном округе одним из самых опытных, пусть и слабообразованных политработников.

Карантинная жизнь густела и затягивалась. Маршевые роты отчего-то не отправлялись по назначению и не освобождали казармы. В карантинных землянках многолюдствие и теснота, драки, пьянки, воровство, карты, вонь, вши. Никакие дополнительные меры вроде внеочередных нарядов, лекций, бесед, попыток проводить занятия по военному делу не могли наладить порядок и дисциплину среди шатучего людского сброда. Давно раскурочены котомки старообрядцев и их боевых сподвижников, давно кончился табак, но курить-то охота и жрать охота. Промышляй, братва! Ночами пластаются котомки вновь прибывших, в землянках идет торг и товарообмен, в столовке под открытым небом кто пожрет два раза, кто ни разу. Лучше, чем дома, чувствовали себя в карантине жулики, картежники, ворье, бывшие урки-арестанты. Они сбивались в артельки, союзно вели обираловку и грабеж, с наглым размахом, с неуязвимостью жировали в тесном, мрачном людском прибежище.

Были и такие, как Зеленцов, добычу вели особняком, жили по-звериному уединенно. Правда, для прикрытия Зеленцов сгрудил возле себя несколько бойких парнишек — двух бывших детдомовцев Хохлака и Фефелова, работяг Костю Уварова и Васю Шевелева, — за песни уважал и кормил Бабенко, не отгонял от себя Зеленцов и Лешку Шестакова, и Колю Рындина — пригодятся.

Хохлак и Фефелов — бывшие беспризорники, опытные щипачи — работали ночами, днем спали. Если их начинали будить и назначать в наряд, компания дружно защищала корешей, крича, что они всю ночь дежурили. Костя Уваров и Вася Шевелев ведали провиантом — занимали очереди в раздаточной, пекли на печи добытую картошку, свеклу, морковь, торговали, меняли вещи на хлеб и табак, где-то в лесных дебрях добывали самогонку. Лешка Шестаков и Коля Рындин пилили и таскали дрова, застилали искрошенный лапник на нарах свежими ветками, приносили воду, вырыли в отдалении и загородили



вершинами сосняка персональный нужник. Лишь Петька Мусиков уединенно лежал в глубине нар, вздымаясь только по нужде и для принятия пищи. Зеленцов сидел на нарах, ноги колесом, руководил артелью, «держал место», наливал, отрезал, делил, насыпал, говоря, что с ним ребята не пропадут и что здесь припеваючи можно просидеть всю войну.

Однажды вечером новобранцам велели покинуть казармы. Мятые, завшивленные, кашляющие, не строем, разбродным стадом пришли они в расположение рот. Их долго держали на пронизывающем ветру. В потемках уже, под тусклыми пятнышками света, желтеющими над входами в казармы, туда-сюда бегали, суетились командиры, мерзло стуча сапогами, выкрикивали поименно своих бойцов, ругались, подавали команды. Важные лица до самой звездной ночи считали и проверяли маршевые роты в полном снаряжении, готовя их к отправке. Маршевики были разных возрастов, ребятишкам-новобранцам, превратившимся в доходяг, обмундированные, подтянутые солдаты казались недоступными, они звали их дяденьками, раболепно заискивали перед старослужащими, делились табачишком, у кого остался. Невзирая на строгую военную тайну, маршевики уже знали и говорили, что направляют их на Сталинград, в дивизию Гуртьева, в самое пекло. Подточенные запасным полком, бледные, осунувшиеся, костистые, были бойцы угрюмы и малоразговорчивы, но табачок да землячество сближали их с ребятишками.

Ночь уже была, мороз набирал силу. Перемерзшие люди начали разводиться костерки, ломая на них пристройки, отдирая обшивку с тамбура казармы, наличники от дверей, мгновенно была разобрана и сожжена загорожа ротного нужника. Отобравши у новобранцев все, что было с ними из жалкого имущества, в карантин ребят не возвращали, а им уже раем казался душный темный подвал.

Поздней ночью поступила команда войти в расположение первой роты первого батальона сперва маршевикам, затем новобранцам.

Началась давка. В казарме, настывшей без людей, выветрился и живой дух. Вонько было от карболки и хлорки — успели уже провести дезинфекцию, повсюду на склизлый, хлябающий пол, настланный прямо на землю и сгнивший большей частью, был насыпан белый порошок, на нары, под нары, даже и вокруг громоздких небеленых

печей, толсто облепленных глиной, слоем навален порошок. Мало стоит, видно, этот порошок, вот и навалили его без нормы — не жалко.

Маршевые роты смели рукавицами с нар порошок, заняли свое место. Ребятам-новобранцам велено было находиться в казарме, ждать отправки маршевиков и тогда уж располагаться на нарах. Известно, что солдат всегда солдат и была бы щель — везде пролезет, находчивость проявит. Так и не дождавшись никакого подходящего момента до самого утра, парни совались на нары к маршевикам, те их не пускали, ребятишки-то во вшах, уговаривали, урезонивали ребят, однако те упорно лезли и лезли в людскую гущу, в тепло. Тогда их начали спинывать, сшибать с нар, дубасить кулаками, стращать оружием.

Та злобная, беспощадная ночь запала в память как бред. Лешка Шестаков вместе с Гришей Хохлаком примазывался на нары, хотя бы нижние, хотя бы в ногах спящих, но маршевики молча их спинывали не стоптанными еще жесткими ботинками на холодный пол. Один дядек все же не выдержал, в темноте проскрежетал: «Ат армия! Ат бардак! Да пустите парнишшонок на нары. Пустите. Черт с ними, со вшами! Че нам, привыкать? До смерти не съедят».

Зеленцов чувствовал себя и здесь как дома. Он растопил печку какими-то щепками, обломками пола, когда к теплу потянулись доходяги, сказал, что подпускать к печи будет только тех вояк, которые с дровами. Затрещали половицы, облицовка нар, в проходе ступеньки хрустнули, скрежетали гвозди. Лешка с Хохлаком сходили на улицу, собрали возле давешних костерков куски досок, сосновые сучья, бодро грохнули беремце топлива к дверце печки. Зеленцов приблизил их к себе. «Главное, братва, не ложиться на пол, прежь всего боком не вались — простудите ливер», — увещевал он.

Парни держались героически. Печка постепенно и нехотя разгоралась, от нее поплыло волглое, глиной пахнущее, душное тепло. Перемерзлых ребят одного за другим валило на пол к сырому боку печи. Лешка с Хохлаком еще и еще ходили за дровами к карантину, к офицерским землянкам, где могли их и пристрелить. Коля Рындин приволок из тайги на плече долготьем сухостоину, положил ее концом на возвышение крыльца и, дико гакая, прыгая, крушил сосну ногами. Но и этого топлива не хватило до утра. Разогнавшись что паровоз, печка не знала устали, с гулом, аханьем пожирала жалкую древесную

ломь, огненная ее пасть делалась все красней, все яростней и слопала наконец, испепелила все топливо, пожрала силы бойцов. Они пали вокруг печки, будто на поле брани. Зеленцов, Бабенко и Фефелов, дождавшись бесчувственного сна войска, напослед очищали карманы и сидора маршевиков, но тем еще не выдали дорожный паек, личных вещей у них почти не осталось, издержались, проели, променяли цепкое имущество дядьки за месяцы службы в запасном полку. С пяток ножей-складников, пару портсигаров да несколько мундштуков и сотню-другую бумажных денег добыли мародеры и от разочарования, не иначе, тоже уснули, прижавшись спинами к подсохшему горячему боку печки.

Лешке тоже удалось притиснуться, и когда, как он от печки отслонился или его отслонили — не помнил. Наяву иль во сне мелькнуло, как его, вывалянного в порошке, пинали, загоняли куда-то. Не открывая глаз, он вскарабкался наверх и, нащупав твердое место, провалился в зябко его окутавший сон.

Маршевую роту наутре все же подняли и отправили на станцию Бердск. Усатый старшина первой роты по фамилии Шпатор, жалея ребятишек, которые отныне поступали в его распоряжение, затаскивал их вместе с дежурным нарядом на нары. Когда отгрешились, стругались, пинками забивая служивых на спальные места, старшина, тяжело дыша, выдохнул:

— Н-ну, с этими вояками будет мне смех и горе!

Спальные места — трехъярусные нары с железными скобами в столбах. Посередке сдвоенных нар точно по шву шалашиком прибиты доски — изголовье, оно две службы сразу несло: спать как на подушке позволяло и отделяло повзводно спящих головами друг к другу людей — с той стороны второй взвод, с этой первый, не спутаешь при таком удобстве.

Половина мрачной, непродышливой казармы с выходом к лесу и к нужнику, с тремя ярусами нар — это и есть обиталище первой роты, состоящей из четырех взводов. Вторую половину казармы с выходом к другой такой же казарме занимала вторая рота, все вместе будет первый стрелковый батальон двадцать первого резервного стрелкового полка.

Плохо освещенная казарма казалась без конца, без края, вроде бы и без стен, из сырого леса строенная, она так и не просохла, прела, гнила, была всегда склизкой, плесневелой от многолюдного дыхания. Узкие, от сотворения своего немытые оконца, напоминающие бойницы, излаженные меж землей и крышей, свинцовели днем и ночью одинаково мертво-лунным светом. Стекла при осадке в большинстве рам раздавило, отверстия были завалены сосновыми ветвями, на которых толстыми пластушинами лежал грязный снег. Четыре печи, не то голландки, не то просто так, без затей сложенные кирпичные кучи, похожие на мамонтов, вынутых из-под земли иль сослепу сюда нечаянно забредших, с одним отверстием — для дверцы — и броневым листом вместо плиты, загораживали проходы казармы. Главное достоинство этой отопительной системы было в тяге: короткие, объемистые, что у парохода, трубы, заглотив топливо, напрямую швыряли в небо тупыми отверстиями пламя, головешки, уголья, сорили искрами густо и жизнерадостно, чудилось, будто над казармами двадцать первого полка каждый вечер происходит праздничный фейерверк. Будь казармы сухими, не захороненными в снегу — давно бы выгореть военному городку подчистую. Но подвалы сии ни пламя, ни проклятье земное, ни силы небесные не брали, лишь время было для них губительно — созревая, они покорно оседали в песчаную почву со всем своим скудным скарбом, с копошащимся в них народом, точно зловещие гробы обреченно погружались в бездонные пучины.

Из осветительного имущества в казарме были четыре конюшенных фонаря с выбитыми стеклами, полки с жировыми площадками, прибитые к стене против каждого яруса нар, к стене же прислонен стеллаж — для оружия, в стеллаже том виднелись две-три пары всамделишных русских и финских винтовок, далее белели из досок вырубленные макеты. Как и настоящие винтовки, они пронумерованы и прикручены проволокой к стеллажу, чтоб не стащили на топливо.

Выход из казармы увенчан дощатыми, толсто обмерзшими воротами, к ним пристройки: по левую руку — каптерка ротного старшины Шпатора, зорко оберегающего необременительное ротное имущество, справа — комната дневальных с отдельной железной печью, подле которой всегда имелось топливо, потому как дежурка

употреблялась для индивидуального осмотра контингента роты по форме двадцать, а также для свиданий с родными, которые отчего-то ни разу еще сюда не приезжали, ну и вообще для всяких разных нужд и надобностей.

Более ничего примечательного в этом помещении не было. Казарма есть казарма, тем более казарма советская, тем более военной поры, — это тебе не дом отдыха с его излишествами и предметами для интересного досуга. Тем более это не генеральские апартаменты — здесь все сурово, все на уровне современной пещеры, следовательно, и пещерной жизни, пещерного быта.

Лешка просыпался долго, еще дольше лежал, вслушивался в себя, привыкая к гулу, ко климату заведения, в котором ему предстояло жить и служить. С нар, с самого их верха — во куда во сне занесло! — ему был виден краешек продолговатой темной рамы. Стеклашки в ней искрошены и отчего-то не вынуты, так осколками и торчат, придавленные хвойной порослью — для тепла, догадался Лешка и отметил про себя: «Будто в берлоге», но смятения не испытал, только тупая покорность, в него вселившаяся еще с карантина, угнетала и поверх этого томили еще два желания — хотелось до ветру и поесть.

Кто как, кто где спали ребята, которые проснулись, покуривали, переговаривались, подавленно глазели на окружающую действительность. Справа и слева от Лешки разместилась компания Зеленцова. Широко распахнув рот, подобрав под шабур локтистые руки, спал, не давая себе разойтись в храпе, Коля Рындин. «Во дает...» — Лешка не успел докончить вялую мысль, как бодрый, почти веселый, не по-стариковски звонкий голос старшины Шпатора взвился в казарме:

— А, па-а-аадье-омчик, служивые! Па-а-аадье-ооом-чик! Па-адьем-чик! Служба начинается, спанье кончается! Будем к порядку привыкать, к дисциплиночке!

Да не шибко-то отреагировали на этот призыв служивые, мало кто шевельнулся. Старшина вынужден был кого-то дернуть за ногу.

— Тебе, родной, отдельную команду подавать, памаш? Тут вам не у мамки на печи! Тут армия, памаш.

В этот день прибывших из карантина новобранцев кормили разом завтраком и обедом, да еще и от маршевых рот, рано угнанных на станцию, хлебово в котлах осталось — наелись от пуза, повеселели

молодые воины, решили, что так оно и дальше будет. Когда отобрали из первой и второй рот по десятку ребят и послали те команды топить баню — еще веселее сделалось. В казарме разговоры пошли о том, что там, в бане, обмундируют их, белье и амуницию новые выдадут, говорили, будто бы уже видели, как на подводе полушубки, валенки и еще чего-то повезли, и совсем уж обнадеживающие для жизни новости докатились до рот: пока служивые моются, обмундировываются, им приготовят сюрприз — старшина с дежурными разложат по нарам постельные принадлежности: на каждого служивого по одеялу, наволочке и по одной, может, и по две простыни — отдыхай, набирайся сил и умения для войны, молодой человек, страна и партия о тебе думают, заботятся, помогают готовиться для грядущих битв.

В глуби казармы, в земных ее недрах, возник и зазвучал высокий, горя не знающий голос:

Ревела буря, дождь шумел...

Во мраке молнии блистали...

Лешка по голосу узнал Бабенко, подтянул ему, не ведая еще, что долго он теперь в этом месте, в этой яме, называемой и без того презренным словом «казарма», никаких песен не услышит.

## Глава вторая

С того самого дня, со вселения в расположение первого батальона, ребята из первой и других рот все время ждали изменения к лучшему в своей жизни и службе. Новое обмундирование им не дали, всех переодели в б/у — бывшее в употреблении. Лешке Шестакову досталась гимнастерка с отложным воротником, на которой еще были видны отпечатки кубиков, — командирская попалась гимнастерка, зашитая на животе. Не сразу узнал он, отчего гимнастерки и нательные рубахи у большинства солдат зашиты на животе. Нелепость какая-то, озорство, тыловое хулиганство, думал он.

Баня новая, из сырых, неокоренных бревен, печи в ней едва нагрелись, воды горячей обошлось лишь по тазу на брата. В парной каменка чуть шипела. Коля Рындин, вознамерившийся похлестаться веником, где-то подобраным, хлобыстнул на гору камней таз воды, каменка отозвалась слабым, исходным сипением, чахоточно кашлянула, потрещало что-то в каменных недрах, будто парнишки сперли у отца горсть пистонов и набросали в каменку, и все сконфуженно утихло. Держа обеими ручищами своего ребенка, Коля Рындин постоял, подождал еще звуку и пару и боязно, будто от покойника, упятился из мокрой парилки к народу, в моечную.

Пока обмундировывались, совсем продрогли парни. Особенно досталось Коле Рындину и солдату Булдакову, недавно присланному в роту: все обутки, вся одежда в ворохах и связках была рассчитана на среднего человека, даже на маломерков, но для двухметрового Коли Рындина и такого же долговязого Лехи Булдакова ничего подходящего не находилось. Едва напялили они на озябшее сырое тело опасно трещавшее белье, гимнастерки, штаны же застегнуть не могли, шинели до колен, рукава едва достигали локтей, на груди и на брюхе не сходилось. Коля Рындин и Леха Булдаков насунули в ботинки до половины ноги, ходили на смятых задниках, отчего сделались еще выше, еще нелепей, да и стоять приловчиться не могли — шатало. Старшина Шпатор, выстроив роту, горестно глядел на гренадеров этих, сокрушенно качал головой, сулился поискать на складе амуницию, привести в порядок чудо-богатырей Советской Армии, но сулился

вяло, не веря в успех. Коля Рындин терпел тычки и поношения, но вот Булдаков, споткнувшись раз-другой, спинал ботинок сначала с левой ноги, затем с правой, стиснул портянки в горсти и пошел по морозу босиком. Старшина Шпатор открыл рот. Рота смешала строй, остановилась. Вулдаков удалялся.

— Э-эй! — подал голос старшина Шпатор. — Ты это, памаш, че? Простудисся...

Булдаков шел по дороге, незастегнутые кальсоны вместе с брюками сползли с живота, мели тесемками снег. Время от времени Булдаков подхватывал тряпицы, поддергивал их до живота и топал дальше.

Сделав небольшой крюк, Булдаков сравнился со штабом полка и, шагая вдоль брусчатой ограды, рывкнул, рубя босыми ногами по стылой дороге:

Взвейся, знамя коммунизма,  
Над землей трудящихся масс...

— Эй, эй, — держа старые, скореженные ботинки в руках, бежал следом старшина Шпатор, — эй, придурок! Эй, товарищ боец! Как твоя фамилия?

Булдаков продолжал рубить строевым шагом, да так с песней и удалился в глубь казарм, там бегом рванул в расположение, взлетел на верхние нары, принялся оттирать ноги сукном шинели.

Военный чиновный люд, высыпающий из штаба полка на крашеное крылечко, который удивить вроде бы уж ничем было невозможно, все же удивился. Один штабист совсем разнервничался, подозвал старшину:

— Что за комедия? Что за бардак?

— А бардак и есть! — выдохнул старшина Шпатор, указывая ботинками на бредущую из бани первую роту — оне вон утверждают, памаш, весь мир — бардак, все люди — бляди. И правильно, памаш! Правильно! Вы вот, — увидев, что штабист собрался читать ему мораль, — вместо лекции две пары ботинок сорок седьмого размера мне найдите, а энти себе оставьте либо полковнику Азатьяну подарите на память. — И, поставив сморщенные ботинки на крашеное



крылечко, дерзко удалился, издавая крича что-то первой роте, какие-то команды подавая и в то же время горестный итог подводя от знакомства со свежим составом роты: ежели в нее угодило с пяток этаких вот бойцов-богатырей, артистов, как тот, что показал строевую неустрашимость, ему при его годах и здоровье долго не протянуть.

Не выдали служивым ни постелей, ни пожиток, ни наглядных пособий, ни оружия, ни патронов, зато нравочений и матюков не жалели и на строевые занятия выгнали уже на другой день с деревянными макетами винтовок, вооружив — для бравости — настоящими ружьями лишь первые две четверки в строю. И слилась песня первой роты с песнями и голосами других взводов, рот, чтобы со временем превратиться во всеобщий непрерывный вой и стон, от темна до темна звучащий над приобским широким лесом. Лишь голос Бабенко, сам себе радующийся, перекрывал все другие голоса: «Распрягайте, хлопцы, коней тай лягайте опочивать...» — и первый взвод первой роты, со спертым в груди воздухом в ожидании припева замирал, карауля свой момент, чтобы отчаянно выдохнуть: «Раз-два-три, Маруся!..»

Шли первые дни и недели службы. Не гасла еще надежда в сердцах людей на улучшение жизни, быта и кормежки. Еще пели в строю, еще радовались вестям из дому, еще хохотали; еще про девок вспоминали красноармейцы, закаляющиеся в военной однообразной жизни, втягивающиеся в казарменный быт, мало чем отличающийся от тюремного, упрямо веруя в грядущие перемены. На таком краю человеческого существования, в таком табунном скопище, полагали они, силы и бодрость сохранить, да и выжить, — невозможно. Ребята — вчерашние школьники, зеленые кавалеры и работники — еще не понимали, что в казарме жизнь как таковая обезличивается: человек, выполняющий обезличенные обязанности, делающий обезличенный, почти не имеющий смысла и пользы труд, сам становится безликим, таким истуканом, давно и незамысловато кем-то вылепленным, и жизнь его превращается в серую пылинку, вращающуюся в таком же сером, густом облаке пыли.

Колю Рындина и Леху Булдакова на занятия не выводили по причине некомплектности — чтоб не торчали они чучелом над войском, не портили ротной песни, блажа чего попало, потому как

старообрядец ни одной мирской, тем более строевой песни не знал, вставлял в такт шага свои слова: «Святой Боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас...» Леха Булдаков малой обувью швырялся, вел себя мятежно. Эту пару заставляли таскать воду в ротный бачок, мыть пол, если набросанные на землю горбылины и полусгнившие плахи можно было назвать полом, пешней и лопатой скалывать снег у входа в казарму, залитый мочой, чистить нужник, пилить и колоть дрова, топить печи в казарме и в дежурке да в каптерке старшины.

Булдаков от работы уклонялся, бессовестно эксплуатировал Колю Рындина. Коля же работал добросовестно, ему перепало за труды кое-что из приварка за счет больных и темных лиц, не являющихся ко двору, даже в дежурку за едой, для них принесенной, не спешащих. Да и Булдаков порой тоже исчезал куда-то, приносил съестное в карманах и под полою — воровал, поди-ко, Господь его прости, но добычей делился, добрый и отчаянный он человек.

Дома, в Верхнем Кужебаре, Коля Рындин утром съедал каравай хлеба, чугунок картошки или горшок каши с маслом, запивал все это кринкой молока. За обедом он опоражнивал горшок щей, сковороду драчены на сметане, или картошки с мясом, либо жаровню с рыбой и на верхосытку уворачивал чугунок паренок из брюквы, свеклы и моркови, запивал все это крепкое питанье ковшом хлебного кваса либо простоквашей. На ужин и вовсе была пища обильной: капуста, грибы соленые, черемша соленая, рыба жареная или отварная, поверху квас, когда и пиво из ржаного сусла, кулага из калины.

В посты, особенно в Великий пост, страдал парень от голода сильно, случалось, и грешил, тайком чего-нибудь съевши, но и каялся, опять же молился. А здесь вот ни тебе молитвы, ни тебе покаянья, воистину антихристово пристанище, бесовское ристалище.

Коля Рындин родился и рос на изобильных сибирских землях возле богатой тайги и реки Амыл. Нужды в еде никогда не знал, первые месяцы войны пока еще губительно не отозвались на крестьянском пропитании, не пошатнули их векового рациона, но в армии, после того как опустела котомка, старообрядец сразу почувствовал, что военное время — голодное время. Коля Рындин начал опадать с лица, кирпичная каленость сошла с его квадратного загривка, стекла к щекам, но и на щеках румянец объявлялся все реже

и реже, разве что во время работы на морозе. Брюхо Коли Рындина опало, несмотря на случайные подкормки, руки вроде бы удлинились, кость круче выступила на лице, в глазах все явственней сквозила тоска. Коля Рындин не раз уж замечал за собой: забывает помолиться на сон, перед едою, пусть молчком, про себя, но Господь-то все равно все ведает и молитву слышит, да и молитвы стал он путать, забывать.

Перед великим революционным праздником наконец-то пришли специальной посылкой новые ботинки для большеразмерных бойцов. Радуюсь обновке, что дитя малое, Коля Рындин примерял ботинки, притопывал, прохаживался гоголем перед товарищами. Булдакову Лехе и тут не уноровили, он ботинки с верхотуры нар зафитилил так, что они грохнули об пол. Старшина Шпатор грозился упечь симулянта на губу, и когда служивый этот, разгильдяй, снова уклонился от занятий, явился в казарму капитан Мельников, дабы устранить недоделки здешних командиров в воспитании бойца. Симулянт был стащен с уютных нар, послан в каптерку, из которой удален был хозяин — старшина Шпатор.

Комиссар, как ему и полагается, повел с красноармейцем беседу отеческим тоном. Как бы размякнув от такого отечески-доверительного обращения, Булдаков жалостливо повествовал о себе; родом из окраинного городского поселка Покровки, что на самой горе, на самом лютном ветру по-за городом Красноярском, туда и транспорт-то никакой не ходит, да там и народ-то все больше темный-претемный живет-обретается; с раннего детства среди такого вот народа, в отрыве от городской культуры, в бедности и труде. Кулаков? Нет, никаких кулаков в родне не водится. Какие кулаки в городе? Элементу? Элементу тоже нет — простая советская семья. Кулаки же, паразиты, — это уж на выселках, по-за речкой Качей, там, там, за горами, оне кровь из батраков и пролетариата сосут. В Покровке же рабочий люд, бедность, разве что богомолки докучают. Кладбище близко, собор в городе был, но его в конце концов рванули. Богомолки тоже отлавливают, и церкву надо прикрыть в Покровке, чтоб не разводился возле нее паразитирующий класс. Насчет сидеть? Тоже как будто все чисто.

О том, что папаня, буйный пропойца, почти не выходит из тюрьмы и два старших брата хорошо обжили приенисейские этапные

дали, Булдаков, разумеется, сообщать воздержался, зато уж пел он, соловьем разливался, повествуя о героическом труде на лесосплаве, начавшемся еще в отроческие годы.

О том, что сам он только призывом в армию отвертелся от тюрьмы, Булдаков тоже умолчал. А вот о том, что на реках Мане, Ангаре и Базаихе грудь и ноги застудил, повествовал жарко и складно, да что ноги, в них ли дело, зато познал спайку трудового народа, энтузиазм социалистического соревнования ощутил, силу рабочего класса воочию увидел, крепкую закалку прошел, вот отчего, рассердившись на вещевого склад, по снегу босиком прошел и не простудился. С детства ж, с трех лет, зимой и летом, как и полагается пролетарью, на ветру, на холоду, недоедая, недосыпая, зато жизнь героическую изведаль и всем сердцем воспринял. Нет-нет, не женат. Какая жена! Какая семья! Надо на ноги крепко встать, бедной маме помогать, папу издалека дожидаться, да и уцелеть еще на войне надо, урон врагу нанести, прежд чем о чем-то всяком другом думать.

Мельников начал впадать в сомнение — уж не дурачит ли его этот говорун, не насмехается ли над ним?

— Придуриваетесь, да? Но я вам не старшина Шпатор, вот велю под суд вас отдать...

Булдаков поманил пальцем Мельникова, вытянул кадыкастую шею и, наплевав сырости в ухо комиссару, шепотом возвестил:

— Гром надломится, но хер не сломится, слышал?

Капитан Мельников отшатнулся, лихорадочно прочищая мизинцем ухо.

— Вы! Вы... что себе позволяете?

Булдаков вдруг увел глаза под лоб, зашевелил ушами, перекосоротился.

— У бар бороды не бывает! — заорал припадочным, срывистым голосом. — Я в дурдоме родился. В тюрьме крестился! Я за себя не отвечаю. Меня в больницу надо! В психи-атри-ческу-у-у!.. — Ибрякнулся на пол, пнув по пути горящую печку, сшиб трубу с патрубком, дым по каптерке за клубило, посуда с полки упала, котелок, кружка, ложки, пол ходуном заходил, изо рта припадочного повалила пена.

Капитан Мельников не помнил, как выскочил из каптерки, спрятавшись в комнате у дежурных, где сидел, поскорбев лицом, все слышавший старшина Шпатор.

— Может, его... может, его в новосибирский госпиталь направить... на обследование?... — отпив воды из кружки дежурных, спросил нервным голосом Мельников.

Старшина дождался, когда дежурные подадут капитану шинель и шапку, безнадежно махнул рукою.

— Половину роты, товарищ капитан, придется направлять. Тут такие есть артисты... Ладно уж, я сам их обследую. И рецепт пропишу, памаш, каждому, персонально.

С тех пор, проводя в казарме политзанятия, капитан Мельников опасливо косился в сторону Булдакова, ожидая от него какого-либо подвоха. Но красноармеец Булдаков вел себя примерно, вопросы задавал только по текущей политике, интересуясь в основном деятельностью Даладые и Чемберлена да кто правит ныне в Африке — черные или все еще белые колонизаторы-капиталисты.

Бойцы уважали Леху Булдакова за приверженность к чтению газет, за политическую грамотность. Мельников с опаской думал: «Чего это он насчет Даладые и Чемберлена то?...»

На 7 ноября открыли зимнюю столовую. В зале, напоминающем сельский стадион, за столами, не по всей еще площади закрепленными на укосинах, сидя на еще не убранных опилках, на полу и на скамейках, полк слушал доклад товарища Сталина из Москвы. В столовой, свежо пахнувшей пиленным тесом, смолистой сосною, раздавался негромкий и неторопливый голос, с перебивками, порой с нажимом оратор выговаривал русские слова:

«В тяжелых условиях приходится праздновать сегодня двадцать пятую годовщину Октябрьской революции. Вероломное нападение немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны... Враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы».

Говорил Сталин заторможенно, с остановками, как бы обдумывая каждое слово, взвешивая сказанное. От давней, как бы уже старческой усталости, печальны были не только голос, но и слова вождя. У людей, его слушавших, сдавливало грудь, утишало дыхание, жалко делалось вождя и все на свете, хотелось помочь ему, а чем поможешь-то? Вот и

страдает, мучается за всех великий человек, воистину отец родной. Хорошие, жалостливые, благодарные слушатели были у вождя, от любого, в особенности проникновенного, слова раскисающие, готовые сердце вынуть из груди и протянуть его на ладонях: возьми, отец родной, жизнь мою, всего меня возьми ради спасения Родины, но главное, не печалься, не горюй — мы с тобою, мы за тебя умрем все до единого, только не горюй, лучше мы отгорюем за все и за всех, нам не привыкать.

Коля Рындин, задержавшийся по хозяйственным делам, опоздал к началу доклада, с трудом отыскал свою роту; плюхнулся на пол, задыхливо спросил:

— Кто говорит-то?

— Сталин.

— Ста-алин? — Коля Рындин вслушался, подумал и на всякий случай от себя лично ввернул: — Он завсегда правильно говорит...

— Тих-ха, ты!

«...Трудности удалось преодолеть, и теперь наши заводы, колхозы и совхозы... наши военные заводы и смежные с ними предприятия честно и аккуратно снабжают Красную Армию... наша страна никогда еще не имела такого крепкого и организованного тыла».

Кто-то захопал на этом месте, и все хотели захопать, но раздалась команда: «Не аплодировать отдельно от Москвы», — столовая снова замерла, дыша с приглушенной напряженностью.

«...Люди стали более подтянутыми, менее расхлябанными, более дисциплинированными, научились работать по-военному, стали сознавать свой долг перед Родиной...»

Сталин остановился, передохнул, послышалось бульканье, осторожный звяк посуды — докладчик попил воды.

«Военные действия на советско-немецком фронте можно разбить на два периода — это по преимуществу зимний период, когда Красная Армия, отбив атаку немцев на

Москву, взяла инициативу в свои руки, перешла в наступление, погнала немецкие войска и в течение четырех месяцев прошла местами более четырехсот километров. Немецко-фашистские войска, пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, собрали все свои свободные резервы, прорвали фронт в юго-западном направлении и, взяв в свои руки инициативу...»

Как наши войска взяли инициативу в свои руки и прошли четыреста верст, слушать было приятно, но вот как немцы взяли инициативу в свои руки и прошли пятьсот верст — хотелось пропустить. Да куда же денешься-то? Радио звучит. Сам Сталин смело говорит горькую правду своему народу — надо слушать.

«В ноябре прошлого года немцы рассчитывали ударом в лоб по Москве взять Москву, заставить Красную Армию капитулировать... Этими иллюзиями кормили они своих солдат...»

— Хераньки ихним иллюзиям! — выдохнул кто-то в первой роте, скорее всего Булдаков, кто же еще на такое способен?! Народ одобрительно шевельнулся, коротко всхотнул.

«...Погнавшись за двумя зайцами: и за нефтью, и за окружением Москвы, — немецко-фашистская стратегия оказалась в затруднительном положении».

— За двумя за зайцами погонишься, ни одного за яйца не поймашь! — звонко врубил патриотическую остроту все тот же Булдаков, но тут не выдержал капитан Мельников:

— Первая рота! Еще раз нарушите, удалю из помещения.

Поднялся командир первой роты Пшенный, обвел молодежь тяжелым взглядом, сделавшимся просто леденящим, поводит крупным, с ведро величиной лицом туда-сюда и, ничего не сказав, сел обратно на скамейку, но долго еще гневно тискал в руках шапку со звездой. Своего командира роты ребята мало видели, совсем еще не знали, но уже боялись — фигура!

Зато заместителя командира роты младшего лейтенанта Щуся, раненного на Хасане и там получившего орден Красной Звезды, приняли и полюбили сразу. Ладно скроенный, голубоглазый, четко и вроде даже музыкально подающий команды, как он приветствовал старших по званию, вскидывая руку к виску, щелкнув при этом сапогами, — балет! Щусь стоял, прислонившись спиной к стене, с шапкой в руке, гладко причесанный по пробору, в белом шарфике, в серой новенькой шинели, так всюду пригнанной, что и палец под ремень не просунешь!

Доклад продолжался, и тоже, как на политзанятиях, проводимых капитаном Мельниковым, выходило, что враг-фашист по какому-то совершенно непонятному недоразумению топчет нашу священную землю. Ага, вот маленько и прояснилось, почему фашист-ирод так далеко забрался в наши пределы:

«...Главная причина тактических успехов немцев на нашем фронте в этом году состоит в том, что отсутствие второго фронта в Европе дало им возможность бросить на наш фронт все свободные резервы...»

У всех полегчало на душе — ясное и понятное объяснение всех наших прорух, бед и отступлений. Открылся бы второй фронт, и...

«Красная Армия стояла бы в этом случае не там, где она стоит теперь, а где-нибудь около Пскова, Минска, Житомира, Одессы. Немецкая же стояла бы перед своей катастрофой».

К концу доклада голос Сталина окреп, сделался выше, уверенней и даже звонче. Вождь уже почти не кашлял, разогрелся или окончательно поверил, что враг на ладан дышит и стоит собраться с духом, сплотиться, нажать — как нечистая эта сила тут же окажется в собственной берлоге, где ее и следует добить, уконтрапупить. Сталин ставил для этого три задачи. Первая: «...уничтожить гитлеровское государство и его вдохновителей». Вторая задача: «...уничтожить гитлеровскую армию и ее руководителей». Третья задача: «...разрушить ненавистный «новый порядок» в Европе и покарать его строителей».



Перечисление всех этих задач сопровождалось бурными аплодисментами, океанным валом накатывающими через радиоприемник из Москвы до самой до столовой двадцать первого стрелкового полка. Когда Сталин дошел до приветствий, аплодисментам уже ни конца, ни удержу не было.

«Да здравствует победа англо-советско-американского боевого союза! Да здравствует освобождение народов Европы от гитлеровской тирании... Проклятие и смерть немецко-фашистским захватчикам, их государству, их армии, их «новому порядку» в Европе! Нашей Красной Армии — слава!»

Когда закончился доклад товарища Сталина, у красноармейцев и командиров двадцать первого стрелкового полка сплошь по лицу текли слезы. Коля Рындин плакал навзрыд, утирая лицо ручищей.

— Что же вы плачете, товарищ боец? — утираясь платочком, сморкаясь в платочек, с просветленным будто после причастия ликом подошел и спросил капитан Мельников.

— Мне товарища Сталина жалко.

— Не жалеть его надо, — складывая белый платочек уголком и запихивая его в карман брюк, растроганно назидал капитан Мельников, — а любить, гордиться тем, что в одно время нам выпало счастье жить и бороться за свободу своего Отечества и советского народа. — Капитан Мельников начал привычно заводиться на беседу, но окоротил себя — время позднее. — Так я говорю, товарищи красноармейцы?

— Та-ак! Правильно!

В этот вечер роты и взводы расходились по казармам с дружной песней, грозный грохот рот, взводов, многих ног в мерзлых ботинках сотрясал городок, отдавался в пустынно-пестрой земле, с которой недавним проливным дождем смыло почти весь снег. Трудно было не то что идти маршевым шагом — невозможно, казалось, и просто передвигаться по льду, однако бойцы маршировали ладно, главное дело, по своей воле и охоте маршировали и пели. Если кто норовил упасть, поскользнувшись, товарищи ловили его в воздухе.

До самого отбоя, до позднего часа небо и удивленно на нем мерцающие звезды, отграненные морозом, тревожила яростная песня: «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет...»

«Кажин бы день товарищ Сталин выступал по радио, вот бы дисциплина была и дух боевой на высоте...» — вздыхал старшина первой роты Шпатор, слушая ночное пространство, заполненное грохотом шагов, и ничего доброго врагу не обещающую бравую песню.

Увы, на другой, считай, день, как только повылазили служивые из казарм, едва нагретых дыханием многих людей, теплом многих тел, праздничное настроение роты прошло, бодрость духа испарилась. Дневальные отогнали табуны оправляющихся в глубь сосняков, где еще сохранился под деревьями белый снег, и командир роты приказал стянуть гимнастерки, умываться до пояса снегом. За утренним туалетом бойцов наблюдал Пшенный сам лично, и если какой умелец хитрил, не до конца стягивал гимнастерку, делал вид, что утирается снегом, он рывком сдирал с него лопотину. Уронив наземь симулянта, зачерпывал ладонью снег и остервенело тер им раззявленное, страхом охваченное лицо, цедя сквозь зубы: «Пор-рас-спустились!.. Пор-развольничались! Я в-вам покажу-уу! Вы у меня узнаете дисциплину...» Когда рота сбилась в растерянный, мелко дрожащий табунок, у нескольких красноармейцев красно текло из носа, кровенели губы. Оглядев неподпоясанных, с мокрыми, расцарапанными лицами своих подчиненных, взъерошенный, сипло дышащий командир роты с неприкрытой ненавистью, сглатывая от гнева твердые звуки, пролаял:

— Все поняли? (Табун подавленно и смято молчал.) Пяли, я сашиваю?

— Поняли, поняли, — высунувшись вперед, за всю роту ответил откуда-то возникший старшина Шпатор и, не спрашивая разрешения командира роты, от бешенства зевающего, пытающегося еще что-то сказать: — Бегом в казарму! Бегом! На завтрак опаздываем. — И приотстав от россыпью рванувшего из леса войска, поджав губы, проговорил: — Заправились бы, товарищ лейтенант.

— Шо?

— Заправились бы, говорю. В таком виде перед строем... — И когда Пшенный, весь растрепанный, со съехавшей пряжкой ремня, свороченной назад звездой на шапке, начал отряхиваться от снега, подтягивать ремень, старшина кротко спросил: — У вас семья-то была когда?

— Шо?

— Семья, дети, спрашиваю, у вас были когда?

— Твое-то какое дело? — уже потухнув взором, пробурчал командир роты. — Догоняй вон их, этих... — махнул он мокрой рукой вослед осыпающимся в казарму красноармейцам, сам, решительно хрустя снегом, пошел прочь.

«Э-ээх! — покачал головой старшина Шпатор. — И откуда взялся? Уж каких я зверей и самодуров ни видывал на войне да по тюрьмам и ссылкам, но этот...»

В казарму парни вкатились, клацая зубами от холода и страха, толкаясь, лезли к печке, но она, чуть теплая с ночи, уже не грела. Так, не согревшись, потопали на завтрак в новую столовую.

Столовка возбужденно гудела. В широкие, низко прорубленные раздаточные окна валил пар. Поротно, повзводно получали дежурные кашу, хлеб, сахар. Помощники дежурных схватывали тазы с кашей, другие помощники дежурных тем временем, изогнувшись в поясице, тащили одна в другую лесенкой составленные миски, со звяком, бряком разбрасывали их по столам, шлепали в них кашу, рассыпали ложкой сахар, пайки хлеба раздавали уже тогда, когда бойцы приходили в столовую и рассаживались по местам.

Каши и сахара было подозрительно мало, довески на пайках хлеба отсутствовали, и по тому, как рвались в дежурные и в помощники связчики Зеленцова, заподозрено было лихое дело. Однажды бойцы первого взвода первой роты перевешали на контрольных весах свою пайку и обнаружили хотя и небольшую, но все же недостачу в хлебе, в каше, в сахаре. Зеленцов обзывал крохоборами сослуживцев, его, Фефелова и Бабенко собрались бить, но вмешался старшина Шпатор, определил троице по наряду вне очереди, заявил, что отныне раздача пищи будет производиться в присутствии едоков и если еще найдется кто, посягающий на святую солдатскую пайку, он с тем сделает такое, что лихоимец, памаш, до гроба его помнить будет.

Усатый, седой, худенький, еще в империалистическую войну бывший фельдфебелем, старшина Шпатор ел за одним столом с красноармейцами, полный при нем тут был порядок, никто ничего не воровал, не нарушал, каждый боец первой роты считал, что со старшиной ему повезло, а хороший старшина, говаривали бывалые бойцы, в службе важней и полезней любого генерала. Важнее не важнее, но ближе, это уж точно.

Недели через две состоялось распределение бойцов по спецротам. Зеленцова, за наглое рыло, не иначе, забрали в минометчики; кто телом и силой покрепче, того отсылали к бронебойщикам — пэтээр таскать. Хотели и Колю Рындина увести, да чего-то испугались, — то ли его вида, то ли прослышали, что он Богу молится, стало быть, морально неустойчивый, мимо танка стрельнет. Булдаков снова притворился припадочным, чтоб только пэтээр ему не всучили, и его тоже оставили на месте. Коля Рындин все еще маялся в куцей шинели, в тесных кальсонах и штанах, приделал к ним тесемки вроде подтяжек — не свалились чтобы на ходу. Новые ботинки зорко стерег, протирал их тряпицей каждый вечер, клал на ночь под голову, накрыв пустым домашним мешком, получалось что-то вроде подушки. Булдаков все пошвыривал ботинки, все пробовал соответствующее его фигуре обмундирование. Дело кончилось тем, что ботинки пропали с концом. Навсегда. «Украли!» — припадочно брызгая слюной, орал пройдоха, но чего-то жевал втихомолку, ходил к Зеленцову пить самогонку, значит, обувь променял. Старшина Шпатор изо всех сил старался сбыть Булдакова в другие подразделения, но там такого добра и своего было вдосталь. Никуда его не брали, даже в пулеметную роту не брали, где бы самый раз ему станок «максима» на горбу таскать, в химчасть, на конюшню, в продовольственно-фуражное отделение и в другие хорошие, сытные места орлов с пройдошистыми наклонностями, с моральным изъяном вообще не допускали, а этот еще и припадочный, еще и артист.

Сидя на нарах босой, не глядя на холод, до пояса раздетый — закаляюсь, говорит, — артист читал больным и таким же, как он, симулянтам старые газеты, устав гарнизонной службы, иногда объяснял и комментировал прочитанное.

— «В Москве состоялось очередное совещание по вопросам улучшения политико-просветительной работы». Та-ак, просвещайтесь, а мы пошли дальше: «Молодежный лыжный кросс в честь дня рождения любимого вождя». Та-ак, это уж совсем хорошо, совсем славно. «Фашизм истребляет молодежь» — вот чтоб не истреблял, надо хорошо на лыжах бегать! Во! «Лаваль формирует отряды французских эсэсовцев...» — во блядина! Это куда же Даладье-то смотрит? Прогулял Францию, курва, и на тебе...

— Ле-ох! Это кто такие Лаваль да Ладье?

— Да мудаки такие же, как у нас, прое...ли, прокутили родину, теперь вот спасают... Стой! Во, самое главное наконец-то написали: «Из выступления Бенеша: «Гитлеровская Германия непременно и скоро рухнет»...

— Ле-ох, а кто это — Бенеш-то?

— Да тоже мудака, но уж чешский, тоже родину продал и теперь вот в борцы-патриоты подался.

— Ле-ох, ну их, этих борцов! Че там, на фронте-то?

— На фронте-то? На фронте полный порядок. Заманили врага поглыбже в Россию и здесь его, суку, истребляем беспощадно. Во, сводка за второе декабря:

«В течение ночи на второе декабря в районе Сталинграда и на Центральном фронте наши войска продолжали наступление на прежних направлениях. В районе Сталинграда наши войска вели огневой бой и отражали атаки мелких групп противника. В заводской части города артиллерийским огнем разрушено девять немецких дзотов и блиндажей, подавлен огонь двух артиллерийских и четырех минометных батарей. На южной окраине города минометным огнем рассеяно скопление пехоты противника. Северо-западной Сталинграда наши войска вели наступление на левом берегу Дона. Бойцы энской части атаковали с фронта немцев, оборонявшихся в укрепленном населенном пункте. В это же время другие наши подразделения обошли противника с фланга. Под угрозой окружения гитлеровцы в беспорядке отступили, оставив на поле боя триста трупов, большое количество вооружения и различного военного

имущества. На другом участке артиллеристы под командованием тов. Дубровского уничтожили девятнадцать немецких дзотов и блиндажей и подавили огонь трех артиллерийских батарей противника. Наши летчики за первое декабря сбили в воздушных боях семь и уничтожили на аэродромах двадцать немецких самолетов. Юго-западнее Сталинграда наши войска закреплялись на достигнутых рубежах».

А вот тут же, в газете «Правда», вечерняя сводка за второе декабря:

«Частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено и подбито двадцать немецких танков, до ста пятидесяти автомашин с войсками и различными грузами...»

- Шиш с ними, с грузами. Давай про бой.
- Есть про бой!

«В заводском районе Сталинграда наши войска вели огневой бой и разведку противника, артиллеристы энской части разбили три вражеских дзота, два блиндажа и подавили огонь трех батарей».

- Эк мы их, сволочей, крушим!
- Крушим, крушим! Заткнитесь, слушайте дальше.

«На южной окраине города отбиты атаки мелких групп пехоты и танков. Уничтожено до роты немецкой пехоты. Юго-западной Сталинграда...»

- Ну со Сталинградом все ясно — крошим гада... Про другие фронта че пишут?
- Че пишут? Че пишут?... Два пишут, ноль в уме... Во!

«Восточнее Великих Лук части энского соединения, отражая многочисленные атаки немцев, продвинулись вперед. Противник потерял убитыми свыше двух тысяч

солдат и офицеров. Подбито девятнадцать немецких танков, захвачено двенадцать орудий, восемь танков, десять автомашин, четыре радиостанции...»

— А котелков сколько?

— Чего?

— Котелков сколько захвачено?

— Про котелки в другой раз сообщат. В этой «Правде» места не хватило.

— А наши-то че, заговорены?

— Само собой, заговорены, закопаны, зарыты. Все чисто, все гладко. Мы ж из породы...

— Кончай трепаться, информатор тоже нашелся! Придет время, все, че надо, скажут, — вмешивался в беседу Яшкин. — У тя, Булдаков, язык как помело, и за это ты пойдешь дрова пилить.

— Есть дрова пилить. Конечно, лучше бы чай пить. Но раз родина требует...

И Булдаков набирал команду на дрова, заставлял ребят ширывать сырые сосны, и они добросовестно ширывали, потому что промышлявший в это время Булдаков всем добытым поделится побратски, честно, и вообще он пилить не должен, он не какой-то там чернорабочий, он... да лешак его знает, какой он, чей он, но что друг и брат всех угнетенных людей — это уж точно.

«Стариков», оставшихся от прошлых маршевых рот и действовавших на молодую братву положительным примером, мало-помалу разобрали, взамен их помкомвзвода Яшкин привел целое отделение новичков, среди которых был уже дошедший до ручки, больной красноармеец Попцов, мочившийся под себя. По прибытии в казарму он сразу же залез на верхние нары, обосновался там, но ночью сверху потекло на спящих внизу ребят. Новопоселенца стащили вниз, напинали, сунули носом на нижний ярус — знай свое место, прудонь тут, сколько тебе захочется.

Увидев бедственное положение новобранца, Булдаков, повествовавший бойцам о ходовой своей жизни, в основном удалой и роскошной, о том, как он плавал по Енисею на «Марии Ульяновой»,

шухерил с пассажирками, был за пьянку списан на берег, однако не пропал и на берегу, наставлял воинство:

— Требовайте! Обутку требовайте, лопоть, постелю, шибче требовайте. Союзом наступайте на их. Насчет строевой и прочей подготовки хера имя! Сами пушай по морозу босиком маршируют...

— Сталин че говорил? — подавал голос издалека Петька Мусиков, кадровый уже симулянт. — Крепкой тыл... А тут че?

Коля Рындин робко, с уважением глядел на сотоварищей — не боятся! Ни колодок, ни тюрьмы, ни Бога, а ведь они его одногодки, такие же, как он, человеки.

Заскорузлая военная мысль и житуха, ее практика и тактика от веку гибкими не бывали, все мерили по спущенному сверху параграфу и нормативу, не терпящему никаких отклонений, тем более обсуждений: есть устав, живи по нему, не вылезай, не рыпайся, и что, что у тебя ножищи, будто у слона, отросли — блюди норму, держи ранжир. Когда старшина Шпатор петухом налетел на Булдакова, на Колю Рындина, новопоселенец первой роты Попцов, уже истаскавшийся но помойкам, оборвавшийся на дровах, измылившийся на мытье полов и выносе нечистот, перешел вдруг в наступление:

— Босиком да нагишом никто... никака армия не имеет права на улицу.

— Это есть извод советского бойца! — подхватил Булдаков и зашевелил ушами, начал закатывать глаза.

— Сталину, однако, надо писать, — снова издалека подал голос Петька Мусиков.

Старшина качал головой, глядя на синюшного парнишку Попцова с нехорошим отеком на лице, псиной воняющего, дрожащего от внезапной вспышки зла, от жизни, совсем его обессилившей, и выдохнул: «О Господи...»

Булдаков залез на нары, помог туда забраться Мусикову и Попцову, опершись на руки сыто лоснящейся рожей, вещал сверху:

— Сохранение здоровья и боевого духа бойца советского для грядущих боев с ненавистным врагом социализма есть наиважнейшая задача работников советского тыла, главный политический момент на сегодняшний день.

Совсем затосковал старшина Шпатор: не зря, ох не зря всучили данного вояку и не зря, ох не зря этот герой не ушел в другие роты —



там не напридуриваешься, там заставят минометную плитку таскать — самый Булдакову подходящий предмет, и про себя постановил: он в лепешку разобьется, до Новосибирска пешком дойдет, на свои гроши купит дялягам обмундирование, но уж тогда попомнят они его, не забудут до самого скончания века своего. В прошлую, империалистическую войну фельдфебель Шпатор легче управлялся с солдатней, те в Бога веровали, постарше были, снабжали и одевали их как надо, а эти уж ни в Бога, ни в черта не веруют, да угроз не шибко-то боятся, живут — хуже собак.

Старшина добился своего, в самом деле командирован был в Новосибирск и на каких-то центральных спецскладях сыскал для удальцов-симулянтов обмундирование. Новое. Деваться некуда Булдакову и Коле Рындиному. Вступили в строй. Правда, закаленный, старый филон Булдаков неустанно искал всяческие моменты и причины для увиливания от занятий: то у него насморк, то расстройство желудка, то мать давно не пишет, то припадок, то вдруг с утра пугает народ словами: «У бар бороды не бывает... у бар бороды не бывает...»

— С-споди Сусе... С-споди Сусе... — крестился Коля Рындино.

Но старшину Шпатора, перемогающего вторую мировую войну и перемогшего пять лет заключения, голой рукой не возьмешь.

— Н-на занятия, н-на занятия! Мы и не таких артистов видывали, не с такими героями управлялись, памаш.

На занятиях тоже фокусы: Булдаков возьмет и учебную гранату куда-то аж за версту зазвездит — ищи ее; испортил он, испластал ножиком финского штыка чучело до бедственного состояния — чинить надо чучело; спор с командирами заведет насчет текущего момента, да такой бурный, что все занятия побоку. И все время смекает Булдаков, где и как добыть еду. Любую. Вынюхал чьи-то коллективные огороды недоубранные. «Наблизуй меня на заготовки, наблизуй, ну?!» — пристал он к Яшкину.

Чтобы отвязаться от Булдакова, чтобы он не портил строй и лад занятий, убирался бы ко всем чертям, сила нечистая, помкомвзвода посылал его подальше, желал громко, чтобы он, этот обормот, вовсе сгинул, исчезнул. Рожь, на которой не горох, а бобы молотили, скалится, гогочет, ребятам подмигивает — и, глядишь, куль мерзлой

брюквы, свеклы иль капусты волокет, тут же с ходу излаживает костер в сосняке, кличет к нему побратимов: кушать подано!

Младший лейтенант Щусь, как бывалый воин, чаще других командиров выведивший взвод на занятия, скоро понял, что Булдакова ему не укротить, и нашел способ избавить себя, старшину Шпатора, помкомвзвода и народ от типа, разлагающего коллектив, — назначил в свою землянку дежурным.

Булдаков на новом посту хорошо себя почувствовал, перезнакомился с дневальными из соседних землянок, на конюшню сходил, кого-то оболгал, обманул, чего-то наобещал или сбыл — к землянке привезли воз сухих дров. Днем Булдаков дрыхнул в землянке у взводного, явившись в казарму, на всю роту орал: возьмет вот и подастся к минометчикам — там землянки суше, коллектив не столь доходной, «занятия артиллерией — техника», не то что здесь, во вшивой пехтуре, топай да топай, памаш, чучело с соломой деревянным макетом коли...

— Да хоть к минометчикам, хоть к летчикам, хоть к бабам в прачечную, сгинь только, нечистая сила! — подняв глаза к потолку, молитвенно сложив руки, взывал к небесам старшина Шпатор.

Булдаков переводиться не торопился, глянулось ошиваться на почетной, на добычливой должности дежурного в офицерской землянке. Железная печка в землянке Щуся новая, с печкой не пропадешь, на ней можно варить, печь все, что раздобудешь.

Была Булгакову дикая удача: упер с кухни аж цельного барана! Затесался в компанию дежурных по кухне, картошку чистил не чистил, котлы мыл не мыл, все командовал: «Давай, братва, давай! Действуй, памаш!» — и когда пришла машина, доверху груженная тушками баранов, он еще активней взялся за дело: «Давай-давай, навались, братва! Аллюром!» — наторевший на погрузке дров в «Марию Ульянову», когда матросом еще по Енисею ходил, он такой разворот делу дал, такой темп в разгрузке задал, что все закрутилось, замелькало, где живые люди, где мертвые бараны, где старшие, где младшие, где рядовые, где командиры — не разберешь. Счетчики не успевали следить за туда-сюда бегающей братией, считать туши баранов, ставить на бумаге палочки, Булдаков вовсе их запутал, таская на горбу по две, по три, когда и по четыре бараньи туши, орал весело: «У бар бороды не бывает», — и в какой он момент изловчился

поставить на дыбки за распахнутую створку дверей мерзлого барана — никто не заметил. Разгрузка закончилась. Булдаков, прихватив казенные рукавицы, запрыгнул в кузов, пошатал машину: «Все, кажись» — и махнул рукавицей дежурному по кухне: закрывай, мол, двери, кончен бал.

— Я за дровами поеду, — обнадежил он кухню, восхищенную его умелым трудом и организаторскими способностями.

Дверь заперли изнутри, на себя, баранчик стоял на обрубочках-лытках, плененно подняв вверх тоже обрубленные передние лапки. Отъехав немного, Булдаков спрыгнул с машины, вернулся, сказав ласково: «Пойдем, дорогой, пойдем в землянку, там ты нужнее, тут, гляжу я, совсем ты сирота одинешенькая, околел вон весь...» — и, взяв под мышку тушку, завернутую в шинель, лесом потопал к землянке.

Взводный вернулся с занятий — по помещению плавают такие запахи, сдохнуть можно! Булдаков в офицерской столовке наворовал лаврового листа, перца, затушил барашка с картошкой, получилось не хуже, чем у настоящих поваров, может, даже лучше.

В офицерской столовой готовили вкусней и культурней, нежели в общей полковой, в офицерской были даже клеенки и солонки на столах, подавались ложки, иной раз даже вилки, но продукции на столующегося отпускалась та же норма, что и в большой столовой, воровали же и обедали командиров вольнонаемные да разные приближенные к общепиту чины гораздо больше, чем в столовой для рядового и сержантского состава. День-деньской топающему в лесу да в поле, на холоде, на ветру строевому командиру питание нужно было крепкое. Понимая, что пройдохе Булдакову мясо выдали отнюдь не на продовольственном складе, Щусь, укрощая себя, умылся, подсел к столу, засунул руку под топчан, выудил оттуда вывалянную в песке зеленую поллитровку, знаком велел распечатать и наливать.

Булдаков разом возбудился, глаза его заблестели, прихватив рукав, он хлопнул по бутылке так, что пробка вместе с брызгами шлепнулась в стену, дунул в немытые кружки, удаляя лишний песок, налил сразу по половине емкой посуды, коротко стукнулся о кружку Щуся, выпил и какое-то время сидел, блаженно вслушиваясь в себя.

— Я ить видел ее, поллитровку-то, — черпанув раз-другой ложкой из котла, хрустя бараньим ребрышком, молвил Булдаков. — Но

вишь, сдюжил — такой я человек. Ни об чем не беспокойся, полководец. Ежели попугают, пусть шкуру сдерут — не выдам!

Он разлил остатки водки по кружкам, придвинулся ближе к взводному, махнул рукой, чтобы тот ел, ему же еда ни к чему, он уже закусил, да и стряпка, говаривала мать, живет тем, что нанюхается, толковал, чтобы при отправке на фронт Щусь не выписывал его из своего взвода, тама — Булдаков показал пальцем вдаль — он тоже никого не бросит, раненого вытащит из любого огня и дыма. Булдаков уперся взглядом в пустую кружку, посидел, подумал, за подбородок подержался и, глядя в сторону, сказал решительно:

— А из землянки меня удали. Всешки не по мне холуйничать, печки топить, посуду мыть. Надо — еды, горючки всегда добуду, но прислужничать стыжуся. Колю Рындина возьми сюда. Его надо беречь. Таких великих, порядочных людей на развод надо оставлять. Выводятся оне в нашей державе, их и в тюрьму, и на войну в первую очередь... Э-эх, у бар борода не бывает — усы! Пойду-ка я еще где-нито пузырек какой промыслю — че-то душа раскисла.

Щусь лежал на нарах. Лицо его рвало с мороза каленым жаром, руки горели, ноги, освобожденные от тесных сапог, возвращались сами к себе, каждая косточка прилегала к месту и успокаивалась. Лежал, ковырял спичкой в белых, плотно сбитых зубах и неторопливо думал о Булдакове, о своих подчиненных, тоже отужинавших и располагающихся на неудобный свой ночлег, обо всем разом, ни на чем, однако, мыслями не задерживаясь — идет и идет себе жизнь заданным ходом, своим чередом, не он тот ход налаживал, не он черед определял. «Груньку позвать, что ли?» — подумал он об одной столовской девке, которая была в него страстно влюблена и жила неподалеку в землянке вместе с другими вольнонаемными девчонками. Но мысль, вялая, не наступательная, мелькнула и улетела, он уснул, не осуществив намерения, не утолив вожделенного позыва.

Булдаков — союзный человек. Отправляясь на ночь в казарму, завернул в газетину два куса мяса, один кусок занес Зеленцову, тот ему отсыпал табаку, выпивки посулил. Другой кусок Булдаков сунул Коле Рындину за то, что тот занял для него место на верхнем ярусе нар. Коля по-собачьи рвал мясо зубами, чавкал. Сотоварищи, чуя пищу, начали пробуждаться, вздымать головы. Споро управившись с бараниной, старообрядец нашупал в потемках ручищу такого

находчивого товарища-добытчика, благодарно ее стиснул. Но Булдаков уже крепко спал, время от времени производя обстрел казармы, что не давало заснуть старшине Шпатору — он все слышал в каптерке, бешено возился на топчане, зверел: «Упер ведь, упер чего-то, нажрался, обормот, попердывает на всю арьмию. Ох, ох, займуся я им, однако, вплотную займуся!»

А где-то через ряд, может, через два, швыркая носом, плакал Вася Шевелев — с почтой пришло ему известие: погиб на войне отец. Коле Рындиному захотелось пожалеть Васю Шевелева, сказать ему какие-нибудь ласковые слова. Да чего же скажешь-то, как утетишишь и утишишь горе, коли его так много кругом. Пусть Главный Утешитель этим займется, он Его попросит: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси...» — на этом месте Коля Рындин глубоко и умиротворенно уснул, совершенно уверенный, что Бог услышал его и успокоит горе русского человека Васи Шевелева. Но тот все плакал и плакал, один, втихомолку, никому не досаждая и не жалуясь.

## Глава третья

Год служи да десять лет тужи — говаривалось в старину. Сибирская зима, хозяйкой широко расположившись по большой этой земле, входила в середину. В казарме становилось все холодней и разбродней. Сырые дрова горели плохо, да и не давали им разгореться. Парни, где-то промыслившие картошки, свеклы, моркови, пихали овощи в огонь, не дожидаясь, когда нагорит уголье. И, почадив, посопев, печка угасала от перегрузки сырьем. Налетал старшина Шпатор либо помкомвзвода Яшкин, выбрасывал чадящие головни, картошку, приказывал затоплять вновь. Сооружение, зовущееся печью, не светилося даже угольком. Тогда старшина Шпатор плескал на дрова керосин, принеся лампу из каптерки, либо выдавал масляную ветошь, оставшуюся после чистки оружия, — и печка оживлялась, к вечеру тянуло от нее чахоточным теплом, но четыре печки казарму нагреть уже не могли.

С той и с другой стороны ворота батальонной казармы обмерзали льдом — ночью обитатели ее не успевали или не хотели выбежать на улицу, мочились на лестнице, в притвор. Их ловили, били, заставляли отдалбливать желтый лед в притворе, но все равно в дверь тянуло так, что до самых нижних нар первого взвода лежала полоса изморози и накопыченный обувью снег здесь не таял.

Давно уже отменено навязанное ротным командиром Пшениным закаливающее обтирание снегом, но все равно многие бойцы успели простудиться, казарму ночами разваливал гулкий кашель. Умывались служивые теперь только в бане, потому что в корыто умывальника, поставленного в дежурке, и вокруг него мочились блудни, бак с водой, выставляемый по утрам возле входа в казарму для умывания, так и замерзал невостребованный. Лишь компанейские ребята Шестаков, Хохлак, Бабенко, Фефелов да привыкшие к работе на ветру бывшие механизаторы Шевелев да Уваров, ну иногда еще и Булдаков, поливая друг дружке, умывались по утрам, иной раз с мылом. Дивились славяне тому, что старик Шпатор умывался до пояса в дежурке, даже зубы или остатки их чистил, сапоги тоже каждый день до блеску доводил. В каптерке, куда поселился и Яшкин, поддерживался, пусть и

убогий, порядок, тощий, изможденный помкомвзвода тоже следил за собой, вставал раньше всех, вместе со старшиной, и не ради одного только положительного примера, но чтобы не опуститься, не заболеть, как Попцов. Тот уже не выходил из казармы, лежал серым, мокрым комком на нижних нарах, под холщовым мешком, которым укрыл его жалостливый Коля Рындин. Поднимался лишь затем, чтобы принять котелок от дежурных, похлебать варева да съесть пайку хлеба. В санчасть Попцова не брали, он там всем надоел, на верхние нары не пускали — пообмочит всех, мокрому да на занятия кому охота?

Все более стервенеющие сослуживцы били Попцова, всех доходяг били, а доходяг с каждым днем прибавлялось и прибавлялось. На нижних нарах, клейко слепившихся, лежало до десятка скорченных скулящих тел. Кто-то, не иначе как Булдаков, додумался выдернуть скобы из столбов, чтобы доходяги не могли лезть наверх, но если они все же со дня, когда рота была на занятиях, взбирались туда, занимали место, их беспощадно сталкивали вниз, на пол, больные люди не сопротивлялись, лишь беспомощно ныли, растирая по лицу слезы и сопли.

Как водится, в бедствии, в запустении на служивых навалилась вша, повальная, беспощадная. И куриная слепота, по-ученому гемералопия, нашла служивых. По казарме, шарясь руками по стенам, бродили пугающие всех тени людей, что-то все время ищущих. В бане красноармейцев насильно мазали дурно пахнущей желтой дрянью, похожей на солидол. Станут двое дежурных по обе стороны входа в мочную с ведрами, подвешенными на шею, и кудельными мазилками, реже грязной ватой, намотанной на палку, — ляп-ляп-ляп по голове, по пугливо ужавшемуся члену, руки задрать велят, чтоб и подмышки намазать. Отлынивать начнешь либо сопротивляться — в рожу мазилкой; мази не жалко.

С утра наряд, человек двадцать, уходил пилить дрова, носить воду, готовить вехотки, тазы, но та же картина, что и в подразделениях, — половина делом занимается, половина харч промышляет.

В тот год овощехранилища двадцать первого полка ломились от картошки и всякой другой овощи. Там, в овощехранилищах, работали, перебирали плоды земные такие же орлы, что и баню топили, — за сахар, за мыло, за табак, за всякий другой провиант они насыпали картошки, брюквы, моркови, дело было за небольшим — сварить или

испечь овощ. Кочегарка бани, землянки офицеров и всякие другие сооружения с очагами осаждались и использовались на всю мощь. Вот, стало быть, намажут солдатикам башки, причинные и всякие другие места, на которых волос растет, будь они прокляты, где вошь гнездится и размножается, а в бане горячей воды нет, чтобы смыть хотя бы мазут. «Мать-перемать!» — ругается помкомвзвода Яшкин, мечется, ищет виноватых старшина Шпатор.

— Когда я подохну? Когда я от вас избавлюсь!.. — вопит он, схватившись за голову.

В отличие от Яшкина, он никогда по-черному не ругался, тем более в мать, в бога. «Веровающий потому что», — уважительно говорил Коля Рындин про старшину и чтил его особо за то, что тот носил медный крестик на засаленной нитке, даже политрук Мельников ему не указ.

Нажравшийся от пуза картошки, наряд едва шевелился, работал лениво, размеренно, топил печи с безнадежной унылостью — все равно не нагреть воду в таких обширных баках-котлах. До ночи канитель тянется. Сиди дрожи в бане нагишом, намазанный, жди — хоть чего-нибудь да нагреется, хоть немножко каменка зашикает, пар пойдет. В парилку сбивалась вся голая публика, до того продрогшая, что даже на возмущение сил и энергии не хватало, постылая казарма из той бани казалась милостивым приютом. Уж на что содомный старшина Шпатор, но и его гнев иссякал, сидел и он на полке, прикрывшись веником, с крестиком на груди, отрешенно смотрел вдаль, аж жалко его делалось. «Володя! — наконец взывал он к своему помощнику Яшкину. — Поди и поленом прикончи старшего в наряде. Я в тюрьму снова сяду, не замерзать же здесь всем, памаш...»

С грехом пополам побанив роту, к полуночи сам он для себя, для наряда да для Яшкина добивался прибавки пара, без энтузиазма, но по привычке стелая, поохивая, шумел мокрым веничком, затем в шинеленке, наброшенной на белье, в подшитых валенках разбито волочился в казарму, так и не понежив по-настоящему мягкой горячей листвой свое неизбалованное солдатское тело, и поздно, уж совсем ночью спрашивал в казарме у дежурных, как тут дела. Получив доклад, незаметно ото всех бросал щепоть по груди: «Ну, слава Богу, еще сутки прожили. Может, и следующие проживем».



Непостижимыми путями, невероятной изворотливостью ума добивались молодые вояки способов избавиться от строевых занятий, добыть чего-нибудь пожевать, обуться и одеться потеплее, занять место поудобнее для сна и отдыха. Ночью и днем на тактических и политических занятиях, при изучении оружия — винтовки образца одна тысяча восемьсот затертого года — мысль работала неутомимо. Кто-то придумывал вздевывать картошки на проволоку, загнув один конец крючком, всовывать эту снизку в трубы жарко попыхивающих печей в офицерских землянках. Пластуны же залегали неподалеку за деревья и ждали, когда картофель испечется. Изобретение мигом перенималось, бывало, в трубы спустят до четырех проволок с картофелинами, забьют тягу, не растапливается печь, дым в землянку валит — пока-то офицеры, большей частью взводные, доперли, в чем дело, выбегая из землянок, ловили мешковато утекающих лазутчиков, пинкарей им садили, когда и из пистолетов вверх палили, грозясь в другой раз всадить пулю в блудню-промысловика.

Но были офицеры, и среди них младший лейтенант Щусь, которые не преследовали солдат, позволяли пользоваться печкой, — только где же одной печке целое войско обслужить? Вот и крадется, вражина, к землянке, бережно, мягко ступает на кровлю, крытую бревешками, лапником, засыпанную песком, осторожней зверя малого ступает, чтоб на голову и в кружку хозяина не сочился песок, которого тот и так наелся досыта: песок у него на зубах хрустит, в белье, в постели пересыпается. Добрался лазутчик до трубы, не звякнув о железо, спустил снизку в пылающий зев, зацепил проволоку за обрез трубы. Унес Бог добытчика перышком, залег он в дебрях сибирских камешком, спертый воздух из груди испустил, можно бы и вздремнуть теперь, да ведь надо оберегать «свою» землянку от другого лазутчика-промысловика. Истомится весь пареван, изнервничается, брюхо у него аж заскулит от истомы, пока он скомандует себе: «Пора!» — и снова по-пластунски движется к землянке, по-кошачьи взойдет на сыпкую крышу — и вот она, светящаяся нижними, в уголь изожженными картофелинами, это уж неизбежная потеря, жертва несовершенной техники, зато в середине жигала овощ в самый раз, испеклась, умякла, родимая, рот горячит, по кишкам раскаленным ядром катится, и, пока в брюхо упадет, глаза выпучатся, слеза из них выдавится. Верхние ж картофелины лишь дымом опажнуло, закоптились они, и

надо снова тонкую тактику применять, чтобы изойти на крышу, сунуть проволоку в трубу, беззвучно ее подвесить да снова в тревоге и томлении дожидаться удачи. На третьем-то или на четвертом броске и засекут тебя, изловят. Ну пусть и пнули бы, облаяли, бросили б только проволоку вслед — люди мы негордые, подберем, битую задницу почешем, хитрое изделие припрячем и скорей в казарму. Но иные хозяева землянок не только пинкаря подвешат, еще и проволоку истопчут. Вместе с картохой. Э-эх, люди, будто не в одной стране родились, бедовали, будто не одну землю защищать готовимся...

Лупит добытчик обжигающую картошку, брюхо ликует от горячего духа, но опять никакой сытости — по кишкам картоха размазалась. Что за брюхо, что за кишки такие у солдата?! Булдаков, пройдоха, говорит, что на полтора метра длиньше кишки у русского человека против англичанина иль того же немца, потому как продукция у него питательней, у нас же все картошка, хлеб, паренка, редька с квасом, отрубь. Выгрызает солдатик остатние крохи из угольков-картофелин и думает, чего же сегодня на ужин дадут, хорошо бы кашу — она ляжет сверху картофеля, и вот уж полон ненасытный желудок, ну, может, и не совсем полон, да все же набит. Может, попробовать верхнюю картофелину? Она вон горяча, но тверда. Нет, нельзя, не дай Бог дезинтухой в этой чертовой яме заболеть — пропадешь, лес-то вон из края в край обгажен, меж казарм долбить и чистить не успевают. И спрятать картофель негде — старшина делает шмон, а видит он, змей подколодный, будто щука в пруду, любую малявку под любой корягой узрит — и в наряд тебя внеочередной, на холод, на ветер, за водой с баком, в нужнике долбить, оружие чистить, в каптерке и в казарме пол мести. А кому охота горбатиться, когда в казарме идут политзанятия и полтора часа, пока капитан Мельников рассказывает о наших победах на фронте и трудовых достижениях в тылу, можно преспокойно блаженствовать.

Ничего другого не остается, как полусырую, недопеченную картофель дневальным отдать — они ее в дежурке до ума доведут и, глядишь, половину отделят, если, конечно, у них совесть есть, а то такие попадают, что все до кожурки слопают и делают вид, будто им ничего, никакой картошки допечь не давали...

А тут еще невидаль: первую роту и первый взвод пополнили двумя новоявленными личностями — Васконяном и Боярчиком. Оба они были смешанной национальности: один полуармянин-полуеврей, другой — полуеврей-полурусский. Оба по месяцу пробыли в офицерском училище, оба за месяц дошли до ручки, лечились в медсанчасти и оттуда их, маленько оживших, но неполноценных, в училище не вернули, свалили в чертову яму — она все стерпит.

Васконян был долговяз, тощ, ликом бледен, бровями черен. Боярчик так себе, парнишка и парнишка, с сереньким лицом, «умным» лбом и маломощным телом. Но у обоих новобранцев были огромные карие глаза с давней печалью, не то по роду-племени они у них были такие, не то в армии успели в печаль глубокую погрузиться.

На первом же политзанятии Васконян сумел испортить работу и настроение капитана Мельникова, также и отдых слушателям во благостном казарменном уюте. Капитан Мельников что-то показывал на политической карте мира и рассказывал, но что он рассказывал, вояки не слышали, что показывал — не видели: они спали. Время от времени лектор командовал: «Встать!», «Сесть!», «Встать!», «Сесть!» — севши, слушатели тут же, не теряя времени попусту, привычно засыпали. Комиссар привычно молотил наклепанным языком, спеша охватить воспитательным словом и другие подразделения, как вдруг услышал:

— Буэнос-Айгес, между прочим, не в Афгике находится.

Капитан Мельников забуксовал в лекции, сбился с мысли.

— А где он находится? — растерянно спросил капитан.

— Буэнос-Айгес — столица Аргентины. Аргентина всегда находивась в Южной Америке.

— Ага, столица! Ар-ген-тины! Встать! — рявкнул капитан.

Первый взвод вскочил, уронив с доски на пол Колю Рындина.

— Вы слышали? — сощурясь, спрашивал капитан Мельников очумевших от сна солдат. — Вы слышали?

— Чего, товарищ капитан?

— Вы слышали, что Буэнос-Айрес находится не в Африке, а в Южной Америке?

— Да нам-то че?

— Ага-а! Вам-то че? Вам только спать на политзанятиях! А умнику вон не спится. Он бдит! — Ну, этот умник, говорил весь вид

капитана Мельникова, узнает у меня, где находится не только Буэнос-Айрес, но и Лиссабон, и Париж, и Амстердам, и Лондон, и все столицы мира!..

С первого дня пребывания в первой роте на Васконяна обрушились репрессии: для начала его тут же на занятиях истыкали кулаками в спину сослуживцы, лишившиеся из-за него блаженного политчаса. Освирепевший капитан Мельников без конца орал: «Встать — сесть!» — и вместо полутора часов гнал теперь всю свою важную просветительную работу за час, когда и за сорок минут.

Было Васконяну в стрелковой роте еще хуже, чем в офицерском училище, где курсантов гоняли на занятиях по десять часов в сутки. Туда Васконян попал по причине изменения военной ситуации. Отец его был главным редактором областной газеты в Калинин, мать — замзавотделом культуры облисполкома того же древнего города. Васконяна возили в школу на машине, по утрам он пил кофе со сливками, иногда капризничал и не хотел есть макароны по-флотски, приготовленные домработницей тетей Серафимой, которая была ему и нянькой и мамкой, так как родители его, занятые ответственной работой, дома почти не бывали, воспитанием Ашотика, по существу, не занимались. Однажды бывший курсант офицерской школы сообщил ошарашенной пехоте, что у них, Васконянов, в областном театре была отдельная «ожа». Парни-простофили долго не могли допереть, что это такое.

Быть бы Васконяну смятым, уничтоженным за одну неделю, от силы за две, погибать бы ему рядом с Попцовым на нижних нарах в ожидании места в санчасти, но к нему, грамотею и разумнику, доверчивому чудаку, прониклись почтением имеющий тягу к просветительству Булдаков и, как и всякие детдомовцы, сострадающие всякому сироте, тем более обиженному, Бабенко, Фефелов и вся их компания. Они не давали забивать Васконяна, да и парни крестьянского рода, от веку почитающие грамотеев, тоже не позволяли уворовывать от его пайки крохи, занимали для него место на нарах вверх, заставляли разуваться, расстилать портянки под себя, чтоб к утру они высохли, непременно снимать шинель, расстегивать хлястик — тогда шинель делается что одеяло, — повязывать носовым платком голову, класть шлем под щеку, подшлемник же надевать на голову,

дотянув его до рубахи, сцепить булавкой — тепло дольше держится. Наказывали не лениться ходить до ветру подальше от казармы, иначе дневальные поймают и — «ах вы, сени, мои сени!..» — сыграют на ребрах. Утром ни в коем разе не нежиться, валиться с нар и борзым кобелем рвать в дежурку, чтоб захватить согретой в помещении воды, иначе старшина или Яшкин выгонят к только что принесенному баку (там вода со льдом), воды не хватит — принудят тереть рыло снегом.

Жизнью тертые, с детства закаленные в боях за свое существование, корешки по роте часто употребляли слова «захватить», «беречь», «стеречь», «рот не разевать» — они не позволяли Васконяну съесть хлеб раньше чем будет получена горячая похлебка; коли сахарку перепадет — сохранять его до раздачи кипятка, но лучше всего копить сахар в жестяной банке да сменять на картошку. Ребята прятали грамотея Васконяна от старшины, командира роты Пшенного; но прежде всего от капитана Мельникова. Вид Васконяна раздражал всех, кто его зрил, да и досаждал он старшим чинам своей умственностью, прямо-таки одергивал с неба на землю тех самоуверенных командиров, особо политработников, которые думали, что все про все знают, потому как никогда никаких возражений своим речам и умопросвещению не встречали. Крепче всего их резал, с ног валил Васконян, когда речь заходила о свободе, равенстве, братстве, которое хвастается своим гуманизмом, грозился Международным Красным Крестом, который в конце концов доберется до сибирских лесов и узнает обо всех «безобгазиях, здесь твогящихся». «Молчи ты, молчи, — шипели на Васконяна ребята, дергали его за рубаху, когда тот вступал в умственные пререкания со старшими по званию, — опять воду таскать пошлют, обольешься — где тебя сушить? На занятиях мокрому хана...»

Умника из первой роты, дерзкого, непреклонного, прямого в суждениях, негибачего упряма, вызывали в особый отдел, где он, видать, не особо-то дрейфил, и предписано было командиру батальона капитану Внукову провести со строптивым красноармейцем воспитательную беседу. Васконяна затребовали в каптерку старшины роты, где на топчане кособоко сидел, морщась от боли, капитан.

— По вашему пгиказанию пгибыл! — махнув рукой возле застегнутого шлема, буркнул Васконян и стоял, согнувшись под

низким потолком каптерки, утирал мокрой рукавицей немислимой величины мокрый нос.

Капитан Внуков, поглядев на нелепо согнутого, нелепо одетого, худо запоясанного и застегнутого солдата, со вздохом молвил:

— Ну, чего воюешь-то? Перед кем бисер мечешь? На кого умные слова тратишь? Ты чего, не понимаешь, где находишься? — И отвернулся, погрел руки над печкой. — Умный, а дурак. Иди. На фронте, на передовой душу отведешь. В окопах полная свобода слова и ум не перегружен, одна мысль постоянно томит сердце и голову: как сегодня выжить? Может, и завтра повезет... Иди! Не мути башку ребятам, не лезь им в душу — не то время и не то место. Ступай!

Капитан Внуков был болен, и не его словам, а виду его страдальческому больше внял Васконян и в конце концов согласился, что жизнь сложна, жестока, несправедлива к малым мира сего, и не то чтобы смирился со своей участью, но не так уж рьяно лез на рожон, перестал досаждать капитану Мельникову, чем тот остался очень доволен, думая, что перевоспитал еще одного красноармейца.

В особенно мглистый длинный вечер, когда ребята отделили Васконяну вареных картошек, луковицу и маленький кубик сала — где-то они украли эти богатства, может, выменяли, — Васконян уже не подвергал товарищей моральному осуждению. Изжевав пищу, он облизался, утерся рукавом и выдал признание:

— Нет, я не пгав. Жизнь не бывает неспгаведливой. Жестокой, подвой, свинской бывает, неспгаведливой — нет. Откуда бы я узнав вашу жизнь, гебята, если б не попал сюда, в эту чегтову яму? Как бы я оценив эту вот картофелину, кусочек дгагоценного сава, все, что вы отогвали от себя? Из своей квагтигы? Где я не ев макагоны пофвотски, где в гостиной в вазе постоянно засыхали фгукты? Кого бы и что бы я увидев из пегсональной машины и театгальной ожи. Все пгавильно. Если мне и суждено погибнуть, то с любовью в сегдце к людям.

— Пшенный и Яшкин — тоже люди?

— Люди. Люди. Они не ведают, что твогят, они — габы обстоятельств. Они — бваженные. А бваженным — Господь Судья.

— Да ну тя, Ашот. Суки они. Рассказывай лучше.

Отчетливо сознавая, что с этими ловкими, пощады и ласки не знавшими в жизни ребятами расплатиться ему нечем, кроме рассказов

о сказочной и увлекательной жизни героев разных книг, Васконян, угревшись меж собратями по службе, затертый телами в нарном пространстве, повествовал о графе Монте-Кристо, о кавалере де Грие, о королях и царях, о принцах и принцессах, о жутких пиратах и благородных дамах, покоряющих и разбивающих сердца возлюбленных. Дети рабочих, дети крестьян, спецпереселенцев, пролетариев, проходимцев, воров, убийц, пьяниц, не видевшие ничего человеческого, тем паче красивого в жизни, с благоговением внимали сказочкам о роскошном мире, твердо веря, что так оно, как в книгах писано, и было, да все еще где-то и есть, но им-то, детям своего времени и, как Коля Рындин утверждает, Богом проклятой страны, все это недоступно, для них жизнь по Божьему велению и правилу заказана. Строгими властями и науками завещана им вечная борьба, смертельная борьба за победу над темными силами, за светлое будущее, за кусок хлеба, за место на нарах, за... за все борьба, денно и ночью.

Старшина Шпатор обожал сказку «Конек-горбунок», которую Ашот, к удивлению всей казармы, лупил наизусть. Когда чтец, войдя в раж, брызгая слюною, размахавшись руками, даже почти и не картавя, заканчивал сказку: «Пушки с крепости палят, в трубы кованы трубят, все подвалы отворяют, бочки с фряжским выставляют!..» — все какое-то время лежали не шевелясь, а старшина Шпатор тихо ронял:

— Вот голова-то у тебя, Ашот, какая золотая! А ты все с начальством споришь, памаш. Лучше бы винтовкой овладевал. Писем домой не пишешь, мать командованию звонит: «Жив ли мой Ашотик?» Ничего ты, памаш, не сознаешь...

Шпатор задумчиво шевелил усами, махал рукой возле галифе, незаметно призывая Васконяна следовать за ним в каптерку. Там он подкладывал солдатику огрызок химического карандаша, книгу с накладными, заставлял на обратной, чистой стороне накладной писать письмо под диктовку: жив, мол, здоров, служба идет своим ходом, нормально, горю мечтой поскорее попасть на фронт, чтоб сразиться с врагом. В заключение старшина Шпатор совал Васконяну сухарь либо горбушку хлеба. Утянув кусочек в рукав, Васконян упячивался из каптерки, задом открывал дверь и по крошке делил меж своими товарищами тот сухарь, ту горбушку, радуясь тому, что и он может в

чем-то отблагодарить своих благодетелей, быть ровней в боевом добычливом коллективе.



## Глава четвертая

После праздников, в декабре, двадцать первый полк доукомплектовывался — прибыло пополнение из Казахстана. Первой роте поручили встретить пополнение и определить его в карантин. То, что увидели успевшие уже хлебнуть всякой всячины красноармейцы, ужаснуло даже их. Ребята-казахи были призваны по теплу, содержались на пересылке или в каком-то распределителе в родном краю в летнем обмундировании, в нем и прибыли в Сибирь. Толкались они на пересылке или в распределителе, должно быть, долго, приели домашние запасы, успели оголодать. Дорогой молодые степняки промышляли топливо и какую-никакую еду. Где-то в Казахстане или за его пределами надыбали поезд с овощами и вскрыли вагон со свеклой. Пекли свеклу в печурках, поставленных среди телячьего вагона, грызли полусырую овощ. И без того смуглые, волосом темные, казахские жолдасы сделались черны что головешки. Глаза слезятся, от кашля, стона и хрипа содрогались вагоны. Выглядывая из приоткрытых дверей, сплошь осопливевшие молодые казахи завывали, роняя какие-то слова или заклинания:

— Астарпала!

— Бызды кайдаэжелди? (Куда нас привезли?)

— Буч не, манау не? (Что это такое?)

— Сибирь, — откликнулся кто-то из встречающих, разумевших по-казахски.

— Сибир! Тайга! Ой-бай! Бул жәрде быз биржола куримыз! (Мы тут совсем пропадем!) Апа! Эке! Кайдасы-низдар? (Мама! Папа! Где вы?)

— О алла!

— Молчать! Надо терпеть! Привыкать. Вон солдаты такие же, как вы, да терпят.

На станцию Бердск был вызван полковник Азатьян. Увидев, в каком состоянии прибыло пополнение из Казахстана, командир полка схватился за голову и долго бегал вдоль состава, скрипя бурками. Рукою, обтянутой черной кожаной перчаткой, он открывал вагоны, заглядывал в них, надеясь хоть где-либо увидеть ребят в лучшем

состоянии, но всюду вокруг полуостывших печек на корточках пеньками торчали грязно-серые фигурки в неумело намотанных обмотках, в натянутых на уши пилотках. Молча вперивались они простудно слезящимися глазами в форсистого полковника. Под нарами скомканно валялись серенькие фигурки, полковник сперва подумал — шинели, по тут же сообразил: откуда шинелям быть — все натянуто на себя. «Мертвые! Что будет?»

Дойдя до конца состава вместе с начальником эшелона, полковник Азатьян растерянно потоптался, утер лицо платком и угасшим голосом приказал своим командирам добыть дров, топить печи в вагонах, сам сел в кошевку, запряженную гнедым рысаком, забросил ноги седой медвежьей полостью и умчался в расположение полка.

Кузов хромой полуторки, прибывшей к эшелону, был до полна нагружен старыми манатками. Ребятишек-казахов выгнали из вагонов на холод, они торопливо выдергивали из пороха тряпья одежонку, тащили ее на себя. Призывники, прибывшие в полк по осени, особенным изяществом в одежде не блистали, надевали дома что подряхлей да похуже, самую уж рухлядь после обмундирования сожгли в полковой кочегарке. Но среди призывников немало было и тех, у кого дом заменяли общежитие, училище, исправительно-трудовые колонии, ну и всякие другие воспитательно-трудовые организации, где мены одежды не существовало, как и разнообразия труда. В чем работали, жили, пребывали по гражданке, в том и в армию отправились. Вот эту-то разномастную одежонку прожарили от вшей и сохранили на складах.

Ребята-казахи радовались, как дети, и этакой одежке, да они и были еще детьми, стайными, полудикими, лопотали что-то по-своему признательное, пробовали знакомиться с русскими жолдасами, помогавшими им поскорее одеться, чтобы новоприезжие не поморозились, их бегом гнали в карантин. Когда казахи вваливались в карантинные землянки, натопленные по приказу командира полка, они, словно моряки, потерпевшие кораблекрушение и попавшие па берег, бурно ликовали, радуясь своему спасению.

В день прибытия пополнения из Казахстана на градуснике, приколоченном к столбу возле штаба полка, было минус тридцать семь. Парнишек-казахов этим не удивишь, они терпели морозы и посильнее, да еще и с ураганными ветрами, но все-таки переполненная

медсанчасть работала с перенапряжением, так как многие казахские жолдасы не смогли подняться с карантинных пар. Воспаление легких, тяжелые бронхиты, застуженные почки... Больных разбрасывали по ближним больницам и новосибирским перегруженным госпиталям, остальных же немедля разбили по батальонам и ротам — боевая подготовка стрелковых частей шла ускоренным ходом.

В первую роту было определено человек пятнадцать призывников из Казахстана, трое из них тут же присоединились к «попцовцам». Верховодил над казахами здоровенный парень с крупным мясистым лицом монгольского типа, которого товарищи называли Талгатом. Талгат был немногословен, суров в отличие от глазастых, подвижных товарищей своих, ходил неторопливо, говорил медленно, в лицо не смотрел, да и нечем ему было смотреть: там, где быть глазам, у него щелки, по которым раскосо катались черные картечины, над глазами перышком взлетали бровки, уголком восходя к неожиданно высокому лбу мыслителя. Нос у Талгата был по-ребячьи вздернутым, кругленьким, но с широкими, чуткими, словно у степной зверушки, ноздрями, рот узкогубый, злой. Древней лютостью, могуществом, может, и мудростью веяло от этого жолдаса с непримиримо всегда сжатым, широко разрезанным ртом. Талгат немножко знал русский язык, потому его назначили командиром отделения.

Трудно обживались казашата в роте и казарме. Им сочувствовали, помогали чем могли, выводили «в люди».

Первый батальон тем временем бросили на выкатку леса из Оби. В устье речки Бердь в лед вмерзли плоты, предназначенные двадцать первому полку для строительных и хозяйственных нужд. Но прежние роты, заготовив и сплавив лес, не успели его выкатить на берег, потому как спешно были отправлены на фронт. Молодцы из первой и второй рот, знакомые с лесной работой, отдалбливали пешнями и ломami плоты, разрубали деревянные скрепы, цепляли удавкой троса или цепи конец бревна, к цепи привязывали длинную веревку, тягловая команда, крича: «Взяли! Взяли! Взяли!» — волокла обледенелое бревно на берег, к яру, скатывала бревна в штабеля, откуда на лошадях они увозились в военный городок.

Выгрузкой из реки и погрузкой леса на сани-передки руководил Щусь, ему помогал Яшкин. В песчаном яру под оголенно свисающими

кореньями сосен построена землянка с окном и печью. Осенью здесь была пристань, на нее принимали грузы и новобранцев, прибывавших по реке в полк, тогда в землянке дневалил военный наряд. Ныне на дощаных нарах по ту и другую сторону резво гудящей печки валялись взводный и помкомвзвода.

Землянка не пустовала. Первым в ней оказался Леха Булдаков. Он в резиновых броднях работал черпалом, так он себя именовал, — цеплял бревна цепью и привязывал к цепи веревку. Выполнив эту ответственную работу, Булдаков блажил на всю реку: «Взяли! Взяли! Взяли! Хоп, симбирбумбия!» Действо это скоро его утомило, он нечаянно оступился в полынью, черпанул в бродни ледяной воды, сказал: «Закуривай, курачи, кто не курит, тот дрочи!» — приклепал в землянку, разулся, выбросил бродни на улицу. Их на лету подхватил Бабенко. Скосоротив лицо, черпало сушил штаны, портянки и кальсоны, повествуя о том, как он ишачил на «Марии Ульяновой», сколько дров перетаскал, вина выпил и пассажирок поудовольствовал. Булдаков против многих своих юных сослуживцев, будучи им ровесником, когда-то успел прожить большую, насыщенную жизнь, тогда как те прыщи, как их обзывал Булдаков, жизнь еще и не распочали.

Рассказ Булдакова, трепотня его шли как бы поверху, слов своих он сам не слушал, скорее, не придавал им значения, поскольку мысль его работала в совсем другом направлении: где бы чего бы раздобыть пожрать, может, и выпить, тем более что печка полыхает, расходуя впустую полезную тепловую энергию. Придумал Булдаков собрать деньжонок у командиров и «прыщей», да и подался на бердский базар, откуда вскоре приволок в солдатском мешке картох. «Но что такое, памаш, ведро картох на работающую арьмию? — спросил Леха Булдаков и почесал затылок с двумя макушками, что считается средь русских людей признаком башковитости. — У бар бороды не бывает», — бубнил Булдаков в глубочайшем раздумье или изгальном розыгрыше. На первый случай предложил товарищам командирам оставить его и Бабенко с Фефеловым на пристани дежурить, иначе штабеля леса да и землянку бердские граждане за ночь растащут на дрова.

Утром под топчанами в землянке обнаружили два мешка картошек, мерзлый гусь, брус сала, сетка с луком, туес с солью. На

печке в эмалированном ведре клокотало запашистое варево, добытчики же, братски обнявшись, чтобы не упасть с топчана, спали на узеньких лежанках. Щусь почесал затылок, хмыкнул и, замотав проволокой дверь, навалил себе и помкомвзвода котелок тушеной картошки с луком и свининой. Ведро отослали трудящимся на берег. Вставши на колени вокруг ведра, трудяги леса и сплава поочередно черпали ложками горячее варево, восхищались находчивостью товарищей по службе и сами себя обнадеживали: с такими ловкими героями и на фронте не пропадешь.

Все, что хорошо начинается, непременно и очень скоро худо кончается — такая вот древняя хилая истина существует среди народа. Бердские жители, а также обитатели окрестных деревень, обнаружив утечку овощей из погребов, продуктов из кладовок, объединенно поднялись на оборону дворов и хозяйств с дробовиками, топорами, кольями. Выстрел произвели в ночное время по здоровенному увертливому налетчику; прячась в кустах малины, крыжовника, ушел лесом в сторону Оби вражина, не иначе как дезертир или беглый арестант. Крови на следах не обнаружилось. Кто из жителей Приобья радовался этому обстоятельству, кто сожалел, что не порешили злоумышленника. Приток харчей на берег иссяк, зато симулянтов и сачков прибавлялось с каждым днем, подвоз леса в полк затормозился. Взявшись за веревку, работяги во всю глотку орал: «Взяли! Взяли! Взяли! Ой да поехали!..» — но бревно ни с места. Яшкин смотрел-смотрел на эту картину в окошко землянки, изругался, выскочил, схватился за веревку и попер бревно так, что часть тружеников от быстрого темпа и неожиданности маневра попадала в песок, весь перепаханный обувью и бревнами.

— В казарму захотели? — звенел Яшкин — К старшине Шпатору под крылышко? Я вам покажу и крылышко, и перышко!

На берегу Оби щадящий режим. Никакой муштры, шагистики, горели костры вдоль берега, у кого деньги велись, тот мог сбегать на бердский базар за семечками, картофельными оладьями, табаком и за всяким другим провиантом иль на утаенный сахар чего-то выменять, главное дело: здесь можно было топить печь, варить картошку, чай с малинником и мерзлой брусникой, свесившейся из-под снега вдоль осыпанного яра, — конечно, из такого рая в расположение роты да на

строевые занятия кому захочется. Работали, понукая друг дружку, где и пинком подсобляли, потому как везде есть такой народ, у которого никакой сознательности нет и никакая ругань не действует, — развольничались молодцы, добра не понимали. Яшкина выслали на берег с палкой: контуженному, нутром поврежденному только доверь лихое дело — уж постарается, заставит волохат так, что даже и на морозе жарко делается.

Выгрузка леса в первой роте пошла быстрее. Вторая рота тут же переняла передовой опыт — там тоже по связке кто-то бегал с палкой, лупил волокущих бревно братьев по классу, будто колхозных кляч, люто матерясь. Эта вот особенность нашего любимого крещеного народа: получив хоть на время хоть какую-то, пусть самую ничтожную, власть (дневального по казарме, дежурного по бане, старшего команды на работе, бригадира, десятника и, не дай Бог, тюремного надзирателя или охранника), остервенело глумиться над своим же братом, истязать его, — достигшая широкого размаха во время коллективизации, переселения и преследования крестьян, обретала все большую силу, набирала все большую практику, и ой каким потоком она еще разольется по стране, и ой что она с русским народом сделает, как исказит его нрав, остервенит его, прославленного за добродушие характера.

Под вечер первая рота шлепала ордою, отдаленно напоминающей строй, в расположение полка. Умотанные тяжелой работой, едва волоклись красноармейцы вдоль крутого песчаного берега великой сибирской реки. Перед ними празднично сверкала искрами, солнечно переливалась недавно вставшая, белая, утомленно отдыхающая река. По стрежи Оби громоздились, золотом вспыхивали под закатным солнцем глыбы торосов, меж которых беспокойно кружило темную воду. Дальний заречный лес бархатистой каймою тянулся по-над яром, песчаные берега и косы разукрашенным оранжевым кушаком опоясывали заречный мыс, далеко-далеко впахавшийся в реку. Пляшущим солнцесветом приподнимало темную тучку пойменных лесов к голубеющему небосклону. Чистая, святочная тишина простиралась по земле, молитвенно усмирясь, мир поднебесный ждал рождения Сына Божия — впереди были рождественские праздники, а с ними приходила привычная, но всегда новая пора, сулящая долгую морозную зиму, неторопливое, сытое житье под крышами, толсто

придавленными снегом. Многие из ребят, бредущих в казарму, не успели изведать той обстоятельной крестьянской жизни, не знали, что близится великий праздник, потому как приступила, притиснула к холодной стене их безбожная сила и порча, были они еще в младенчестве вместе с родителями согнаны со двора в какую-то бессмысленную, злую круговерть, в бараки, в эшелоны, в тюрьмы, в казармы, но все-таки близкой памятью что-то их тревожило, чего-то в сосущем сердце трепетало и вздрагивало, из-за той вон белоснежной дали ждалось пришествие чуда, могущего переменить всю эту постылую жизнь, избавить людей от мук и страданий. Не может же такой пресветлый, так приветно сияющий мир, который еще недавно звался Божьим, быть ко всему и ко всем недобрым, безразличным, пустым, почему в нем должно быть все время напряженно, тревожно, зло, ведь он не для этого же замышлялся и создавался...

«...Страшно и грозно место имам пройти, тела разлучився, и множество мя мрачное и бесцеловечное демонов срящет, и никто же в помощь сопутствуй и избавляй», — жутко было слушать Колю Рындина даже и вполуха, но хотелось слушать, хотелось мучиться Божьими муками, да не казармой, казарма — она уж точно от дьявола, хотелось Бога почитать, а не Яшкина бояться. «И да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огонь поपालяй нечистые во мне силы... И да будет благодать Твоя на мне...» — утешил себя и товаришшево старообрядец.

— Где это ты так наострился-то? — спросили его тоже шепотом.

— Навострился, брат, кожды усердие проявишь — баушка Секлетинья на колени попереди себя поставит, чуть посеред молитвы отвлекся — по затылку вмажет... Кроме того, баушка Секлетинья сказывала, что Бох для молитвы головы очищат, память укрепляют, оттого даже совсем неграмотные хресьяне завсегда молитвы помнят...

— Молитвы составляли лучшие умы и поэты земли, — втесался в разговор Васконян, — поэтому они достигают сердца...

— Скоро ведь, ребята, Рождество...

— Вот комиссар Мельников узнает про эти разговорчики...

— Да што Мельников? Што комиссар? Тожа человек.

Белая тишина, еще не опетая ветрами, свистящим песком, гулом лесов, не стиснутая трескучими морозами, не скрюченная заречным волчьим воем, обещала долгий покой, сказку, праздники с сытой едой,

гулянкой во всю ширь, с ворожбой, с молитвами, с желанием всех прощать и самому быть прощенным. Лишь тонкий звон оторвавшейся от тороса льдинки, падающей и на ходу разбивающейся в хрустальные осколки, да треск и скрежет остроуголой глыбы, оторванной от нагромождений торосов, несомой нижним течением под броней реки, внезапно выкинутой в полынью, слепо кружащейся по кругу, бурлящей воду, бьющейся о хрупкий припай, сминаящей его, нарушали эту беспредельную и все же отчего-то опечаливающую сердце тишину. Птицы не кружились и не кричали над рекой, боялись ее черных полыней, внезапных подвижек и падений не укрепившегося льда, вороны лепились по прибрежному сосняку, сомлело дремали, подобрав под себя лапы; чем-то или кем-то испугнутые голуби выпрыснули искрящейся стайкой на свет и тут же, сделав полукружье, вернулись в лес, расселись в глуби его.

— Что за команда? — раздалось откуда-то сверху. Забывшиеся при виде земной красоты, заслушавшиеся умиротворительного молитвенного шепота, сплошь думающие о доме, о родных местах, о родителях, намаявшие за день парни вздрогнули всей толпой, подняли свои головы.

Доставая папахой нижние ветви сосен, на красивом гнедом жеребце, имеющем светлую проточину на морде, надменно и ладно сидел в новеньком кожаном седле моложавый генерал, похожий на франтоватого жениха. Передние ряды в растерянности остановились, задние ряды их подперли, войско смешалось, сбилось в табунок, шедшие в отдалении Щусь и Яшкин, почуяв неладное, заспешили к месту происшествия. Вторая рота, с большим интервалом бредшая за первой, заметив смятение в боевых рядах, мигом сделала тактический маневр и углубилась в лес.

Форсисто, как это мог делать только он, младший лейтенант Щусь вскинул к виску руку, сжатую в горсть, музыкально, можно сказать, дирижерски качнув ею возле головы, выбросил из горсти пальцы. Держа пальцы у виска в строгом единении, в то же время выстроив их как бы в вежливом, почтительном, но и лихом полупоклоне, командир взвода доложил, что первая рота возвращается в расположение двадцать первого стрелкового полка после выполнения трудового задания.



Генерал, не ответив на приветствие, тронул лошадь из-под сосны, объехал столпившихся красноармейцев. Чуть в отдалении за генералом двигался щеголеватый, тоже на жениха смахивающий сержант с карабином за спиной, в новой шапке с алеющей на ней звездой, в бушлатике, стянутом комсоставским ремнем.

— А ну, товарищ младший лейтенант, скомандуйте своим бойцам умыться. — Генерал повелительно показал коротким, перчаткой сжатым ременным хлыстом вниз, под яр, на реку.

Никогда нигде не выдавшие генерала парни так перепугались его, что, давя друг дружку, сыпанули вниз с песчаного яра кто на заднице, кто кубарем, кто как. Под сыпучим песчаным яром из земных глубин, нежно воркуя, струился чистый ключик. Летом он был студенее обской воды, сейчас вода в нем теплее обской. Прорыв узенькую полоску в забереге, ключик желтой ленточкой покачивался среди ледяного пространства, желтым он был оттого, что струился по песчаной косе, за долгие годы своего уединенного существования им же и намытой.

Красноармейцы сняли шлемы, рукавицы, встали на колени вдоль промоинки и увидели свое отражение в воде отчетливо, как в зеркале. Никто из парней сам себя не узнал. Из воды глядели на них осунувшиеся, чумазные лица, сплошь подернутые пушком, у всех слезились глаза, сочились из носа, появились ранние, немощные морщины у губ и на лбу. Если к этому добавить, что на лесодобытчиках были порваны и прожжены шинеленки, размотались, съехали вниз неумело намотанные мокрые обмотки, ботинки от воды и сушки были скороблены, шлемы от соплей на застежках белые, то сделается понятно, в какое удручение впал форсистый генерал на коне, когда, умывшись, солдатики предстали перед ним, выпростав из тряпья шлемов сросшиеся с ними бледные, испытые мордахи. Один вояка выдрал из снега мерзлый капустный лист и, не успевши изжевать овощ, сжимал зеленый лоскуток в горсти, утянув его в рукав. Генерал спешил, попросил служивого показать, что это там у него. Парнишка покорно разжал ладонь с огрызком капустного листа. Генерал, разом потерявший всю свою бравую осанку, удрученно спросил:

— Зачем вы это едите? Разве вам не хватает военного пайка?

— Хватает, — потунясь, тускло прошелестел губами паренек.

— Так зачем же вы кушаете отбросы? Лист мерзлый. Вы ж простудите желудок.

— Не знаю зачем. Так.

— Бросьте. Пожалуйста, бросьте.

Служивый с сожалением разжал ладонь, уронил к ногам огрызок листа. Генерал заметил, что в тот листок уперлось сразу множество голодных глаз, еще раз оглядел неровный и неладный строй, состоящий из дрожащих от умывания холодной водой, ободранных солдат, напоминающих скорее несчастных арестантов из дореволюционного времени, так обличительно изображаемых на живописных полотнах и в кинокартинах передового советского искусства.

— Ведите, пожалуйста, людей в распоряжение, товарищ младший лейтенант, — негромко приказал генерал и, легко взнявшись в седло, опустивши голову, поехал вдоль берега Оби, так ни разу и не оглянувшись.

Щусь и Яшкин, как только рота вошла в лес, погнали ее бегом. Парни россыпью рванули по сосняку, запинаясь за корни и валежины, падали. Яшкин визгливо матерился, беспощадно пинал по-козлиному блеющего красноармейца, того самого, что выцарапал из-под снега капустный лист и не сумел им распорядиться.

Еще не poznали солдаты наяву, что такое отступление и паника, но вели себя в лесу точно так же, как на войне во время массового драпа.

Кто был он, тот форсистый генерал на коне? Зачем он приезжал на Обь? — солдатам пока не дано было знать, но встреча с ним не прошла бесследно.

В полковой столовой появился еще один генерал, но совсем не похожий на того красавца, гардевавшего на коне, пришельца из какого-то простым смертным неведомого сословия. Этот генерал тоже был в каракулевой папахе, в шинели стального цвета, с яркими петлицами, с желто-красными угольниками на рукавах, звезда на папахе была вделана в золотого жука. Словом, все как у настоящего генерала, но бросалось в глаза — человек ровно бы перешиблен стягом в поясище. Лицо у него вытянутое, обескровленное, с глубокими складками и морщинами, руки худые, с синюшно светящимися ногтями. По

столовой он не шел, а плыл, судорожно гребя руками. Ноги в начищенных ботинках, выше которых краснели нарядные лампасы, впрочем, едва пламенем занявшиеся, они тут же гасли под стальной твердью длиннополой шинели, — ноги далеко отставали от согнутого туловища, которое от согбенности да еще оттого, что отсутствовали выразительный генеральский зад и брюхо, походило на доску, скорее даже на узкую крышку гроба. Там, где быть генеральскому телу, полному вельможного достоинства, вообще ничего не было, никакого тела — скелет, обтянутый шинелью, двигался по столовой. Едоки замирали по мере того, как от стола к столу, качаясь, переплывал генерал. Он останавливался возле торца каждого стола, за которым питалось два десятка бойцов, протягивал руку, если ему не догадывались подать ложку, сам брал ближнюю к нему, набалтывал ею в тазу суп, приподнимал с железного дна посуды кашу, будто нерастеребленную овчину, взвешивал на руке пайки хлеба и, молвив голосом, совсем не похожим на начальственный: «Продолжайте обед, товарищи», следовал дальше, в прелый туман, в полутьму столовой.

Так вот, словно бы неся гроб на спине, обитый серебристой серой материей, пронзил живую плоть столовой генерал и исчез в противоположных дверях — такая уж впускательно-вышибательная архитектурная система о двух входах-выходах была у этого всегда полутемного, всегда волглого, под модный барак строенного помещения. Потолки в этом сооружении подпирались шеренгой полуокоренных стволов; вверху наподобие опавшего доисторического цветка, упершегося в потолок тычинками брусьев, издали стояки напоминали непроходимый, бурей ободранный лес. Уныло, бездушно, зато удобно — кушать народ входил в одни ворота, отстоловавшись, вываливал в другие — никакой толпы, никакой толкотни, во всем армейский порядок.

Покатился слух: общепит двадцать первого полка проверял сам начальник здравоохранения Сибирского военного округа. Начальство ждало нагоняя, народ — улучшения питания. Но ничего этого не последовало да и не могло последовать — командование и хозяйственники двадцать первого полка, исправляя многие ошибки и сбои военной машины, предпринимали сверхусилия, чтобы накормить, напоить, одеть, обуть и хоть как-то сохранить, подготовить к сдаче на фронт десять тысяч молодых парней двадцать четвертого года

рождения и наскребенных после госпиталей, по пересылкам, по углам огромного государства да по пригревным хитрушкам резервистов других призывов и годов.

Бедственное время страшно еще тем, что оно не только угнетает — оно деморализует людей. Полк, успешно занимающийся подготовкой разновозрастного состава, людей, уже хвативших в жизни всего и всякого, готовых к любым испытаниям, неожиданно столкнулся с проблемой, которую решать надо было всем миром и собором еще во время призыва в армию, может, и до этого. Встретившие войну подростками, многие ребята двадцать четвертого года попали в армию, уже подорванные недоедом, эвакуацией, сверхурочной тяжелой работой, домашними бедами, полной неразберихой в период коллективизации и первых месяцев войны.

Страна не была готова к затяжной войне не только в смысле техники, оружия, самолетов, танков — она не настроила людей на долгую, тяжкую битву и делала это на ходу, в судорогах, в спешке, содрогаясь от поражений на фронтах, полной бесхозяйственности, расстройств быта и экономики в тылу. Сталин привычно обманывал народ, врал напропалую в праздничной ноябрьской речи о том, что в тылу уже полный порядок, значит, и на фронте тоже скоро все изменится.

Все налаживалось, строилось и чинилось на ходу. К исходу сорок второго года кое-что и кое-где и было налажено, залатано, подшито и подбрито, перенесено на новое место и даже построено, однако всевечное российское разгильдяйство, надежда на авось, воровство, попустительство, помноженное на армейскую жестокость и хамство, делали свое дело — молодяжки восемнадцати годов от роду не выдерживали натиска тяжкого времени и требований армейской жизни.

Испугавшись, что начмед военного округа, пронзивший узким туловищем насквозь столовую и уплывший в морозную густую наволочь, наведается в казармы, в помещениях подняли панику, шла уборка, и не уборка — прямо сказать, штурм казарменного черного быта: скоблились нары, намачивались полы, подбеливались стены дежурок и каптерок, всюду произведена была дезинфекция, толсто насыпан порошок, с испугу начищено было оружие, упрятаны деревянные макеты с обломанными лучинными штыками.

Вонь хлорки и карболки смешивалась с давно устоявшимся в казарме запахом мочи, нечистого, потного тела, смоченной грязи на полу, запах конюшни был так густ и сногшибателен, что старшина Шпатор, крепко подумав, отрядил в дальний лес на речку Бердь за лапником целое отделение солдат — пихтовые, еловые и сосновые лапы, набросанные на пол, подвешенные в виде гирлянд на нары, в выбитые окна, свежо веяли по глинисто воняющему, от сумерек глухому подвальному пространству казармы дуком древней, вечно зеленой тайги и скрытой под снегами пашенной земли.

Кормежка в столовой скудела, нормы закладок в котлы убывали, животные жиры и мясо все чаще заменялись комбижиром, какой-то химической смесью, именуемой нездешним словом «лярд». Каша становилась по виду все ближе к вареву, именуемому на Руси размазней. В жидком супе уже не рыбий кусок плавал, какое-то бурое крошево то ли из рыбы и серой разварившейся крупы или картошки.

Нарастал ропот, увеличивалось количество доходяг в ротах, теперь уже чаще и чаще в казарме первого батальона зычный, остервенелый раздавался мат, обещания навести в первой роте такой порядок, что все кругом ахнут от того порядка, — то командир роты Пшанный вплотную приступил к исполнению своих обязанностей.

## Глава пятая

В совсем какое-то дохлое, промозглое утро командир первой роты лейтенант Пшенный приказал всем до единого красноармейца вверенного ему подразделения выйти из помещения и построиться. Подняли даже больных. Попцова стянули с нар за ноги, заправили его, дрожащего, мокрого, мятого, дико вытаращившего гноящиеся глаза, вытолкали на улицу. Думали, командир роты увидит, какие жалкие эти нижненарники, которых старшина Шпатор и даже помкомвзвода Яшкин не трогали, боясь слез и стонов, пощадит их, вернет обратно в казарму. Но Пшенный скомандовал:

— Довольно придуриваться! С пес-сней шагом арш на занятия!

Голос Бабенко откликнулся, зазвенел в зимней сутеми, в трескучем, морозом пронзенном пространстве военного городка.

Довольно часто случалось, что и звенел-то теперь один Бабенко, рота лишь открывала рты, клубила пар отверстиями и не издавала ни звука. Старшину Шпатора не проведешь.

— Бабенко на месте! — командовал он. — Остальным песельникам на снег и по-пластунски вперед!

Раз проползешь, взад-вперед два проползешь, поцарапаешь брюхо об мерзлый снег, мочой и разным дерьмом напичканный, — запоешь как миленький.

У Пшенного морда, на ведро величиной и формой похожая, гладко выбрита, новый подворотничок светится, сапоги блестят, глазки оцинковело сереют на емкости. «Где подлый враг не проползет, пройдет стальная наша рота!» — завели сначала, как водится вразброд, но постепенно разогрелись боевые стрелки, осилили песню.

Васконяна и Колю Рындина, портивших порядок, снова отогнали взад строя. Булдакова же куда-то отрядили, в какую-то контору пол мыть — будет он пол мыть! — у особняков этот пройдоха на крючке, брешет там, чего в его удалую башку взбредет, правду-то не скажет, правда сделалась страшнее лжи, да и пусть стучит, пусть сексотничает — дальше фронта не пошлют, хуже, чем здесь, содержать не будут, некуда хуже-то, и жопа не по циркулю у их замордовать всех-то. Вон Колю Рындина как ломали! Всей политической и сексотной кодлой,

мракобесием его веру называли, сулились в бараний рог согнуть старообрядца из далеких Кужебар, а он как молился, так и молится, не зря, стало быть, учили в школе, да и везде и всюду, особо по переселенческим баракам, арестантским поселениям, — быть негибачимым, не поддаваться враждебным веяньям, не пасовать перед трудностями, жить союзом и союзно с коммунистами. Вот и живут союзно, кто кого сомнет, кто у кого кусок упрет иль изо рта выдернет, тот, стало быть, и сильный, тот и в голове союза. А старообрядец Коля Рындин — молодец, не пасует перед трудностями, хер положил он на все увещевания и угрозы агитаторов-ублюдков.

Он и есть негибачимый человек. Гнется он только перед Богом в молитве — вот это положительный пример для всех его собратьев по казарменному несчастью. Так думали красноармейцы каждый по отдельности, каждый из тех, кто еще не совсем разучился думать, сопротивляться тому, что навалилось на него тяжким недугом или злой несправедливостью жизни и судьбы.

Строй между тем все время сбивался с шага. Пшечный останавливал роту, ровнял ряды, орал все громче, отдавая команды, чеканя шаг красноармейцев под свой счет, который у него напоминал удар дровяной колотушки по пустой бочке: «Р-ра-аз — два, р-раз — два, р-раз — два!» Клячам колхозным, не военному подразделению шагать под такой счет.

Вести строй и шагать в строю — большое это, оказывается, искусство. Интересно было наблюдать, как ходят и ведут подразделения командиры.

Внуков — капитан, комбат, несколько бабистый, тяжеловатый фигурой, он еще из кадровых, маялся в боях сорок первого года в тех же местах, где и Яшкин, получил осколочные ранения в таз, будто бы и в позвоночнике у него минный осколок торчал, а кровь-то играет, зовет, охота себя прежнего вспомнить — пойдет с батальоном сперва ладно, шаг держит, подошвами сапог землю клеит, видно, что и себе, и людям удовольствие от такого марша, но вот начал с шагу сбиваться, ногу тянуть, каблуками песок вспахивать, отставать — отваливал на сторону, роняя командирам рот: «Ведите батальон на занятия» — и, махнув рукой возле шапки, возвращался в расположение.

Щусь ходил как гусь, шутили служивые: грязь не взобьет, сучка не переломит, ни травинки, ни хвоинки не сомнет, одно слово —

балет! Молодой еще, необстрелянный командир второй роты лейтенант Шапошников обожал Щуся, подражал ему во всем, хоть тот и был младше его званием, и многого достиг в обиходе, в марше, но такого форса, такой выправки, такой строевой отточенности, как у Щуся, достичь, конечно, не мог. «Тут талант надо иметь и еще чего-то», — утверждал старшина Шпатор. Он и сам, Аким Агафонович Шпатор, был когда-то не последний ходок в строю, но нынче маршировал, будто мазурку танцевал: идет-идет ладно, складно — и подпрыгнет, пробежку сделает — и ручками, ручками все больше марширует, не ножками, точь-в-точь устаревшая, скрывающая переутомленность балерина.

Яшкин ходил как жил, непостоянен был его характер и шаг такой же: то идет без всяких затей и напряжения, топает себе, делает строевую работу, то весь избегается, издергается и роту издергает, мечась вдоль строя, считая невпопад, сбивая шаги и от этого злясь еще больше на себя и на всех.

И воистину по шагу, по строю без осечки можно определить, каков есть человек. Тот же командир первой роты Пшанный не со строем, не с народом шел, ровно бы одинокий медведь по бурелому пер: сапоги бухают, терзают, мордуют матушку-землю, комья грязи летят, песок попадетса под сапог — вихрем взвивается, снег визжит под копытами, сук трещит, дорога воет. Булдаков-згальник, если его принуждали выйти на занятия, подпевал в шаг ротному: «Пшанный топает по грязи, а за ним начальник связи. Э-эх, Дуня, Дуня-я, Дуня — ягодка моя!..»

Упрятанные от посторонних глаз в середину строя, Попцов и его друзья по несчастью — сонарники, как их называл старшина Шпатор, — сбивали шаг, и чем дальше топала рота, тем хуже у нее получалось дело. В военном городке, в заветрии и в лесу рота еще более или менее правила шаг под звучную команду помкомроты Щуся:

«Р-рыс — два, р-ррыс — два!» Пшанный, поняв, что его голос не совсем музыкален, от счета отступился. Щусь чеканил шаг сбоку иль забегал вперед и показывал пример лихого строевика, способного ходить без музыки и барабана вроде как под музыку и барабан, ходить так, что поварихи в комсоставской столовой варить переставали, липли лицами к стеклам. «Есть же еще мушшны на свете!» —



вздыхали, и официантка по имени Груня победно оглядывала товарок: мой!

Конечно в расшлепанных ботинках, подобранных на размер-два больше, чтоб намотать тряпья, газет, да и в обмотках, мерзло сползающих на щиколотки, в едва зашитом рванье, в наглухо застегнутом шлеме, бело обдыханном, приноровиться к младшему лейтенанту трудно, да и шагать и выглядеть браво не очень-то получается. Но ребята старались изо всех сил, двоили шаг как можно четче, хорошо сделали пробежку из леса к плацу — так тут назывались поля, на которых осенью росла капуста, свекла и брюква. После уборки урожая на поле установили чучела, набитые соломой, чтоб колоть их штыком, как лютого врага, козлины разные, чтоб прыгать через них, лестницы, турники, деревянных коней понаставили, сосен понавалили сучковатых — препятствия, окопов и щелей в земле нарыли — штурмовать их чтобы или прятаться от танков, метнув перед этим мерзлый чурбак, вроде как гранату иль бутылку с горючей смесью.

Доходяги с мокрыми втоками испортили боевую работу. Попцов во время пробежки упал. Яшкин, вернувшись, поднял хнычущего доходягу, тащил его за ворот на плац, в боевые ряды. Попцов падал, скрючивался на снегу, убирая под себя ноги, пытался засунуть руки в рукава, утянуть ухо в воротник.

— Встать, негодяй! — рявкнул командир роты и с разгона раздругой пнул доходягу, распаленный гневом, не мог уже остановиться, укротить яростный свой припадок. — Встать! Встать! Встать! — со всего маху понужал он узким носком каменно блестящего сапога корчащегося на снегу парнишку, на каждый удар отзывавшегося коротким взмыкиванием, слюнявым телячьим хлюпаньем. Побагровевшее лицо ротного, глаза его налились неистовой злобой, ему не хватало воздуха, ненависть душила его, ослепляла разум, и без того от природы невеликий. — Пораспустились! Симул-лянты! — вылаивал он. — Я вам покажу! Я вам покажу! Я вам...

Попцов перестал мычать, с детской беззащитностью тонко вскрикнул: «Ай-ай!» — и начал странно распрямляться, опрокидываясь на спину, руки его сами собой высунулись из рукавов шинели, раскинулись, стоптанные каблуки скоблили снег, ноги, костляво обнажившиеся выше раструбов ботинок, мелко дрожали,

пощелкивали щиколотками. Вся подростковая фигурка разом обнажилась, сделалось видно грязную шею, просторно торчащую из воротника, на ней совсем черные толстые жилы, губы и лицо в коросте, округляющиеся глаза, в которых замерзали остановившиеся слезы, делались все прозрачней. С мученическим облегчением Попцов сделал короткий выдох и отвернулся ото всех, зарывшись носом в носок со снегом.

Опытный вояка Яшкин, всего насмотревшийся на смертельных полях сражений, почувствовал неладное, нагнулся над Попцовым, схватил его за кисть, сжал пальцами запястье.

— Готов... — растерянно прошептал он. Рота молча обступила мертвого товарища. С немой оторопью смотрели ребята на умершего — к смерти они еще не привыкли, не были к ней готовы, не могли ее сразу постигнуть, значение происшедшего медленно доходило до них, корбило сознание ужасом.

Попцов, ко всему уже безразличный, лежал на перемешанной серой каше в куцей шинеленке, с как попало накрученными обмотками, меж витков обстеганных обмоток светились голые, в кость иссохшие ноги, на груди разошелся крючок шинели, обнажив залоснившуюся нижнюю рубаху. Гимнастерки на Попцове не было, он ее променял на картошку, когда рота ходила после октябрьских праздников на стрельбище. Зубы Попцова, давно, может и никогда нечищенные, неровные, наполовину сгнившие зубы обнажились. Из-под шлема серенькой пленкой начали выплывать вши... Они суетились на остывающем лице, тыкались туда-сюда. Яшкин вспомнил, как его, тяжело раненного, в походном лазарете зараженного желтухой, везли по холмистой Смоленщине, и, видимо, вши пошли уже с него, но он чувял одну лишь, крупную, как лягуша, липкую, — она никак не могла сползти с лица, все опускала мягкую, бескостную лапу вниз, во что-то кипящее, и, ожегшись, отдергивала лапу.

— Это он убил! — послышался возглас Петьки Мусикова. (Яшкин вздрогнул, приходя в себя.) — Он! Он, подлюка! — Петька Мусиков тыкал пальцем в тяжело дышащего, растрепанного командира роты Пшенного.

Молчаливая, не всегда покорная, но все же управляемая рота обступила ротного, смыкаясь вокруг, и совсем не так, как ее учили-наставляли, вскинула винтовки, деревянные макеты с заостренными

концами, в полной тишине начала сдвигаться. Раз и навсегда усвоивший, что он, командир, начальник, может повелевать людьми, но им повелевать никто не смеет, кроме старшего по званию, если нападать, то он вправе нападать, на него же нельзя, — Пшанный не осознавал надвигающейся беды, пытался что-то сказать, скомандовать, губы его шевелились резиново, смятенно выбрасывая; «Шо? Шо?» — лицо сделалось серым и без свалившейся шапки казалось еще крупнее.

— Ребята! Ребятюшки! — оказавшись в кругу, хватался за стволы винтовок, за обломки макетов Яшкин, загоразживая своей тщедушной фигурой неповоротливое тело ротного. — Нельзя, братцы! Погубите! Себя погубите!

Яшкин осознавал: пробудившиеся в этих людях сила и неистовство, о которых никто, даже сами они не подозревали, уже неподвластны никому, эта сила волокла помкомвзвода на винтовках, сваливала на грузную тушу командира роты. Быть бы им обоим поднятыми на штыки, но кто-то выкинул руку, невероятно длинную, схватил Яшкина за ворот, бросил в сторону.

— Прр-рвались!

— С-споди Суце! С-споди Суце! Спаси и помилуй... — крестился Коля Рындин. — Ребятюшки... Братики!.. Смертоубийство... Смерто... — И пытался собою задержать товарищей. Но они обтекали его, сталкивали, роняли. — Товарищ младший... Лексей Донатович! — заблажил на весь лес Коля Рындин.

Щусь терпеть не мог, тем более смотреть, как истязает ротный подчиненных, орет на них, будто на безрогое стадо, он ушел от греха подальше на плац, толкался меж кутивших командиров, поджидая свой первый взвод. Но что-то его обеспокоило, и он еще до вопля Коли Рындина почуял неладное, помчался к сгрудившейся роте, крича издали:

— Отставить! Кому сказал — стой! — Ворвавшись в круг, схватился за штыки, повис на винтовках, крича в затверделые, безумные лица бойцов: — Сто-ой! Сто-ой!.. Ребята, вы что?! — И вдруг рванул шинель на груди, обнажил красный орден: — Колите! Коли-ите, вашу мать!.. Н-ну-у!

Крик младшего лейтенанта достиг людей, достал, пронзил их слух. Один по одному бойцы замедлили, затормозили тупое движение

на цель, роняли винтовки, макеты. Обхватив лицо руками так, что обнажились красные запястья, зашелся в рыданиях Коля Рындин:

— С-споди, Мать Пресвятая Богородица! Милосердная...

Пшениный все глядел набыченно на остывающую, в себя приходящую толпу подчиненных, было видно, намеревался что-то предпринять поперечное, противоборствующее. Надо было сбивать напряжение.

Щусь деловито, почти спокойно скомандовал:

— Мусиков, Рындин, Васконян — ко мне! — И когда бойцы подошли, сказал: — Отнесите своего товарища в санчасть. Вам, — вперился он в Пшениного, застегивая шинель пляшущими пальцами, — вам... — Нужна была разрядка, нужно было произвести какое-то наказующее злодея действие, и, превышая власть, заместитель командира роты непреклонным тоном приказал ротному: — Вам — отправляться в штаб полка и честно, честно — повторил Щусь, — доско-наль-но, — со значением добавил он, — доложить командиру полка о случившемся.

Пшениному подали шапку, он ее нахлобучил, подтянул пояс, по всему виделось, не хотел просто так отступать, но весь вид помощника молил его, подталкивал: да уходи ты, уходи, ради Бога...

Рука у Щуся, поцарапанная штыком финской винтовки — штык у нее пилой, — кровоточила. Он достал обвязанный шелком батистовый платок, зажал его в горсти, затягивая зубами концы платочка на запястье, не замечая больше Пшениного, кивнул Яшкину:

— Веди роту в расположение.

Сам свернул в лес и напрямую по снежному целику побрел к своей землянке, в отдалении уже обернулся: разбито, разбродно брело войско первой роты в военный городок, почти все парни утираются рукавицами, кто и жесткими рукавами шинелей. Отпустило. «Пусть лучше здесь умоются слезами с горя, чем в штрафной роте кровью».

Крепкий телом и нервами Щусь не страдал бессонницей, но в эту ночь не мог уснуть почти до рассвета.

Навалилось! Больше всего он не любил копаться в чужих жизнях, в своей и подавно — она хоть и коротка еще, но уже перенасыщена. Но это у Алексея Донатовича Щуся — просто гражданина, просто человека, у командира же Советской Армии жизнь, как ей и положено,

пряма, проста, без зизгагов, как он любил шутить, понятная, бесполезная, как он уверял себя, принимая ее на каждый день и час такой, какова она есть, тащил без особой натуги свой воз по земле, не заглядывая за тын, из-за которого тянул шею, выглядывал лупоглазый белобрысый парнишка, молча взывая не забывать его. Парнишку того звали не Алексеем, а Платоном, и не Донатовичем, а Сергеевичем, и фамилия у него была Платонов. Не эта нынешняя фамилия, похожая на удар хлыста или порыв ветра, поднявшего ворох остекленелого от мороза северного снега. Фамилию эту никто не передавал ему по наследству, по родственной линии. Она образовалась от фамилии Щусев, вписал ее в военные списки писарь Забайкальского военного округа из хохлов-переселенцев, пропускавших по холодному, ветром продутому сараю парней, записанных в курсантскую роту. Плохо ли писарь слышал, курсант ли будущий окошел до того, что губы одеревенели и все звуки произносились со стылым свистом. Раза три повторял он: «Щусев, Щусев, Щусев». Писарь клонил к нему голову, раздраженно переспрашивал: «Як? Як?» — и вписал как слышал: Щусь. Коротко и ясно. В жизни русского народа, давно сбитого с круга и хода, произошла еще одна ошибочка, да и не ошибочка, всего лишь опечаточка. Эка невидаль! Кругом такое творилось, что и вовсе могли из всяких списков вычеркнуть человека, не заметив того.

Но еще раньше, когда он был не Щусевым и не Щусем, а просто Платошкой Платоновым, понимал он так, что жизнь — это непрерывное движение, все ехали, все шли куда-то люди, кони, коровы, всякий мелкий скот, в память вонзилось и застряло Семиречье, казаки. Затем голая степь. Юрты, палатки, шалаши, кони, снова скот, много скота и неуклюжие животные с горбами под названием верблюды. После — глухая, черная, жутко гудящая тайга. Нет уже коней, скота нет, одни собаки воют по ночам. Люди черные, молчаливые, живущие по-звериному — в земляных норах, называемых землянками. Запах кедрового леса, масляная сладь ореха, горечь черемши, кислятина ягод, колючая, из овса слепленная лепешка, от нее горит во рту, першит, засаживает горло.

Время идет. Крепнет память. Народу вокруг становится все меньше, меньше. Остается Платошка рядом с молодой женщиной, одетой в черное, — это его тетка, монашка, трудолюбивая, многотерпеливая женщина необыкновенной красоты. Красивей ее он

никогда никого не встречал, не видел, разве что на напечатанной в журнале копии с картины Сурикова «Меншиков в Березове» видел такую же. Она там в отдалении написана, рукой подпершись, слушает чтение. Старшая дочь Меншикова, на отца похожая, самая умная из троицы, понимающая всю трагедию свою и опальной семьи. Впоследствии он с удивлением узнал, что побывали они в ссылке тоже под Березовом — там он и лишился родителей, остался с теткой-вековухой. Пока что казаков гоняли вдоль родных рек Иртыша и Оби, изводили и закапывали их, слава Богу, в родную землю. «Эх, казаки, казаки, ряженые мудаки! — не раз и не два про себя говаривал в рифму Щусь. — Что же вы так бесславно погинули-то? Гордое сословие, мужественное войско — на такую тухлую наживку клюнули!..»

Последнее переселение он помнит уже отчетливо. Плыли вниз по большой реке. Трубастый, крикливый пароходик тащил связанные гуськом баржи, набитые народом, уже истощенным, больным. Тетушка тут и сестра милосердия, и Божий утешитель, помогала больным, молилась по умершим, которых ночью сами же ссыльные под доглядом конвойных вытаскивали на палубу и сбрасывали за борт.

К тетушке внимателен был конвойный начальник, человек при нагане, в кожанке, подбитой овечьей подкладкой, в галифе с малиновыми полосками, в папахе со звездой, из-под которой русым ворохом выбивался чуб. Он приносил в кармане кожанки пряники и конфетки, ночью лепился на деревянный мат, предназначенный под мешки с зерном, пробовал подлизаться к тетушке, она не давалась, обещала: «Потом, потом», выпрашивала под «потом» вместо конфет лекарства, мыло, горячей каши. Однажды, когда усталый пароходишко, едва хлопая побитыми плечами по воде, тянул уже баржи на таком просторе, что и берега-то виделись желтыми соломинками, тетушка сказала: «Ладно, хорошо», взявши слово с начальника, что он не оставит Платошку здесь, возьмет его с собою, назовет сыном, коли женится иль что с ним случится, отвезет мальчишку в Тобольск, передаст в семью еще дореволюционных ссыльных по фамилии Щусевы — их в Тобольске знают все.

Начальник конвоя на все был согласен. Он припал к тетушке, она со стоном раскинулась, обхватила мужика руками. Притиснув мальчишку к борту, они стали сильно толкаться, колотить малого о мокрые брусья, тыкать его носом в занозистую клепку. Ему бы заорать,

но было так жутко от яростно свершающейся тайности, что он не решился даже пикнуть.

Переселенцев выгрузили аж за Обдорском, на пустынном пологом берегу. Вдали, упираясь в небо каменным иродом, горбатился горный хребет. «Вот здесь наша последняя пристань, здесь мы все, Богом забытые, и погибнем», — прошептала тетушка, крестясь.

Спецпереселенцы дней десять пожили в баржах и на парходике, дожидавшемся подвозки дров. На берегу Оби вырыли землянки, потолки застелили деревянными щитами, вынутыми из барж, стены утеплили тальником да стелющейся по тундре плесневело-белой ивой. Из склизкой, мертвенносерой глины начали лепить кирпич для печей, заготавливать топливо, ловить слопцами и петлями птицу, добывать удами и колоть острой рыбу — ни ружья, ни сабельки к той поре у казаков не осталось, да и топоров, и пил по счету, один дырявый баркас на всех и гнилая, железом по дну исчищенная долбленка, выловленная еще в пути караванщиками.

Когда пароход, боявшийся зазимовать на Севере, не у притона, уводил из гиблого места баржи, то гудел, гудел прощально, тревожно. Все население нового, пока еще безымянного поселка высыпало на берег, иные бедолаги в воду забредали, тянули руки, а на руках дети. Такой рев и плач людской огласил северный обской берег, что капитан давил и давил на ручку гудка парохода, чтобы заглушить тот рев. В отдалении на низком, подмытом берегу етояла одинокая тонкая фигура в черном, размашисто крестила караван, все прощая людям, но, может, его, мальчишку, крестила. Узнай теперь! Ни слуху ни духу о Семиреченских семьях, высадившихся за Обдорском на обской берег. Сколько Щусь ни расспрашивал Лешку Шестакова, оказавшегося с низовьев Оби, бывавшего даже в самой губе, ничего тот ему вразумительного сказать не мог: «Знаете, сколько их там было, спецпереселенческих-то поселков, и ничего-ничего не осталось. Говорят, которые в Салехард, бывший Обдорск, убегли спасаться. У нас в Шурышкарах тоже спецпереселенцы есть. А вам зачем, товарищ младший лейтенант? Там родственники, да?» — «Да нет, один мой сослуживец интересуется, тетушка там у него жила». — «А-а, может, у мамки спросить? Она тамошняя, она у меня наполовину русская, наполовину хантыйка». — «Да не надо. Чего уж там, разве найдешь человека на такой большой земле?» Чем дольше жил на свете Щусь,

тем больше он тосковал по тетушке. Со временем это сделалось болезнью, ото всех скрываемой. Тетушка Елизавета — тоска, мать, сестра, женщина женщин, прекрасней, добрей, лучше ее не было и нет никого на свете.

Начальник слово сдержал и, как догадался Щусь, всю жизнь сох по своей монашке, не женился, будто бы искал даже Елизавету — для него, мол, для Платошки. Он был не только боевой командир, тот начальник, присушенный монашкой, но и добрый, в общем-то, человек. Как смутно сделалось в Тюмени, как сами большевики начали садить и выбивать старые боевые кадры, тут же сбавил подростка в Тобольск, и так хорошо, так ловко это сделал, что за парнишкой не осталось никаких хвостов. Щусевы, местный художник Донат Аркадьевич и преподавательница литературы одной из тобольских школ Татьяна Илларионовна, были бездетны, мальчика приняли в своем доме родным, они знали тетушку его Елизавету, она даже и жила какое-то время у них, но события, происходившие в гражданскую войну и после нее, чем-то и где-то зацепили красавицу, пришлось ей искать монастырскую обитель для уединения.

Вместе с Платоном в ученической сумке прибыл пакет для Щусевых. В конверте том была фотография девушки такой красивой, что глаз не оторвать. Тетушка — ученица губернской гимназии. Еще в конверте было письмо и бумажки-бланки какие-то с печатями. Платон без проволочек был не только усыновлен Щусевыми, но и переименован в Алексея, да и не просто переименован, но крещен в ночное время выгнанным из храма попом, тайно справлявшим требы и службы.

Время начиналось страшное, тюменского начальника расстреляли, пробовали таскать Доната Аркадьевича, но его, как ни странно, спасала дореволюционная ссылка. Вон он когда еще боролся за землю, за волю, за лучшую долю! Борец-то, между прочим, вместе с братией из художественной академии побегал по улицам столицы, потряс красным флагом в 1905 году и поехал бесплатно в Сибирь на бесплатное житье, за ним, уж добровольно, ринулась и возлюбленная его, Татьяна Илларионовна, — все как в лучших революционных романах! Люди тогда старомодные были, в Бога веровали, не бросали друг дружку в беде, не предавали походя.



И еще спасло Щусевых безупречное, скромное житье, всеобщее уважение тобольчан. Цеплялись насчет мальчишки большевистские непримиримые и неистовые борцы за чистоту рядов совграждан. Супруги Щусевы взяли грех на душу, по письменному наущению начальника соврали: дескать, это сын девушки, брошенной ветром войны из казачьего Семиречья, но казак погиб, мать была, по слухам, в монастыре, но как монастырь разогнали, она где-то в вихре революционных бурь затерялась. Простоватый с виду провинциальный интеллигент Донат Аркадьевич был уже крепко бит и трепан жизнью, голой рукой его не так-то просто ухватить — с фотографии тетушки Елизаветы он написал портрет маслом и придал ему черты сходства с Алешей. Отдаленно-то по породе они и были немножко схожи, художник это сходство где штришком, где мазком усугубил. Он же, Донат Аркадьевич, видя кровавый разгул в стране, начал править Алексея на военную стезю, наверное, полагал мудрый старик, что уж военных-то, силу-то свою и мощь, большевики подрывать не будут, не совсем же они остолопы, чтобы сук под собой рубить.

Ах, Донат Аркадьевич, Донат Аркадьевич, папашка старенький, какой ты все же наивный был, как ты все же мерил новый мир по старому аршину, как светло заблуждался насчет новых людей, нового мира и в особенности насчет текущего момента. Молодость, духовная незрелость да смелость натуры и ладность фигуры помогли и помогают спастись приемышу и от бурной жизни, и от собственной дури.

Все шло по заведенному плану: школа, экзамены, посылка документов в Забайкальское военное училище — к документам приложены аттестат с круглыми отметками «отлично» и справка военрука тобольской школы о безупречной военной подготовке в пределах десятилетки, копии удостоверений «Ворошиловский стрелок», постоянного члена МОПРа, донорской станции и характеристики одна хвалебней другой. «Нам иначе нельзя, мы всегда в подозрении», — лепетала Татьяна Илларионовна. И Алексей с туманного детства понимал, что только отличной учебой, безупречным поведением, безукоризненной боевой выучкой, беззаветной храбростью он сможет снять с себя, со Щусевых, со своей святой тетушки вечную вину. Понять бы еще: в чем та вина? Не видел он бела света ни в детстве, ни в юности, ни в школе, ни в военном училище —

все выправлял себя: показательный, передовой гражданин передового в мире общества. А как уж радовались ему, его покладистости, радению Донат Аркадьевич и Татьяна Илларионовна, из кожи лезли они, чтобы получше его одеть, послаще накормить. Что там говорить, благоговели они от счастья, что Бог послал им в награду любимого всеми мальчика, ну и он старался платить им любовью — уж на что писать ленив, а из училища слал им письма каждомесячно.

Первый проблеск в слепом сознании, первый урок, первое отрезвление в безупречно выстроенной жизни, в вышколенном, целенаправленном умишке образцового ученика, гражданина и курсанта произошел на озере Хасан, в боях за сопки Безымянную и Заозерную.

Курсантскую роту спешно пригнали к местам боев 1 августа, 2-го весь день продержали под дождем, — слишком много скопилось возле сопки умных комиссаров и наставников, сил не жалеющих на боевое слово, призывающих вдребезги разбить зарвавшихся самураев, неувядаемой славой покрыть славные знамена. Ораторы стояли в затылок, добросовестно отработывая свой сдобный хлеб. В результате не отдохнувших, голодных, с ног валившихся курсантов, к бою негодных, выдвинули под крутой склон сопки, придав роту выбитому с высот сто двадцатому стрелковому полку.

На склонах сопки Безымянная и Заозерная копнами чернели застрявшие в грязи танки, скособоченно стояли орудия, всюду там и сям на земле виднелись замытые дождем бугорки — убитые, догадались курсанты, но духом не пали, просто решили они, да им и помогли это решить речистые комиссары: тем передовым красноармейцам не хватило храбрости и умения в бою. Вот они, курсанты, пойдут, уж они этимдохлым самураишкам дадут. И шли на крутой склон в лобовую атаку, и расстреливали их японцы с высоты, так и не пустив наверх, не доведя дело до штыковой схватки.

Отброшенные в очередной раз назад, курсанты лежали в размешанной грязи и отдыхивались, ничего не понимая. Как же так? Они ж орлы, герои, а их косят, как траву, какие-то зачуханные японцы в очках? Наконец пришло озарение: надо думать, надо уметь, надо хитрить, надо тактику применять на практике. Командир отделения Щусь подполз к командиру роты, попросил в сумерках пошуметь, хорошо пошуметь, сделать полную видимость атаки, он с остатками

своего отделения попробует обойти пулеметчиков. Пригодилось все: и выучка, и ловкость, и выдержка, — он помнит, как, уже бросившись на хорошо окопанный расчет пулемета, судорожно всаживая нож в живое тело, почти обезумев, стиснутым ртом вырыгивал чапаевское из кино: «Р-ррре-ошь, не возьмешь! Р-рре-ошь...» — потом с фланга пластал из пулемета японцев, гасил огневые точки, и когда рота, остатки ее, наконец-то достигнув японских окопов, зарычала, завизжала, увязнув в рукопашном бою, он ринулся в человеческую кашу, что-то тоже крича, вытирая слюняво раззявленный рот соленым кулаком, не понимая, чья это кровь, его или того японца, которого он колол ножом.

Во тьме окопной ямы, залитой грязной, вязкой жижей, он вроде бы кого-то ткнул штыком, отбросил, и откуда-то возник перед ним низенький солдат в каске, он так и не успел уразуметь — откуда. Забыв все правила штыкового боя, бросился дуром на врага и был умело поддет штыком «под зебры». Молнией полоснула боль, оглушающий удар по голове — и все...

Очнулся утром на пути в госпиталь с забинтованной башкой и лицом так, что один только глаз из белого светился. Он был уверен, что сопку они все-таки взяли, японцев разбили, искромсали, да так оно и подтвердилось в сводках: взяли, разгромили, неповадно будет самураям нарушать священные наши рубежи.

С горестным смущением узнал он потом: сопку-то они всю так и не взяли, только положили уйму народу, так как стреляли из орудий и из танков по своим — связь была аховая, гранаты не взрывались, автоматические винтовки заедало. На переговорах о возвращении сопки и восстановлении закрепленных границ на Хасане японцы куражились над самодурствующими советскими правителями, требовали компенсации, получили все, что требовали, так что вторую половину сопки брали уже «застольными» боями наши униженные дипломаты.

В госпитале Щусю вручили орден Красной Звезды, после госпиталя подержали еще в училище и не столь уж гоняли, сколь показывали новобранцам — герой. Выпустили наконец-то, присвоив звание младшего лейтенанта, послали в распоряжение Сибирского военного округа, оттуда в двадцать первый полк, в первую роту, куда прибыл из госпиталя Яшкин и рассказывал про фронт почти как про Хасан: порядка нет, связь никудышняя, по своим как стреляли, так и

стреляют, комиссары как болтали, так и болтают, командиры как пили, так и пьют, танки как вязли, так и увязают. Одно утешение: немцы ввиду стремительного продвижения и при своей-то образцовой дисциплине и связи тоже по своим лупят, бомбят своих за здоровую душу.

А родители, Донат Аркадьевич и Татьяна Илларионовна, меж тем покинули сей беспокойный свет, один за другим отплыли к тихим берегам лучшего мира. Тетушка потерялась в миру — нет ни дома, ни семьи, ни любимой женщины. Военный человек. Спец. Экая должность! Экая дурь! Какой смысл в такой жизни? Чтобы топтать других? Ломать судьбы? Готовить людей на убой? Но они и без подготовки погибнут на такой войне, с подготовкой такой вот, что в двадцать первом полку, которые погибнут и до фронта. Мальчишек растят, спасают от зла, добру учат, чтобы они творили еще большее зло в битве за добро? «О Господи! Что за жизнь! Что за дурацкая путаница в башке! И разламывается башка, и выпить нечего, да и не хочется». Хотелось бы, разбудил бы Груньку, помял, она деваха разбитная, добыла бы из-под земли...

А мальчишек жалко. И этого доходягу Попцова... Может, и хорошо, что он отмучился? Добил его дубарь, помог ему. Да он бы все равно скоро умер. И списали бы его, в тайные отчеты незаметно внесли. Он, слава Богу, уже не познает ужаса боя, никто не подденет его на штык, не всадит пулю ему в грудь. «Царство тебе Небесное, парень. Лежишь вот сейчас в полковом морге, в ямине глубокой на полу валяешься, и ничего-то тебе не больно, жрать уже не хочется, братья-солдаты не рычат, не бьют тебя, мокрого». Щусь почувствовал на лице мокро, неторопливо, как милая тетушка Елизавета учила, перекрестился в темноте и утих, жалея себя, людей, весь свет жалея и радуясь тому, что такого вот раскисшего, жалостливого его никогда никто не видел, не знает и не узнает, — забылся беспокойным сном, облегченный слезами и молитвой, которой его обучила опять же тетушка и которую он уже даже и не помнил до конца: «Упокой, Господи, души усопших раб Своих... и прости им все согрешения, вольные и невольные...»

Старшина Шпатор завел было нотацию насчет несвоевременного явления в казарму подразделения, но Яшкин громко, чтобы всем было

слышно, объявил:

— Первая рота сегодня отдыхает! — Понизив голос, добавил: — Не гомони, старче, хотя бы в этот страшный день.

Лейтенант Пшанный более в расположение роты не являлся. Кто-то уверенно заявлял, что его судили, отправили в штрафную роту, кто-то заверял, что он осел в штабе полка и принял роту в третьем батальоне. Щусь насчет Пшанного ничего не говорил, да его особо и не донимали расспросами, радуясь, что другого командира роты не присылают и правит в подразделении младший, привычный всем лейтенант, все последнее время отсутствующе глядящий куда-то выше их и дальше их.

Происшествие в первой роте отозвалось где надо: красноармейцев из первой роты одного за другим вызывали в особый отдел полка, где главным был старший лейтенант Скорик.

Но прежде своих подчиненных побывал у Скорика младший лейтенант Щусь.

Они когда-то учились в одном военном училище в Забайкалье, из которого и была брошена курсантская рота на Хасан. Курсант Щусь, как написано было в наградном листе, в штыковой атаке заколол трех самураев, отбил вражеский пулемет, обернув его в сторону противника, приземлил наступающую цепь врага. Когда пулеметные ленты кончились, курсант снова ринулся на врага, получил штыковое ранение, но все же на сопку Заозерную взобрался, где и подобрал его санитары. В читинском госпитале ему вручили орден, после чего молодой герой поистребил вина не меньше бочки и восхищенных девок больше, чем самураев в бою.

Лева Скорик в бою не бывал, но в званиях и по службе продвигался успешней героя хасанских боев, аж вот куда додвинулся — до начальника особого отдела стрелкового полка, количеством штыков, точнее едоков, равного дивизии. Большинство командиров двадцать первого полка терпеть не могли бывшего сокурсника Левы Скорика, давно бы его схарчили, но Щусь был любимцем командира полка Азатьяна, тот, не иначе как стремясь поглумиться над ожиревшими, самодовольными тыловиками-штабниками, поручил выщелку-орденоносцу раз в неделю проводить с ними строевые занятия.

Младший лейтенант Щусь, к общему удовольствию рядового и младшего состава, гонял майоров, капитанов, старших лейтенантов и лейтенантов до седьмого пота, да еще в заключение заставлял пройти строевым шагом по расположению полка, чтобы все видели, что возмездие в Божьем мире еще существует. С насмешкой, не иначе, кричал нескладному капитану с древней дворянской фамилией Дубельт, култыхающему вразнопляс со строем:

— А ну-ка, полковой меломан, пе-эссню-ууу! И-и-ы, рысс-два! Рысс-два!

Капитан Дубельт не знал современных строевых песен, отказать, однако, строевому командиру, их истязавшему, не решался и под шаг запыхавшихся тыловых чинов затягивал таким же тощим, как он сам, тенором: «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ва-аши жо-о-оны?» «Наши жо-о-оны — пушки заряжены, вот кто на-аши жо-оны!» — чуть озоруя, однако и потрафляя лихому строевику, рявкали штабники.

— Рыс-два! Рр-рыс-два! — так ли ладно, так ли складно вторил младший лейтенант Щусь. — Выше ногу! Шире шаг! Подобрать животы! Р-рас-спрямить спины! Рр-рысс-два! Рррыс-два!

Не забыл Щусь и про своего соратника по училищу. На первом же занятии въедливо поинтересовался:

— А что, старший лейтенант Скорик не служит в нашем доблестном полку?

— Служит, служит! — мстительно откликнулись истязателю тыловики, давно уже никого, кроме себя, не уважающие. — Поблажку сам себе выдает. В строй его! На цугундер!

И оказался особняк Скорик в строю. Бывший его сокурсник уделил ему особое внимание:

— Старший лейтенант Скорик, подтянитесь! Не сбивайте шаг. Не тяните ножку, или я займусь с вами индивидуально строевой подготовкой. Вечерко-о-ом! После отбоя!

— Зараза! — кипел Скорик. — Достал, достал! Ну ты дождешься! Ну я тебя куда-нибудь упеку!..

Упечь было бы просто, поводы подавал сам младший лейтенант Щусь: он напивался, а напившись, являлся к штабу полка, митинговал:

— Эй вы, тыловые крысы, отправляйте меня на фронт, иначе я вас всех до смерти загоняю. Рожи ваши видеть не могу! Войско обжираете!

Младшего лейтенанта хватали патрули, волокли на офицерскую гауптвахту. Но его оттуда непременно вызволял полковник Азатьян и подолгу увещевал, обещая: скоро, может, уже с нынешним составом бойцов, двадцать первый стрелковый полк целиком и полностью, вместе со своим штабом, отправится на фронт. С кем тогда он, командир полка, пойдет в бой? С этими, как совершенно точно их называет неустрашимый герой, болванами, да? И что будет в полку с ребятишками-красноармейцами, если его покинут такие люди, как командир первого взвода? Они останутся на растерзание держиморд пшениных, да?

— Иди, дорогой мой, в роту, иди, береги парней, учи их бою, терпению и сам терпи. Я ж терплю! Мне, боевому командиру, совсем от тебя недалеко, на Халхин-Голе, получившему награду и ранение, каково? Ты все осознал, да? Иди, дорогой мой, иди! И не напивайся больше. Я бы тоже вместе с тобой напился, побунтовал бы, перебил все окна в штабе, да что окна, я бы весь этот штаб перебил, но нельзя, дорогой, нельзя-а-а. От нас родина требует врага бить, не окна, врага, врага, дорогой мой.

Начальник особого отдела вдоль и поперек изучил выписку из личного дела младшего лейтенанта Щуся — никакой зацепки в бумагах не нашел. Родом Щусь из русско-немецкого или казачьего поселения, что в Семиречье, под Павлодаром. Зацепка малая, чтоб упечь куда надо героя Хасана. Скорик запросил павлодарский гражданский архив, тобольский райвоенкомат запросил, который призывал Щуся в армию и направлял в военное училище. Хоть советскую икону пиши со Щуся — настолько чист он и безупречна его биография. Ма-ахонькая, совсем крохотная зацепка в бумагах была: род казаков Щусей где-то на уровне прадедов сплетался с немецкой ветвью, и не отсюда ли странное и непривычное уху отчество — Донатович? Да и фамилия Щусь? И эти голубые глаза с водянистой размытостью, заключенной в резко обрисованный двумя кружками серый зрачок, и эта невиданная аккуратность во всем. Сколько помнил Скорик Щуся, ни одной он волосинки лишней не переложил с четко расчерченного расческой пробора, ничего лишнего на темечке не нагромоздил. И как, как из Щусева превратился он в Щуся? Накуролесил Щусь достаточно для суда, разжалования и штрафной роты, да никак его не выдернуть из объятий полковника Геворка

Азатьяна. Обожает его полковник, грудью заслоняет. Но вот, кажется, и полковнику скоро на дыбу идти: в полку полный разлад дисциплины, воровство, истязания, драки, много больных и наконец всему венец — смерть красноармейца в строю, нападение на офицера.

— Что у вас там произошло, Алексей, расскажи-ка мне подробней, — по-свойски, небрежно обратился Скорик к Щусю.

Но тот не принял его тона.

— Здесь, — помотал он рукою над головой, — не школьный класс, не клуб с танцами и девочками. Вызвали, так извольте обращаться, как положено в армии, по званию.

— Да-а, звание, звание. Что-то оно у тебя...

— Я все в жизни приучен добывать трудом и в бою, поэтому мне звания и награды даются не так легко, как некоторым.

Старший лейтенант Скорик понял тонкий намек, привыкший к покорности собеседника, помрачнел, помолчал.

— Всякому свое, — молвил он и со вздохом добавил: — Надо кому-то нести и эту неблагодарную службу, — выразительно пошлепав по столу ладонью, заключил он.

— Вот и неси, а в свояки не лезь!

— По-нят-но! — раздельно и четко произнес Скорик и повторил: — Ясненько. Ну так что ж, бойцы твои вознамерились поднять на штыки советского офицера?

— Они столь же мои, сколь и ваши. Но вы удобно устроились. Отдельно от них живете, а родину любите вместе. И правильно бы ребята сделали, если б это быдло заporоли. Я не дал. Жалко парнишек. Ты обрадуешься работе. Одряб вон от безделья, паутина по углам. — И понимая, что подзашел, что хватанул лишку, сбавил пыл. — Да таким обалдуям, как Пшечный, самое подходящее место на штыке.

— Уж больно вы того, товарищ младший лейтенант, резковаты. И, простите, дерзки. У меня тут не положен подобный тон...

— Да мне начхать, что тут положено, что не положено. Экая церковная исповедальня, где говорят только шепотом. А меня не это занимает. Мне вот спросить хочется: давно ли вы были в солдатских казармах? Совсем не были? Так я и знал. Побывали б там, так не ублюдком Пшечным интересовались бы — интересовались бы тем, что умер боец не на фронте, не в бою, для которого призван государством.



— Здесь не меня спрашивают. Я спрашиваю. И государство не троньте. Не по плечу вам эта глыба. А вот как человек погиб, расскажите, пожалуйста, подробней.

— Чего ж рассказывать-то? — протяжно вздохнул Щусь. — Какой-то прохиндей, тыловая крыса какая-то спас себя или сыночка своего, взятку ль получил, сунул в армию непригодного. Попцов прибыл в роту больной. И кабы он был один такой. Морока одна с ними. В пути, на пересылках, в карантине Попцов совсем дошел. В роте он ни одного дня в строю не был, два раза в санчасти лежал. Его бы комиссовать, домой отправить, подладить, подкормить. Да много тут таких, а медсанчасть одна...

— Все это я знаю и без хождения в казармы. На вот, распишись. — Скорик бросил Щусю листок, напечатанный типографской краской, — ну там о неразглашении разговора, в особенности военной тайны, и т. д. и т. п. — Щусь черкнул в конце листа наискось свою короткую фамилию, отшвырнул бумагу брезгливо. Скорик небрежно сгреб ее в ящик стола. — Объяснительную писать все равно придется. И вот еще что... — Он помолчал, подумал. — Беседовал я тут с твоими орлами из первого взвода. Каждому из них давал листочек, где написано: обязуюсь, мол, сообщить о сговорах, вредных влияниях, намерениях дезертировать и так далее и тому подобное. Обязан. Служба у меня такая. Так один из твоих орлов, по фамилии Шестаков, чуть мне голову чернильницей не расколочил...

— Во молодец!

— И я так же думаю. Так вот. Чтоб этот добрый молодец был и на фронте боец, скажи ему: не на всякого офицера можно со штыком да с чернильницей бросаться — обратно прилетит и ушибет до смерти. Скажи ему, чтоб не болтал об этом происшествии в роте. И тому громиле, что припадочного изображает, ну, который «у бар бороды не бывает» глаголет, скажи, чтобы не заигрывался.

— Это уж сам ему скажи. Наедине.

Скорик спрятал свои глаза, открыл стол, что-то в нем перебирая.

— И это вы знаете. Но на всякий случай тоже не разглашайте. Да и врет он, сочиняет, деляга, всякую чушь, безвредно для товарищей сочиняет. Есть такие, придурками живут, на придурков рассчитывают. Немцем тебя посчитал, — Скорик смотрел в упор, испытующе, — за

аккуратность. Не допускает мысли, что офицер из русской армии может быть прибран.

— Оттого что настоящего русского офицера он не видал, больше шпану зрел, — подхватил Щусь.

Отвернувшись к окну, постукивая пальцами по столу, он силился уразуметь: зачем Скорик все это ему сообщил? Зачем такую гнусную подробность доверил? Чтоб знал Щусь, что не все бросались на старшего лейтенанта Скорика с чернильницей, не все припадочных изображали, были и те, что бумажки о доносите́льство подписали, время от времени они исчезают из расположения роты по вызову в штаб полка: полы, мол, мыть, баню топить, иль за почтой, иль наглядные пособия капитану Мельникову поднести — тонкая политика в армии, памаш!

Скорик поднялся, давая понять, что беседа окончена, и, глядя в стол, произнес:

— Не ломай голову, не дури и не дерзи лишку. Сломают. А ты на фронте нужен. — Подал руку. — Держи! Все же дважды однополчане. И здесь, Алексей Донатович, о родине иногда тоже думают. Враг-то на Волге.

## Глава шестая

В столовую ходили поротно, соблюдая очередность. Горе народу, когда первая рота должна идти на завтрак первой, на ужин — последней. Во-первых: надо было подниматься раньше всех и ложиться после отбоя. Кроме того, как ни болтай черпаком в котлах — первым все равно наливается жиже, последним же, случается, достанутся хорошие охлебки в котлах. Если же кухонный отряд просчитается или крохоборы дежурные закусочничают, объедать начнут, может шпик с постным маслом на дне котлов остаться.

Лучше всего ходить в столовую в середочке — тогда суп гуще, на хлебе все довесочки целы, да и попромышлять можно до конца обеда или отбоя.

Большого совершенства в делении пайки, в промысле добавки и всякого дополнительного пропитания достигли бойцы двадцать первого стрелкового полка. С осени хлеб делили, выбирая от десятка едоков полномочного человека, и не одного, двух. Один полномочный человек отворачивался от стола, другой полномочный человек, положив руку на пайку, спрашивал; «Кому?» Отворотившийся выкрикивал: «Петьке! Сашке! Ваньке!» Сомнения вкрадывались в души солдатиков, подтачивали доверие к полномочным людям — в сговоре они, им и связчикам ихним не случайно же достаются одни горбушки да пайки с довесками. Пустили в ход хитрейшую тактику. В каждом подразделении свою. В зависимости от пристрастий данного контингента едоков употреблялось название либо кинокартин, либо машин, либо воинских званий, либо городов. Советских. Но и здесь чудились происки. Хотя откуда быть обдуваловке: хлеб нарезается и взвешивается в хлеборезке, каждая пайка отдельно. Да в хлеборезке-то тоже люди — где промахнутся ножом, где перевесят, где недовесят.

В первом взводе мысль работала недосыгаемо сложно, деление паек достигло такого ухищрения, какого небось и просвещенная Европа не знала: по предложению Васконяна в ход пошли названия стран. «Кому пайка?» — спрашивал распределитель. И следовал выкрик: «Абиссинии! Греции! Аргентине! Англии! Сэсээру!» Везло отчего-то больше всего Абиссинии — ей всегда доставалась горбушка.

Так же и кашу, и суп делить стали. Зачерпнет кашу дежурный, замахнется поварешкой: «Кому?» — и специалист по странам названия выдает, но уже иные, чем при делении хлеба, благо стран на земле много, на всю роту названий хватает. Хлоп в скользкую миску черпак каши — Польше, бульк поварешку супу — Венгрии. Радуйся, Европа, кушай на здоровье!

Дележка была столь тщательна, занимала так много времени, что едоки часто не укладывались в срок, отпущенный на завтрак или на обед, хлебали и жевали харч на ходу, суп допивали через край миски, пайку хлеба совали за пазуху и берегли воистину пуще глаза, отщипывая по крошке. Слабовольные людишки страшно завидовали тем, кто обладал терпением, выдержкой, не сжирал пайку как попало, не заглывал мимоходом, живьем, ел с супом или с чаем, потреблял продукт бесценный с чувством, с толком, с расстановкой, с пользой для здоровья и для тела, и духа поддержания.

С каждым месяцем, неделей, днем прибывало и прибывало в полку доходяг. Овладев порожней миской, доходяги толкались возле раздаточных окон, канючили, ныли, выпрашивали добавки, мешая старшим десятка получать тазы с похлебкой, с кашей, с чаем, если мутную, банным венником пахнущую жижу можно было назвать чаем, но, намерзшись на занятиях, вечерами пили того чаю много, пили жадно, мочились ночью, биты бывали эти соколики нещадно.

Меж столов сновали серые тени опустившихся, больных людей — не успеет солдат выплюнуть на стол рыбью кость, как из-за спины просовывается рука, цап ту кость, миску вылизать просят, по дну таза ложкой или пальцем царапают. Этих неприкаянных, без спроса ушедших из казармы людей ловили патрули, дневальные, наказывали, увещевали. Но доходяги утратили всякое человеческое достоинство, забыли, где они и зачем есть, дошли даже до помоек, отбросных ларей, что-то расковыривали там палками, железом, совали в карманы, уносили в леса к костеркам.

Казахи, а их в первой роте закрепилось человек десять, во главе с Талгатом, которого из-за трудности выговора бойцы кликали Толгаем, презирали доходяг, плевались: «Адрем кал!» (Фу на тебя!) — брезгливо выбрасывали из супа или из толченой картошки комочки свинины. Начался обмен: казах русскому — кроху мяса, русский казаху — ложку картохи либо корочку хлеба. Но и неистовые азиаты,

больше других страдающие от холода и недоеда, один по одному сдавались: сначала начали хлебать суп, сваренный со свиной, потом и мясо, отвернувшись, украдкой бросали в рот. Кругом дразнятся: «У-у, чушка поганая! Хрю-хрю, чушка!..» — чтобы забрезговали, не ели мяса казахи. И пришел срок, когда Талгат повелительно сказал:

— Сайтын алгыр! (Черт бы тебя побрал!) Ешьте все! Ешьте! Аллах разрешил из-за трудности момента. Ослабеете, будете, как они, — презрительно махнул он ложкой на сзади толпящихся, ждущих подачи доходяг.

Давясь, плача, казашата ели суп со свиной. Наевшись, выкрикнув: «Астапрала!» — отбегали от стола в угол столовой — поблевать.

Дисциплина в полку не просто пошатнулась — с каждым днем управлять людьми становилось все труднее. Парнишки в изношенной одежде, в обуви хрустящей, точнее по-собачьи визжащей, твякающей на морозе, ничего уже не боялись, уваливали от занятий, шныряли по расположению полка в поисках хоть какой-нибудь еды. Утром их невозможно было поднять, вытолкать из казармы.

Начиналось все довольно бодро. Дневальные первой и второй рот одновременно заводили громко, песенно: «Па-аа-адьем! Па-ааа-адьем!» — но никто в казарме не только не поднимался, даже не шевелился. Тогда второй дневальный, спаривая голос с первым, орал: «Подьем! Сколько можно спать?»

Постепенно расходясь в праведном гневе, накаляясь, дежурный по роте, им чаще всего был Яшкин, тоже шибко сдавший, совсем желтый, начинал сдергивать бойцов с нар, которые оказывались поближе. Всех ближе на нижних нарах ютились горемыки больные, на которых дуло из неплотно закрытой двери, тянуло от сырого пола, и как им ни запрещали, как их ни наказывали, они волокли на себя всякое тряпье, вили на нарах гнезда. Стащенные за ноги, сброшенные на пол, снова и снова упрямо заползали на нары, лезли в грязное, развороченное, но все же чуть утепленное гнездо — только бы не на улицу, только бы не на мороз в мокрых, псиной пропахших штанах, побелевших от мочи на заду и в промежности.

Не лучше дело обстояло и на третьем ярусе. Тех, наверху, за ногу не стащить — лягаются. Их били макетами винтовок, били без выбора,

случалось, попадали даже в голову, крепко ушибали человека, тогда он подскакивал, спиывал дневального вниз. Дневальный хватался за столб, вопил:

— Товарищ старшина! Товарищ старшина! Оне дерутся!

И тут на свет казарменной лампы выскакивал из каптерки старшина Шпатор в солдатском белье, в серых валенках, обутом на босу ногу, сухонький, с искрящейся редкими волосами стриженной головой, с крылато раскинутыми усами.

— Это армия, памах? — нервно вопрошал он. — Армия?... А ну встать! Встать!!.. Не то я вас...

Старшина для примера сбрасывал со второго или третьего яруса первого попавшегося бойца. Тот, загремев вниз, ударившись об пол, вопил, ругался; осатаневшие дневальные лупили уже всех подряд прикладами макетов, с боем сгоняли служивых с третьего яруса нар на второй, где они, сгрудившись, пробовали дремать дальше, со второго их спихивали на первый, с первого вытесняли серую массу в коридор, затем к дверям, на лестницу, никто не торопился открывать двери. Наконец, благословясь, тычками, пинками, выдворяли на мороз разоспавшихся вояк, и тут же начинался отлов симулянтов: их вытаскивали из-под нар, выковыривали из казарменных щелей, где и таракану-то не спрятаться.

Выжитые из казармы служивые тем временем пританцовывали на морозе, ругались, грозились, когда очередного симулянта выбрасывали на улицу, встречали его в кулаки.

Щусь, как всегда подтянутый, ладный, но тоже недоспавший, явившись из землянки, терпеливо ждал в стороне результатов.

— Р-равня-айсь! Х-хмиррна! — наконец взлетал над сбившимися в строй красноармейцами вызвеневший голос помкомвзвода Яшкина. Скользя, спотыкаясь, поддерживая на боку кирзовую сумку, доставшуюся ему еще на фронте, в которой было все личное имущество помкомвзвода, он подбегал к Щусю и докладывал: — Товарищ младший лейтенант, первая рота для следования на занятия выстроена!

— Здравствуйте, товарищи бойцы! — щелкнув сапогами, поставив ногу к ноге, бодро выкрикивал Щусь. В ответ следовало что-то невнятное, разбродное. — Не слышу! Не понял! Здравствуйте, товарищи бойцы! — подпустив шалости в голос, громче кричал Щусь.

Так иногда повторялось до четырех раз, иногда и до пяти, пока не раздавалось наконец что-то гавкающее:

— Здас тыщ-щий лейтенант!

— Вот теперь, чувствую, проснулись. Р-рота, в столовую для приема пищи шагом арш!

Перед тем как спуститься в каптерку к старшине, чтоб обсудить с ним план занятий и жизни на сегодняшний день, Щусь смотрел еще какое-то время вослед качающемуся под желтушно светящимися фонарями, пар выдыхающему, отхаркивающемуся, не очень-то ровному и ладному строю. И снова подступала, царапала сердце ночная дума: «Ну зачем это? Зачем? Почему ребят сразу не отправили на фронт? Зачем они тут доходят, занимаются шагистикой? На стрельбище, как и прежние роты, побывают два-три раза, расстреляют по обойме патронов — не хватает боеприпасов. Копать землю многие из них умеют с детства, штыком колоть, если доведется, война научит. Зачем? Зачем здоровых парней доводить до недееспособного состояния?» Ответа Щусь не находил, не понимал, что действует машина, давняя тупая машина, не учитывающая того, что времена императора Павла давно минули, что война нынче совсем другая, что страна находится в тяжелейшем состоянии, и не усугублять бы ее беды и страдания, собраться бы с умом, сосредоточиться, перерешить многое. То, что годилось для прошлой войны или даже для войны с Наполеоном, следовало отменить, перестроить, упростить, да не упрощать же до полного абсурда, до убогости, нищеты, до полной безнравственности, ведь бойцы первой роты по одежде, да и по условиям жизни и по поведению мало чем отличаются от арестантов нынешних времен. И Попцов, да что Попцов, разве он один, разве его смерть кого образумит, научит, остановит?

Между завтраком и выходом на занятия была пауза, небольшая по времени, но достаточная для того, чтобы служивые снова позабирались на нары, присели возле печки, привалились к прелой стене, но лучше, выгодней всего к ружейной пирамиде. Тонкий стратегический расчет тут таился: как только раздавалась команда «разобрать оружие!», у пирамиды поднималась свалка — каждый норовил схватить деревянный макет, потому как он был легкий и у него не было железного затыльника на прикладе, от которого коченела ладонь и уставала рука. С меньшей охотой разбирались настоящие,

отечественные винтовки, и никто не хотел вооружаться винтовками финскими, из железа и дерева сделанными. Как, для чего они попали в учебные роты — одним высокоумным военным деятелям известно.

Финские тяжеленные винтовки всегда стояли в дальнем конце пирамиды, там и оставались они после расхватухи, никто их не замечал, учено говоря, бойцы игнорировали плененное оружие. С ножевыми штыками, пилой, зазубренной по торцу, — «чтобы кишки вытаскивались, когда в брюхо кольнут, — заключали ребята и добавляли возмущенно: — Изуиты! Вон у нашего винтаря штык как штык, пырни — дак дырка аккуратна».

Тем бойцам, которые в боях сразу не погибнут и поучаствуют в рукопашной, еще предстояло узнать, что ранка от нашего четырехугольного штыка — фашисту верная смерть, заживает та рана куда как медленней, чем от всех других штыков, сотворенных человеком для человека. Остается благодарить Бога за то, что в этой войне рукопашного боя было мало, редко он случался.

А пока по казарме угорело носился старшина Шпатор с помкомвзвода Яшкиным.

— Кому сказано — разобрать оружие! — заполошно орали.

Дело кончалось всегда тем, что самых бесхитростных, неизворотливых бойцов силой подгоняли иль за шкуру подтаскивали к пирамиде. Будто в революционном Питере, красноармейцу лично вручалось грозное оружие. Наглецы и ловкачи, расхватавшие оружие по уму и таланту, между тем толпились у выхода из подвала, гогоча поддавали жару:

— Вооружайсь, вооружайсь, товарищи красные бойцы!

— Стоим на страже всегда, всегда, но если скажет страна труда.

— Скажет она.

— Рыло сперва умой!

— Рыло сперва умой, потом иди домой!

— Поэт нашелся, еп твою мать!

— Поэт не поэт, а лепит!

— Какая курва там дверь открыла?

— Да старшина это, на прогулку приглашает.

— Пущай сам и гуляет!

— Эй, доходяги, сколько можно ждать?



— Кончай волынить, товарищ младший лейтенант на улице чечетку в сапогах бьет.

— Шесто колено исполняет.

— Раньше выдем, раньше с занятий отпустят.

— Отпустят, штаны спустят!

— Поволыньте еще, поволыньте, заразы, так мы сами возьмемся вас на улку выгонять! Не обрадуетесь!

— Сами с усами! — лаялся Яшкин. — Чего тут столпились? Кто разрешил курить?

— Сорок оставь, Вась!

— Скоро уж посрать нельзя будет без твоего разрешения.

— Разговорчики, памаш! — врезался в толпу старшина. — Марш на улицу! Ну арьмия, ну арьмия! Помру я скоро, подохну от такой арьмии.

— От такой не сдохнешь, от такой...

— Р-разговорчики!

Кто с оружием, кому повезло, кто без оружия, доходяги, больные, симулянты, дневальные, промысловики, разгильдяи, шлявшиеся по расположению полка и по общепитам, переловленные патрулями иль с вечера еще надыбанные докой Шпатором, получившие от старшины по наряду вне очереди — больше он не может, на большее его власти не хватает, — дрогнут на дворе, ждут и знают: старшина так просто, без внимания никого не оставит, он, прокурор в законе, попросит у старшего командира добавки к уже определенному нарушителям наказанию.

Но вот и строй какой-никакой сотворен, вся рота наконец-то в сборе. Старшина семенит вдоль рядов поплясывающего воинства, под сапогами его крикает снег, крошатся ледышки. Натуго застегнутый и подпоясанный, в шапке со звездой, в однопалых рукавицах, в яловых сапогах, должно быть еще с империалистической войны привезенных, усохший, в крестце осевший, но все еще пряменький, чисто выбритый, старшина в желтушном свете двух лампочек, горящих над входом в расположение первой роты — для второй роты существует другой вход, со своими лампочками, — кажется подростком, как эти вот орлы двадцать четвертого года рождения, заметно исхудавшие, телом опавшие за каких-нибудь неполных два месяца прохождения службы. Но только этот вот шепутной подросток — главная самая власть над

ними, от нее, от этой власти, вся досада и надсада, от нее, как от болезни, ни откреститься, ни скрыться.

— Попцовцы, шаг вперед!

Умер бедолага Попцов, тайком его в землю зарыли, в мерзлую казенную могилу поместили, но дело его живет. И кличка к доходагам первой роты приклеилась. Круг попцовцев с каждым днем в роте ширился, старшина особо к ним пристрастен, смотрит каждому в лицо, в глаза, щупает лоб, цапает за втоки, больно мнет промежность, унижая и без того съезжившиеся от холода и неупотребления мужские достоинства. «В казарму!», «В строй!», «В казарму!», «В строй!» — следует приговор.

— Товарищ старшина, да я жа совсем хворай, — начинаются обычные жалобы. — Мне в санчасть... — Голос на самом последнем издохе, тоньше волоска голос, дитяшный голос.

— Болеть в армию приехал, памаш? Не выйдет! Не выйдет! — Спровадив больных в казарму и чуя, с какой завистью вслед им, гремящим вниз по лестнице, смотрят оставшиеся в строю, старшина громко, чтобы всем было слышно, оповещает: — У меня не забалуешься! Кто старшину Шпатора проведет, тот и дня на свете не проживет! Те симулянты, кои в казарме остались, еще позавидуют, памаш, честным бойцам, от занятий не уклоняющимся, воинский долг исполняющим, как надлежит воину Красной Армии. — Многозначительно сощурившись, повелительно похлопывая себя рукавицей по сапогу, старшина выпевал: — Зло-остные сси-ым-мулянты сами об себе заявят, иль выявлять? — Старшина Шпатор все так же похлопывая себя рукавицей, вперялся в строй, в самую его середку, доставая прозорливым взглядом каждого служивого до самого до сердца, сверля взглядом насквозь все содрогнувшееся нутро.

И сердце самого робкого злоумышленника не выдерживало, понунив голову, выходил он из строя, сознавался, что рукавицы не потерял, а спрятал, надеясь покантоваться в казарме хоть денек. И самый справедливый на эту тяжкую минуту командир Советской Армии, поиспытав молчанием неопытного симулянта, оглашал приговор: за честное признание прощает человека, но делает это в последний раз. Пусть сей же секунд разгильдяй бежит в казарму, наденет рукавицы, припасенные заботливым старшиной, и явится как положено и куда положено, однако на заметку он его все же берет и так

просто задуманное им служебное злодеяние все равно не сойдет, вечером после занятий и ужина старшина каждому из симулянтов уделит особое внимание, каждым из них займется индивидуально.

— Тэ-экс! Часть работы, самая ответственная, памаш, благополучно завершена. Пора и на занятия. Вот уже дисциплинированные роты идут и поют. Мы же еще канителемся, разгильдяев ублаговворяем, товарищ младший лейтенант в землянке сидят и нервничают.

Последнее время Щусь не выходил на построение, надоела ему вся эта комедия, на морозе торчать лишний час в хромовых сапогах на одну портянку не подарок тоже, хоть он и закален службой, боями, да и устал смертельно.

— Тэ-экс! — повторял старшина, проходя вдоль уже подзамерзшего, пляшущего на морозе строя. — Может, у кого просьбы есть, жалобы, обращенья?

В строю происходило движение, перед старшиной представляли те, у кого действительно пришла в негодность обувь, совсем одряхлели и требовали починки шинель, гимнастерка, штаны, кому требовалось освобождение часа на два, чтобы сходить на почту за посылкой или за чем-то в штаб полка... «За чем-то!» — фыркнул, умственно шевелил усами старшина. Куда путь лежит осведомителю, старшина не ведает — он первый день на службе! За утро старшина вылавливал и избличал от двух до пяти ухарей, повредивших обувь: наступят на подошву, рванут — и готово, подметка отлетела.

— А шпилечки-то, шпилечки-то, голубчик ты мой, свеженьки-и-и, бе-елень-ки-и-и, — напевал старшина, — у истлелой обуви, голубок, подметочки не враз отрываются, они поднашиваются, грязнятся, гниют... — Сделав паузу, старшина грустно спрашивал у потрошителя казенного имущества: — И что мне с тобой делать? — Злодей сам себе наказание придумать был не в состоянии, тогда, обращаясь к иззябшему строю, старшина качал головой. — Вот люди честные, порядочные мерзнут, памаш, из-за тебя, негодяя. Я их и спрошу, что с тобой делать.

— Сортир долбить! — как правило, следовал единодушный приговор.

— Во! — Старшина поднимал вверх перст и качал им и воздухе. — Народ зря не судит, народ всегда справедлив. Взять л-

лом, л-лопату и прямиком на работку, на чистеньку, на запашистеньку-у! Меня кто проведет?

— Никто-о-о-о! — единым выдохом давала дружный ответ первая рота.

— И ведь знают, знают, но пробуют, — сокрушался старшина. — Шестаков, в землянку дневальным, поскольку животом маешься. Днем сходишь в лес, лекарств для себя и для всех дристунов собираешь.

— Е-эсть, товарищ старшина! — голосом совсем не больного человека откликнулся Шестаков и бегом мчался в аемлянку Щуся — самое теплое, самое оздоровительное было там место.

— Знай службу, плюй в ружье, да не мочи дуло! — наконец-то звонко выкрикивал старшина Шпатор стародавнюю, мало кому уже понятную ныне мудрость.

Щуся получал в свое распоряжение роту. Взводных и командира роты так до сих пор еще не прислали.

— Н-напрр-рыво! Ш-шыгом а-ар! З-запевай! — резко, бодряще командовал он.

К этой поре каждая рота уже определилась со своей строевой песней, каждая пела именно ту песню, которая данному сообществу почему-либо подходила, а почему она подходила — никто еще на всем белом свете не угадал и едва ли угадает, это есть глубокая тайна могущественной природы.

В первой роте любимых песен было две. Одну, жизнерадостную, запевал после обеда и перед отбоем, будучи по природе и сам жизнерадостным, боец Бабенко. Звенело тогда в морозном пространстве над притихшим зимним сосняком, над меланхолично дымящими казармами, над землянками, над карантинном, над штабом, над всеми служебными помещениями военного городка:

Солнце льется, сердце бьется,  
И отратно дышит грудь.  
Над волнами вместе с нами  
Птица-песня держит путь.

И случалось, какая-нибудь гражданка из вольнонаемных, навестить жениха или сына приехавшая иль из Бердска зачем

прибредшая, приостанавливалась, приоткрыв рот, слушала эту неожиданную, вроде бы для времени и места непригодную песню. Бабенко, выпятив грудь, изливался громче того, и рубил, рубил строй первой роты скособоченными ботинками мерзлую сибирскую землю, долбил звучными каблуками территорию запасного стрелкового полка.

Но утром, сумеречным, серым, когда казалось, что вечно так и будет, никогда уж и не рассветет, насупленно-строгий строй, покачивая винтовки и макеты на плечах, выбрасывая клубы пара из кашляющих, хрипящих ртов, топал за лес, в поля, занесенные, заснеженные, истолченные ногами солдат, — утром «птица-песня» не годилась. Гриша Хохлак, прибывший в полк из-под Ишима, почти не имеющий голоса, но хорошо чувствующий ритм шага, речитативом начинал подходящее:

Мы идем за великую родину  
Нашим братьям по классу помочь.  
Каждый шаг, нашей армией пройденный,  
Прогоняет зловещую ночь.

И недружным пока, но все же спетым, слаженным за прошедшее время хором первая рота подхватывала:

Украина золотая, Белоруссия родная,  
Наше счастье на грани-ице  
Мы штыками, штыками оградим!

Младший лейтенант Щусь, чеканя вместе с ротой шаг, в лад ей, в ногу подпевал, поддакивал, бодрости поддавал:

— И-ы ррыс-два! Р-ррыс-два! Ррррыс-два-трри-четыре-ре! Ррррыс!  
Ррррыс!

Щусь был все-таки прирожденным талантом, на постылых занятиях ему удавалось расшевелить, даже увлечь этих ко всему уже, кроме еды и спанья, равнодушных людей, за короткий срок превратившихся в полубольных, согбенных старичков с потухшими глазами, хрипящим от простуды дыханием, все гуще по лицу

обрастающих пухом, все тупее воспринимающих окружающую действительность.

Младший лейтенант сам показывал пример лихости, ловкости на занятиях, лазал по лестницам, прыгал через барьеры, понимая, однако, пусть и по короткому участию в боях да по рассказам фронтовиков, что едва ли все это ребятам пригодится на войне, но так она, милая, разнообразна, что, может, чего и пригодится. Свалка первых дней войны, когда отбивались кто как, кто чем, все же кончилась. Война обретает контуры той войны, какая может быть только в двадцатом веке, война техники, артиллерии, авиации, танков, реактивных установок. Едва ли штык-молодец понадобится, но чем черт не шутит. Главное, чтоб парнишки эти совсем не пали духом. И пороли бойцы первой роты, потрошили чучела, набитые соломой, ходили друг на друга и на младшего лейтенанта «в штыковую», делали выпады, отбивали штык прикладом, «поражали противника» ударом в грудь, прикладом били по его башке, набитой, по заверениям капитана Мельникова, идеями мирового господства, слепого поклонения фюреру, жадностью до русского сала и до невинных советских женщин.

За время службы совсем дошел, отупел от постоянной муштры, от недоеданий Коля Рындин. Поначалу такой бойкий на язык, смекалистый в хозяйственных и боевых делах, он замкнулся, умолк, смотрел исхлестанными снегом и ветром глазами, все время подернутыми слезью, сочащейся по щекам и оставляющей на них белые соленые следы, смотрел куда-то поверх голов и сосен, за казармы, за армию, шевелящуюся внизу, на земле. Был он уже ближе к небу, чем к земле, постоянно пляшущие ссохшиеся его губы шептали «божественное» — никто уж ничего не мог с ним сделать, даже индивидуальные беседы капитана Мельникова не оказывали никакого воздействия. Слова о том, что все эти молитвы, обращенные к Богу, есть кликушество и мракобесие, что только научный коммунизм и вера во всемогущество товарища Сталина могут спасти страну и народ, вбивали Колю Рындина в еще большее опустошение, в бесчувственность. Он согласно кивал головой товарищу капитану, поддакивал, но слова Мельникова — не его собственные слова, казенные слова, засаленные, пустопорожние, в уставе и в газетах вычитанные, — не достигали сознания красноармейца. Поначалу

споривший с многоумным человеком, обвинявшим старообрядца в отсталости, толковавший капитану о том, что старая вера есть истинная вера, все остальное — бесовское наваждение, что лишь там, в лесу, сохранились еще истину знающие, ход жизни и небесных сил ведающие чистые люди, что сам он и его семья, как и многие старообрядческие семьи, давно вышедшие с Амыла, Казыра, Большого и Малого Абакана да и с других таежных рек и спустившиеся с гор, обмирщились, записавшись в колхоз, соединясь с деревенскими пролетарьями, вовсе испоганились, но даже в сношении с самим дьяволом они не вовсе еще погрязли в грехах, многие, многие в миру дьявола в себя запустили, до безверья дойдя, сами себе подписали приговор на вечные муки, и вот глядите, чем это кончилось, иначе и не могло кончиться, — страшной казармой, озверением, — ныне он вот, Коля Рындин, и пытается вспоминать, Бога попросить о милости к служивым, но Тот не допускает его молитву до высоты небесной, карает его вместе со всеми ребятами невиданной карой, голодью, вшами, скопищем людей, превращенных в животных. Так это еще не все. Не все. На этом Он, Милостивец, не остановится, как совершенно верно сказано в Божьем Писании, бросит еще всех в геенну огненную, и комиссаров не забудет, их-то, главных смутителей-безбожников, пожалуй что, погонит в ад первой колонной, первым строем, сымет с их красные галифе да накаленными прутьями пороть по жопе примется. И поделом, и поделом — не колебайте воздуху, не сбивайте народ с панталыку, не поганьте веру и чистое имя Господне.

Упершись в несокрушимую стену, встретив впервые такие бесстрашные убеждения, понял замполит, что всего его марксистского образования, атеистического лепету, всей силы не хватит переубедить одного красноармейца Рындина, не может он повернуть его лицом к коммунистическим идеалам. Что же тогда думать про весь народ, на его упования, а все кругом одно и то же, одно и то же: партия — Сталин — партия...

— Не распространяйте хотя бы своего темного заблуждения на товарищей своих, не толкуйте им о своем Боге. Это, уверяю вас, глубокое и вредное заблуждение. Бога нет.

— А што есть-то, товарищ капитан?

— Н-ну, первичность сознания, материя...

— Ученье — свет, неученье — тьма.

— Во-во, совершенно правильно!

— У меня вот баушка Секлетинья неученая, но никогда не брала чужого, не обманывала никого, не врала никому, всем помогала, знала много молитв и древних стихир, дак вот ей бы комиссаром-то, духовником-то быть, а не вам. Знаете, какую стихирю она часто повторяла?

— Какую же? Любопытно, любопытно, — снисходительно улыбался капитан Мельников.

— Я точно-то не помню, вертоголовый был, худо молился, вот и не могу теперь отмолиться... А стихира та будто бы занесена в Сибирь на древних складнях оконниками.

— Это еще что такое?

— Оконники молились природе. Придут в леса, построят избу, прорубят оконце на восход и на закат солнца, молятся светилу, звезде, дереву, зверю, птице малой. Икон оне с собой из Расеи не приносили, только складни со стихирами. И на одной стихире, баушка Секлетинья сказывала, писано было, что все, кто сеет на земле смуту, войны и братоубийство, будут Богом прокляты и убиты.

— Какая ерунда! — заламывал руки отчаявшийся комиссар. — Кака-а-ая отсталость, Господи!

— Вот и вы Господа все поминаете, не веря в Него, — это есть самый тяжкий грех, Господь вас накажет за пустословие, за обман.

Капитан Мельников удрученно молчал, щелкая пальцами, перебирал руками шапку и утратившим большевистскую страсть, угасшим голосом увещевал:

— Еще раз прошу: вы хоть среди бойцов не распространяйтесь. Вас ведь могут привлечь за антипартийную пропаганду к ответственности. Обещаете?

— Ладно. Только против Бога никто не устоит. Вы тоже. Мне вас жалко, заблудший вы человек, хотя по сердцу навроде бы добрый. Вам бы в церкву сходить, отмолить бы себя...

— Я вас прошу...

— Ладно, ладно. Обещшаю.

Коля Рындин и не агитировал. Он долгое время рассказывал о том, как ездил с баушкой Секлетиньей из Верхнего Кужебара в Нижний Кужебар к тетке в гости. Теткин муж на Сретенье как раз свинью заколол, и тетка нажарила картошки со свежей убоиной в



семейной сковородище. Мужики пиво домашнее пили, потом на вино перешли, капустой, огурцами, груздями и рыбой закусывали. Коля допхался до картошки со свежатиной и налопался же-е! Но сковородища что ушат, Коля в силу и тело еще не вошел, жаренину не одолел, съел картошек всего с половину сковороды и шибко страдал ныне: почему он не доел жареную картошку, со дна и по бокам сковороды запекшуюся, хрустящую, нежным жиром пропитавшуюся? Зачем, зачем вот он ее, картошку-то, дурак такой, тогда оставил?

Колю просили замолчать, даже пробовали достать в потемках. Но Коля Рындин изо дня в день, из вечера в вечер повторял и повторял рассказ о жареной картошке. Слушая его, и другие бойцы вспоминали о еде: как, чего, когда и где они ели. Жизнь этих людей в большинстве была убога, унижительна, нища, состояла из стояния в очередях, получения пайков, талонов да еще из борьбы за урожай, который тут же изымался в пользу общества. Поведать о чем-то занятном, редкостном ребята не могли, выдумывать не умели, поэтому просили Васконяна рассказать о его роскошной жизни, и он охотно повествовал о себе, о еде, какую имел: «Кекс и пастивка, тогт «Наполеон», кагтофель фги, гыба с польским соусом, шашвык с подпочечной баганиной...»

Ребята о таких яствах и не слышали, однако последнее время Коля Рындин не повествовал больше про жареную картошку, и Васконян засыпал на полуслове. Коля Рындин плачет ночами, громко втягивая казарменный тухлый воздух носищем, ежится от страха надвигающейся беды. Соседи по нарам, слыша тот плач угасающего богатыря, утыкались в шинели, грызли сукно. Васконян иной раз двигался ближе к Коле, нашаривал его в потемках рукой, гладил по шинели:

— Не свабейте духом, Никовай, не пвачьте, все гавно ского все довжно пегемениться.

— Я ведь бригадиром был, Ашотик, а теперь че? — гудел в ответ Коля Рындин. — Смеются все. Комедь имя.

— И надо мной смеются. Что же девать? Может, им утешенье? Может, облегченье?

— Людей мучать утешенье? Господь не велел ближних мучать.

— Что ж Господь? Не пгисутствует Он здесь. Пгоклятое, поганое место. И Попцова пгостить не может.

— Да, ужо нам.

С особенным удовольствием ближние потешались над Васконяном и Колей Рындиным на полевых занятиях, отчего старообрядец путался еще больше, не мог исполнить точно повороты направо и налево. Ему кричали: «Сено-солома!» С сеном-соломой старообрядец разбирался скорее, команды воспринимал доходчивей. Еще большее удовольствие ребята получали, когда младший лейтенант Щусь учил Колю Рындина встречному штыковому бою.

— Товарищ боец! Перед тобой враг, фашист, понятно? — Щусь показывал на себя. Коля Рындин, открыв рот, растерянно внимал. — Фашист идет в атаку. Если ты его не убьешь, он убьет тебя. Н-ну!

Младший лейтенант, ловко перехватив винтовку, пер на Колю Рындина. Шумно дыша, раздувая ноздри, Коля Рындин несмело двигался на командира с макетом винтовки, в его руках выглядевшей лучинкой. Шаг красноармейца замедлялся, бесстрашие слабело, он останавливался, в бессилии опускал свою винтовку.

— Коли фашиста, кому говорю!

— Да што ты, товарищ младший лейтенант? Какой ты фашист? Господь с тобою. Я жа вижу, свой ты, русской, советской афыцер.

«Постой-постой, товарищ, винтовку опусти, ты не врага встречаешь, а друга встретил ты», — припоминал кто-то из веселых изгальников стих из школьного учебника.

Щусь в бешенстве отбрасывал винтовку, ругался, плевался, кривил губы, пытался разозлить Колю Рындина, но тот никак не мог поднять в себе злобы, и, глядя на совсем обессилевшего, истощавшего великана, командир уныло говорил:

— Тебя же вместе с твоими святыми в первом бою прикончат.

— На все воля Божья.

— Ладно. Отправляйся в казарму, — махал рукой Щусь. Перехватив взгляд Петьки Мусикова, живо говорящий: а я что, рыжий, что ли?... — отпускал и его да и Васконяна заодно, поясняя бойцам свою слабость, чтобы строй не портили: — Перехватят у штаба, сами знаете...

Да, знали, все бойцы первой роты знали: не раз уж их застопоривали какие-то чины — что за строй? Что за чучела волокутся в хвосте войска? В боевом подразделении Советской Армии разве допустимо такое? И непременно заставляли маршировать допоздна,

добиваясь единства шага, монолитности строя. Ругались же потом изнуренные, перемерзшие парни, кляли навязавшихся на первую роту орясин, начинали их поталкивать, кулаками тыкать в спину. Стоило Коле Рындиному тряхнуть — и, считай, полторы этой мелкоты сшиб бы, но он покорно гнулся под тычками. Булдакова бы вон, филона, ширяли, так тот сам кого угодно зашибет либо толкнет так, что весь строй с ног повалится.

И все же завидовали полноценные бойцы доходягам, когда тех отпускали с занятий, по-черному, злобно завидовали, зная, что в казарме они не усидят, что тот же Булдаков начнет смекать насчет провианта. Коля Рындин и Ашот Васконян на стройке стружек и щепок соберут, печку растопят, картошки напекут, может, и супец спроворят. Булдаков по добыче провианта такой дока, что даже крупы на кашу упрет, не обсечется.

В казарме свои порядки, свои занятия. Забрав тех бойцов, которые могли еще что-то таскать, катать, долбить и мыть, старшина Шпатор со словами: «Вы, симулянты проклятые, до скончания дней меня помнить будете, памаш!» — уводил их за собой, в загривок толкал, заставляя заниматься хозделами, прибираться в казарме, топить печи, носить воду, пилить и колоть дрова, ходить куда-то и зачем-то. Но самое проклятое во все века во всех армиях мира — чистить вечно ломающееся, моментом стареющее заведение под благозвучным названием отхожее место, нужник, давно, однако, на Руси великой презрительно и непринужденно именуемое сортиром. Да иногo-то названия наши столь необходимые людям отечественные сооружения и не заслужили.

Сортиры двадцать первого полка задуманы и попервоначально строены были добротнo, с уважением к архитектуре. Из досок, внахлест набитых, с односкатной тесовой крышей, чтоб клиента не поддувало с боков, не вьюжило снизу, не мочило сверху. Внутри все тоже тонко продумано: длинный постамент из крепких плах, на нем сотами в ряд круглые дырки, довольно обширные, чтоб и при шаткости не мазал стрелок, палил в самое очко. Перед постаментом против большой дырки в полу прорублены малые, продолговатые, на полураскрытые раковины похожие и чего-то еще служивому напоминающие. Сиди, с вожделением отгадывай: чего? Плюнуть

вздумаешь — плюй, брызнешь далеко или криво — все стечет в дырку, лишь разводы соленой воды наверху заплесневеют.

Очень любили служивые те полумрачные, мочой пропахшие, ветром не продуваемые, дождем не проливаемые помещения, засиживались в их уединенной уютности, вспоминая дом, родителей, деревенские вечерки, думали о всяких разных житейских разностях. Так и говорили, перед тем как отправиться на опушку леса в дощатое строение с тамбуром, с одним входом и выходом, с одной-единственной буквой «М», раскоряченно углем начерченной, потому как в другой букве надобности не было: «Пойду, подумаю».

Как изменилась, как посуровела жизнь! Вместо добротного срубленного, рассудительно излаженного помещения торчат колья вразбежку — гуляй, ветер, свисти в щели, коробь голос, беззащитное тело служивого сибирская лютая зима. Снег, мерзлая крупа, обломки сучьев, хоть камни на него вались — никакой тебе защиты, никакого уюта, одно небо со звездами прикрытие. Ни дверей, ни тамбура, сколочено из жердочек подобие загона, вместо устойчиво-усидчивого трона четыре жерди со щелью посередке, того и гляди скатишься с них, рухнешь в щель, а то и глубже, завязишь ботинок, прищипнешь ногу в сучковатом стройматериале, да еще и покалечишься. В таком заведении уж не подремлешь, не повспоминаешь свою прошлую жизнь, не понаслаждаешься свободой, да служивые и не доносили до этого жалкого сооружения добро, сами же потом долбили, лопатами скребли вокруг, поперебор ругаясь, обещая переломать шеи и ребра тем, кого застигнут на непотребном месте при непотребных действиях.

Старшина Шпатор вовсе с круга сошел, почти умом повредился из-за нужного заведения, потому как колья, чуть обветренные, подсохшие, с отхожего места постоянно расхищались на топливо. В казармах это дело пресекалось, там сразу дневальные к допросу: «Где грабанили сухие жерди?» В казарме-то можно допрос учинить, расправу содеять. А офицерские землянки? А вспомогательные службы? Какая на них управа? Дневальные там страшно наглые оттого, что угодили на теплую службу. Старшина Шпатор наказывал:

— Ребята, хоть кого поймаете, пусть даже унтера, — этими же жердями бейте, чтобы воровать неповадно было, памаш...

— А афицера?

— Чего афицера? Афицер в наш туалет никогда не пойдет. Если уж край приспичит — тут сознавать ситуацию надобно.

И ловили, и били — ничего не помогало! Стояло на опушке из колышков сотворенное, всеми презренное, со всех сторон ветрами пробиваемое, с воронкой посередке будто от прямого попадания авиабомбы, само себя стесняющееся помещение. Разгильдяи, воры, проныры, нарушители военного устава, получившие наряды вне очереди, ежедневно ремонтировали, подновляли обитель на опушке леса, вбивая в снег и в землю новые колья, связывали их проволокой, потому как гвозди в мерзлое дерево не шли, — все одно лиходеи не унимались, выворачивали колья вместе с проволокой.

Даже такой льготы, даже такой роскоши, как путный туалет, лишены были красноармейцы сорок второго года.

Помкомвзвода Яшкин собирал вокруг себя на занятия больных бойцов, способных сидеть и двигаться, делая исключение лишь тем, кто маялся гемералопией и у кого был постельный режим. Доподлинно больные и неистребимые хитрованы блаженствовали на третьем ярусе нар под потолком до тех пор, пока не возвращалась в казарму рота, — скорее тогда долой сверху, иначе сбросят без разговоров озверевшие на морозе бойцы, страдающие из-за своей полноценности.

Яшкин подробно изучал с доходным контингентом русскую винтовку Мосина образца 1891/1930 года, все ее внутренности и внешние особенности, но самое пристальное внимание уделял затвору.

Еще в школах, в военных кружках при сельских и рабочих клубах парни, изучавшие эту самую винтовку, бойко сперва разбирали и винтовку, и затвор, без ошибок называли все эти упоры, отсечки, отверстия, ушки, щели, пазы, каналы, скосы, выемы, отражательные выступы и даже отсекающий зуб. Толково объясняли назначение всех деталей, но спустя время начали путаться и теперь вот, по истечении двух месяцев службы, ничего уже ни разобрать, ни собрать не могли.

Потая от внутренней нервности, укрощая свое изношенное сердце, помкомвзвода терпеливо пояснял ко всему равнодушным людям военные премудрости, делая намеки, стуча по своим частям тела.

— Ну что это, что? — теребил себя за ширинку Яшкин И, не дождавшись ответа, выстанывал: — Да это ж спусковой механизм,

спуско-вой ме-ха-низм!.. Понятно?

— Я-а-а-а, — сонное и вялое слышалось в ответ одобрение.

— А вот это? — стучал себя по губам ладонью командир.

— Едало.

— Еда-алоооо! — злился Яшкин. — У кого едало, а у нас...

Шептало это. Шептало!

— Я-а-а-а, — выдавливали в ответ подчиненные, про себя думая, однако, что уж шептало-то к визгливому помкомвзвода никакого отношения не имеет.

Яшкин вешал на шею чью-то обмотку, вязал ее на груди узлом, ему тут же выдавали радостный ответ:

— Удавка!

— Жопа ты с ручкой, — ругался Яшкин. — Хому-утик! Запомнили? А ну повторите — хому-утик. Прицельный.

Старший сержант, еще месяц назад думавший, что его дурачат, издеваются над ним, с удручением смотрел теперь на этих действительно больных людей. Мокрые, пушком обросшие губы у всех отвисли, глаза склеиваются, ни думать, ни соображать не могут, дремота и слабость долят их в сон. Затвор со всеми этими стеблями, гребнями, личинками, каналами, венчиками, лопастями и пружинками да вилками кажется ребятам такой непостижимой технической премудростью, что они и не пытаются его постичь, вознестись на недостигаемые умственные высоты.

— Не спать! Не спа-ать! Я вас, блядство, все одно научу владеть оружием! Не спа-ать!

Вверху совсем дохлые, но зла не утратившие доходяги, от забитости и презрения к ним всей казармы много в себе мстительной пакости скопившие, выбирают самых крупных вшей из гимнастерок, из кальсон, кидают их вниз на командира Яшкина, на ребят, старательно постигающих военную технику.

Мысль не просыпалась. Яшкин переходил к прямым действиям: завезя по спине ближнему доходяге и доставая его, сшибленного, из-под нар, он свистящим уже шепотом выдавал:

— Понял, что такое ударник? Понял? А еще есть боек! Есть боевая пружина! Кому наглядно пояснить, что это такое? — Помкомвзвода сгребал доходяг к дощатому столу, на котором разложен, будто труп в анатомичке, железный затвор русской

винтовки. — Когда я сдохну, — на пределе дребезжал голос Яшкина, — или вы сами все передохнете? Я же вас когда-то перебью!.. Спят, курвы! Встать! Командир обращается к ним как к людям, а они жопы отвесили, губы расквасили! Че? Стоя спите? Н-ну блядство, н-ну бы-ляд-ство! — Задохнувшись от бешенства, помкомвзвода быстро собирал затвор, остервенело совал его в пазуху винтовки, свирепо тыкал ею в слушателей. — У-ух! Мне б сейчас обойму. Хоть одну! — И, водворив винтовку на место в пирамиду, бегом бросался в каптерку старшины Шпатора.

В зеленой пол-литре была у него настояна трава тысячелистника с подорожником — от печени и желудка. Яшкин отпивал из горла глоток-другой, валился за железную печку, где на неструганных досках было свито у него гнездо с коротким, почти детским одеялом, со старыми валенками в головах, накрытыми вещмешком, обернутым лоскутом новых портянок.

Отдыхивается, приходит в себя командир. Перекипев маленько, продолжает боевую работу, гоняя вокруг казармы запыхавшихся доходяг, имеющих нахальство не слушать ничего на занятиях, сам задохнувшийся, дрожит, грозитя:

— Спать приехали? Спать? Я вас научу родину любить!..

Парни чувствуют: старший сержант остыл, отошел, сочувствует им, жалеет их, виноватым себя ощущает, грозитя уж по привычке, просто для страху.

— Не-э-э-э!

— Чего — не? Чего — не-э-э-э? Четко, как положено в армии, отвечайте!

— Не будем больше спать на занятиях.

— Вот это другой разговор. А ну би-их-хом в казарму! И шевелить, шевелить у меня мозгами. Тяжело в ученье, лехко в бою, Суворов говорил...

Кто такой Суворов, бойцы эти тоже позабыли, думали, какой-нибудь комиссар важный из Новосибирска или из штаба полка.

К ночи боль становилась слышней. Старшина Шпатор мазал Яшкину бок мурашиным спиртом, делал теплый компресс, боль чуть унималась, но спать Яшкин не мог, однако старался не стонать, не ворочаться, чтобы не тревожить умотавшегося за день старика.

Жизнь Володи Яшкина, названного вечными пионерами-родителями в честь Ленина, была не длинна еще, но и не коротка уже, если учесть тяжкие дни боев под Смоленском и отступления к Москве, бедствия окружения под Вязьмой, ранение и кошмарное время в каком-то лагере окруженцев вместе с сотнями, может, тысячами раненых, больных, деморализованных отступлением и голодом людей, их перевозку через фронт сперва в полевой, затем в эвакогоспиталь в Коломну — выйдет жизнь совсем длинная, перенасыщенная горечью и страданием.

Его и в госпитале, и по-за госпиталем, и здесь в полку расспрашивали, как он там, немец-фашист, силен? Или, как в нашем кино показывают, труслив, безмозгл и жаден до русских яек-курок? Яшкину и рассказать нечего. Ни одного немца, ни живого, ни мертвого, он в сражении, по существу, и в глаза не видел, потому как и не было его, сражения-то.

Под Смоленском свежие части, опоздавшие к боям за город, смела лавина отступавших войск. Она, эта лавина, вовлекла их в бессмысленное, паническое движение. В первый день Яшкин еще думал: «Зачем же так-то? Ведь если б все это войско остановилось, уперлось, так, может, противника бы и остановили». Но единственное, редкое, почти не употребляемое в мирной жизни, роковое слово «окружение» правило несметными табунами людей, бегущих, бредущих, ползущих куда-то без всяких приказов, правил, по одному лишь ориентиру — на восход солнца, на восток, к своим. Лавина, будто речка среднерусских земель в половодье, увеличивалась, полнела, ширилась, хотя ее и бомбили с воздуха непрерывно, сгоняли с больших дорог снарядами, минами, танками в какие-то неезжалые, непролазные овражистые места, но и там доставали с воздуха и с земли.

В первые дни артиллерия еще пробовала отстреливаться, била куда-то отчаянно и обреченно. На артиллерийские позиции тут же коршуньем набрасывались самолеты с выпущенными лапами, летели вверх земля, железо, клочья какие-то. Пробовали закрепиться на слабо, наспех кем-то подготовленных оборонительных рубежах, но тут же настигало людей это проклятое слово «окружение» — и они снова кучами, толпами, табунами и россыпью бежали, спешили неизвестно куда, к кому и зачем.



Сухой, слабосильный, с детства заморенный кочующими по ударным стройкам страны в поисках фарта, жаждущими трудовых подвигов родителями, Яшкин не так уж остро страдал от бескормицы и без воды. Съест картоху-другую, попьет раз в день из колодца или из лужи — и готов к дальнейшей борьбе за жизнь, но сон, сон, права детская загадка, сильнее всего он на свете. От недосыпа, нервности, постоянного напряжения слабела воля, угасал дух, притупилось чувство опасности и страха. Когда его, лежащего в канаве, оплеснуло придорожной грязью, ослепило огнем, задушило дымом, который ему увиделся вовсе и не дымом, а сизой поволокой, сально, непродыхаемо засаживающей горло и нос, он еще до того, как почувствовал боль в боку и ощутил ток горячей крови, слабо и согласно всхлипнул: «Ну вот и я...»

Очнулся он в повозке. Нечесаная, грязная, с санитарной сумкой, болтающейся под грудью, девушка, держась за повозку, волоклась куда-то. Конь, запряженный в повозку, часто останавливался, пробовал губами выдрать из земли смятые, грязные растения, жевал их вместе с кореньями, иной раз, старчески согнув ноги, закинув хомут до загорбка, почти задушенный, пил из лужи. Девушка разговаривала с конем, о чем-то его просила. С ранеными она сперва тоже разговаривала, потом плакала, потом кричала: «Навязались на мою голову!»

Однажды ночью кто-то выкинул Яшкина из повозки и занял его место. Так распорядился Бог, по разумению Коли Рындина, — Он, Он, Милостивец, отпустил ему еще какой-то срок жизни, Он удалил его из повозки, сколоченной на манер гроба. Он видел, как той же ночью в преисподней, освещенной грохочущим огнем с земли, фонарями с неба, метались очумелые люди, летели колеса, щепки от повозок, бились сваленные наземь лошади, раскидывая землю копытами, ринувшиеся в прорыв бойцы с оружием в руках, но больше без оружия, стаптывали вопящих раненых, молча вырывались от тех, кто хватался за ноги, за полы шинелей, за обмотки. Девушка, оставшаяся в горящем селе вместе с ранеными, кричала сорванно, почти безумно: «Я с вами, с вами, миленькие!..» Потом появилась еще девушка, бросилась на шею подруге: «Фа-а-айка! Фа-аечка! Что там делается! Что там!.. Я с тобой буду, я с тобой!..»

Сколько их, брошенных, лежало на соломе в сарае и по уцелевшим избам деревушки, Яшкин, впадавший во все более глубокое забытие, не знал. Кажется, тогда вот сквозь тот сизый, сальный, все больше, все сильнее удушающий туман видел он немца, единственного, — немец стоял в дверях открытой избы и о чем-то разговаривал с хозяйкой, затем ушел и увел с собой санитарок Фаю и Нелю. Думали, на расстрел. Но девушки вернулись со свертками, принесли хлеба, соли, сала, полную сумку бинтов, ваты, флягу спирта и флакон йода.

Этот немец был, видать, из полевых, окопных, уже познавших, что такое страдание, боль, что такое доля солдатская. Его тоже потом чохом зачислят в прирожденные злодеи, смешают, спутают с фашистскими карателями, эсэсовцами, разными тыловыми костоломами, абверами, херабверами, как наши энкаведешники, смершевцы, трибунальщики — вся эта шушваль, угревшаяся за фронтом, ошивавшаяся в безопасной, сытой неблизости от него, окрестит себя со временем в самых резвых вояк, в самых справедливых на свете благодетелей, ототрут они локтями в конец очередей, а то и вовсе вон из очереди выгонят, оберут, объедят доподлинных страдальцев-фронтовиков.

Когда и как прорвались наши войска, вывезли раненых, выручили бедных девчонок, Яшкин уже не помнил. Ныне он чувствовал: скоро, совсем скоро предстоит ему снова туда, в пекло. И он не то чтобы боялся этого пекла, он примирился с судьбой, понимая всю неизбежность с ним происходящего — ему не словчить, не зацепиться по состоянию здоровья в тылу. С его прямотой в отношениях с людьми, неуживчивым характером, при полном неумении подхалимничать, пресмыкаться самое подходящее ему место там, на передовой, где все же есть справедливость, пусть одна — разьединственная, но уж зато самая высшая справедливость, — равенство перед смертью.

Кроме того, там, на передовой, все мирные, домашние хвори куда-то деваются или на время утихают. Может, на фронте перестанет ныть в боку, давить тошнотной мутью, оплетать зев горечью эта клятая печень, о которой до войны Яшкин не знал, где она находится, и даже не подозревал, что она у него есть.

## Глава седьмая

И вот этот тягучий, изморный ход армейской жизни встряхнули три больших, можно сказать, невероятных события. Произошли они почти все подряд.

Сперва в двадцать первый стрелковый полк приехал какой-то командующий, может, и Сибирского военного округа, — кто до служивых снизойдет, скажет об этом? Все, начиная от старослужащих солдат и кончая строевыми командирами, говорили: «Ну теперь наведут порядок! Дадут жару!»

Жару-то генерал и в самом деле дал, хотя был немолодым он, но все еще очень бодрым. Коренастый, телом справный, как и полагается генералу, чуть кривоногий, на ходу скорый, в подпоясанном бушлате, в шапке-ушанке, он влетел в столовую в сопровождении всего лишь единственного чина неопределенных родов войск, вынул из-за голенища разрисованную бордовыми, золотистыми цветочками новую ложку, взятую, видать, по экстренному случаю со склада или в магазине, и пошел от стола к столу, запуская ту нарядную ложку в тазы с похлебкой, ворочал ею, взбаламучивая, поднимая со дна гущину, главное содержимое солдатского хлеба. По тазу вместе с белыми семечками жабами всплывали зеленые разопрелые помидоры, ошметки капусты, в слизь разварившиеся, мясные иль какие-то другие жилы и белесая муть картошки. Никому ничего проверяющий не говорил, поворошив в тазу, кивал головой, мол, действуйте, товарищи, и следовал дальше. На середине просторного помещения, на пересечении главных путей от раздаточных окон-бойниц к столам, он приостановился, заинтересовавшись, отчего это дежурные по столам мчатся с тазом стремглав, закусив губу, поохивая, постанывая, и навстречу им так же стремительно бросаются два или три красноармейца с протянутыми мисками, подставляют их под таз, бережно, нога в ногу с разносчиками шагают к столу.

Сметливый человек, приезжий генерал усек и разгадал-таки происходящее: у всех почти тазов, слепленных малолетними жестянщиками ремесленных училищ, снялись заклепки и отвалились ручки, вот дежурные и зажимали дырки по ту и другую сторону таза

голыми руками, сохраняя до капельки продукт питания, взятый с бою у раздаточного окна. Живыми телами, можно сказать, закрывали бойцы амбразуры, похлебка сочилась по ладони, сквозь пальцы, отчего и бежали бойцы с чашками навстречу, чтоб ничего из них не вылилось, не пропало понапрасну. Достигнув стола, плюхнув таз на доску столешницы, дежурные по столу трясли ошпаренными руками, дули на пальцы.

Отметив эту стойкость и самоотверженность, генерал все стремительней шел от стола к столу, накалялся лицом, сжимал ложку в кулаке так, что нарядная та ложка вот-вот должна была треснуть и переломиться. Нос генерала по-звериному завалисто работал ноздрями, красно их вывертывал, ноги подогнулись в коленях, словно у хищника перед броском. Генерал рвался к какой-то цели.

Народ в столовой перестал хлебать, брякать железом, буркотить, молотить языками, видя, как генерал, раскаленный до последнего градуса, направился в кухню, где спросил старшего. Вперед выступил наряженный в чистую куртку и в белый колпак мужик с толстой шеей, должно быть, старший по кухне, начал чего-то докладывать.

— Солдат обворовывать? — резко прервал докладчика генерал.

Старшой продолжал что-то говорить, показывая на котлы, на дрова, на людей, и ляпнул, видать, лишнее или чего-то невпопад, генерал схватил ведро и звонко зазвездил по башке собеседника. Он, пожалуй что, всю кухонную челядь перебил бы ведром, но сломалась дужка ведра, и улетела посудина куда-то, генерал сжимал и разжимал руку в поисках какого-либо убойного предмета. Персонал кухни, заметив, что генерал воззрился на железную клюку, на всякий случай сгруппировался возле двери, готовый драпануть в случае чего. В переполненный зал столовой набралось, набилось народу дивно, вторая очередь подперла первую — отобедавший народ не уходил, ожидая дальнейших событий. Но генерал, к великому сожалению, уже остыл, чего-то пеняя кухонным дебрям, расступающимся перед ним и рассеивающимся по недрам кухни, пошел вон. Говорили потом, что в подсобке столовой начальник принимал лекарство, запивая его из фляжки.

— Водкой лекарство запивает! Во лихой вояка!

— Ага, разбежался, будет тебе такой чин с горькой вонючкой знаться!

— Коньяк! — оспорил простака Булдаков, большой знаток напитков и жизни, сразу все служивые заткнулись, они не знали, что такое коньяк, но уважали незнакомое слово.

Совсем недолго пробыл в подсобке генерал. Вернувшись в столовую, он вышел на середину зала, дождался затишья.

— Все!.. — Генерал, сделав паузу, подышал. — Все безобразия исправим. Питание постараемся улучшить насколько это возможно. Только служите ладом, ребяташки, на позиции ведь готовитесь, врага бить, так не слабейте духом и телом, слушайте командиров. Плохое обращение будет — жалуйтесь... — Генерал еще подышал и добавил: — В военный округ, по инстанциям, ребяташки, по инстанциям... Иначе нельзя! Иначе порядок совсем нарушится.

Народ был разочарован и речью, и визитом генерала. Разве это нагоняй! Да эти мордороты-тыловики отряхнутся и по новой жировать начнут.

Служивые гадали потом, куда девалась знаменитая генеральская ложка. С кухонной челядью что они хотели теперь, то и делали, дразнили ее, обзывая ведерком битыми, помоями мытыми, коли попадало совсем жидко в таз, грозились писать самому генералу. Дело кончилось тем, что дежурным и доходягам работники кухни перестали давать добавку. На виду у алчущих добавки масс, толпящихся у раздаточного окна, как у царских врат иль «жадною толпою у трона», выскребут остатки картох из баков, вычерпают самые жоркие одонки похлебки и хлесь это добро в отходы для свиней. Не у раздаточных окон, на помойках, возле служебного входа толпились теперь из казарм ушедшие доходяги с консервными баночками в руках, чтоб наброситься на свиньям предназначенные отбросы. Битые генералом, развенчанные толпой, кухонные деятели глумились над ними: «Благодарите товаришше своих за услугу...»

А уж в раздаточное окно сытые эти мордороты бросали тазы с хлебом, кашей, будто снаряды в казенник орудия, норовя хоть немножко да расплескать бесценного продукта, не воспринимали никаких замечаний. «Талончик, талончик! — кричали да еще добавляли хари бесстыжие; — Пошевеливайся, служивые, пошевеливайся!..»

Талончики введены были один на роту, на талончике означено время приема пищи, номера столов, слова на талончике напечатаны: «Просим посетить пищеблок номер один» — знай, курвы тыловики, наших, выучил вас товарищ генерал вежливости! Талончики поменьше размером, уже безо всяких приветственных слов, выдавались на десяток — по ним-то и получали дежурные варево-парево — сунешь в окошко прожженному выжиге с наеденной ряшкой талончик, он тебе хрясь таз с едой. Забушует дежурный, покажется ему мало содержимого в тазу, пойдет вояка грудью на широкую амбразуру раздаточного окна, а ему вежливо так, с улыбочкой — извольте пожаловать к контрольным весам. Взвешивают таз с харчем, двигая скользкий балансир по стальной полосе с цифрами, — всегда чика в чику! Подделали, конечно, весы-то, кирпич либо железяку споднизу подвесили, высказывается всеобщее сомнение, — уязвленный в самое свое честное сердце кухонный персонал предлагает обратиться представителям стола к контролеру, назначаемому ежедневно теперь на кухню из офицерского состава, либо писать жалобу самому командующему Сибирским военным округом.

Да разве правду найдешь, отстоишь в этакой крепко повязанной банде?

Пока дежурный мытарится, таскаясь с тазом по столовой, по кухне, пока добьется этой самой злосчастной правды, о которой грамотей Васконян баял, что ее не только на земле нету, но и выше она не ночевала, каша или драчена в тазу остынет, поубудет супу — самый пользительный слой утечет в дырки оторванных ручек, и выходит себе дороже сражение с кухней за эту самую правду. Всем ясно, что ручки тазов специально оторваны кухонной ордой, чтобы жглось и лилось, чтобы не задерживались дежурные у раздаточного окна, не заглядывали в недра кухни, пытаясь узреть, чего там и как. Офицер же, дежуривший сегодня по пищеблоку номер один, конечно, подкупленный, с утра накормлен от пуза картошкой, кашей, в которую линули не лярду сраного, а скоромного масла без всякой нормы, чаю с сахарком ему в стаканчике поднесли, сухариков на тарелочке. И что? Будет он после такого ублажения стоять за солдатскую правду? Проверять закладку? Раскладку? Весы? Бабушке Николая Евдокимовича Рындина, Секлетинье Христофоровне, это лучше расскажите, но не тертым воякам. Знают они здешние порядки!

Через неделю никто уж никакого недоверия кухне не выражал, с тазами к весам не бегал, роптали вояки в своем кругу, терпя и стойко смирясь с судьбой. Да и порядку в столовой все-таки стало заметно больше: мылись столы горячей водой, сделалось снова видно, что они из свежего дерева, струганы даже были, подметали с опилками пол, вделана в стенку кухни вентиляция, почти исчез серый туман, мешавшийся с дыханием солдат, отдут он был самолетно гудящей трубой в углы и под потолок, оседал каплями на стенах, рубленных из непросушенного дерева, сделалось даже видно лозунги, одрябшую, полинялую от сырости красную материю с полусмытыми буквами, одни только знаки восклицания стойко держались.

Но самое главное изменение произошло в рационе питания строевого состава полка — отменена была чистка картошки. При этой самой чистке в отходы пускалась добрая четверть картофеля, основного, можно сказать, солдатского, да и крестьянского продукта в России. Наряд, попавший на кухню, шакалил, до кропотливости, до бережной ли работы ему. А попадут на чистку картошки казахи или узбеки? Они-то как раз чаще всего и назначаются на грязную, малоответственную работу. Что им картошка? Они барана жрать привыкли, целиком, с головою, рис едят, лепешки и еще чего-то, картошку они презирают, «сайтан алгыр» говорят, дерут с картофелины кожу в палец толщиной. Вот и прекратили чистку овощи.

На каждого едока выходило теперь по две крупных картофелины, разрезанных пополам, мясо и рыба варились теперь кусочком, положено десять кусочков рыбы в таз, будь любезен, кухонный пират, чепляй черпаком и вали в таз десять кусков! Идем дальше — четырежды десять сколько будет? Че, думаете, мы всякую грамоту позабыли? Про девок от такой жизни, может, и позабыли, но про шамовку всегда помним. Кидай в таз сорок половинок картошин безо всякого разговору, лук выдавай по головке на брата, как товарищем генералом предписано! То-то, рыло хищное, кое с похмелья не обвалишь, кончилась комедия, закрылся клуб, капитан Дубельт какать пошел — ныне мы наши права знаем и прижмем вас, кровопивцев, и будет с вами, как на сатирическом листке талантливым советским поэтом написано: «Боец поднимет автомат — из немца потечет томат!» Правда, там про фашистов написано, да чем вы-то, внутренние-то кухонные враги, лучше фашистов?

Такие вот лихо-торжественные мысли будоражили головы дежурным черпалам и всему остальному войску, способность критиковать, презирать всякую сволочь вселяла уверенность в победу справедливости, придавала красноармейцам силы, бодрее они себя чувствовали.

Старый генерал, наверное, был добрым человеком и желал ребятушкам добра, но сам нечищеного картофеля не ел, разве что в детстве, в давние голодные годы. Подзабыл генерал, что эту самую спасительницу русского народа, картошку, как ни мой, сколько в воде ни болтай, ни гоняй по кругу бачка, все равно в глазках ее, в извилинах, неровностях, на шершавой кожице остаются земляные крохи — по-научному частицы. Не учитывал еще товарищ генерал того, что ждать такой же добросовестности от дежурных, что и от домашней хозяйки, царящей на своей домашней кухне, — дело напрасное, все равно служивые будут отлынивать от грязного труда, мокрой работы, картофель ладом не вымоют.

Словом, супчик в эмалированных мисках был мутным; поскольку миски привезли в пищеблок номер один совсем новенькие, зелененькие, с еще не отбитой белой эмалью внутри, особенно заметно было, что суп грязный, тем не менее с холода, с улицы, бросались его, горяченький, наваристый, хлебать с ходу, с лету.

— Товарищи! Братцы! Не ешьте картофель с очистками! Братцы! — заклинал бойцов старшина Шпатор. — Хлопчики, выньте из супа картошку, облупите, растолките ложкой и хлебайте на здоровье. Шестаков! Шевелев! Хохлак! Бабенко! Фефелов! Булдаков! Вы люди бывалые, покажите, как надо. Покажите... Иначе понос, дизентерия... Хлопчики...

Поняли даже казахи, не знающие русского языка, всю надвинувшуюся опасность, бережно чистили картофель, толкли его в супе, крошили туда луковку. Вот тебе и похлебка в три охлебка — суп приглядней, белей, главное, вкусней. Но на опустившихся людей уже никакие уговоры не действовали, мало что сожрут всю картошку в супе неочищенной, так еще и подберут очистки по столам. Опустился бы до очисток и Коля Рындин, но тут, обратно от того заботливого генерала, не иначе, вышло решение: бойцам, что ростом под два метра и выше, давать дополнительно по супу и по каше.



Коля Рындин стеснялся привилегий, пробовал делиться с товарищами подпайком, да и Васконян с Булдаковым испытывали неловкость, тогда было придумано чьей-то умной головой, скорей всего Шпатора, — сбивать богатырей в отдельную команду и кормить ее после всей роты. Коля Рындин услужливый человек, работяга с молодых лет, после ужина передвигал на кухне бачки, поднимал, носил мешки, воду, соль, крупу, овощ на завалку в котлы, колол и таскал дрова, мыл в котлах. Видя, что он не шакалит, не рвет, не шаромыжничает, лишь шепчет молитвы да крестится украдкой, кухонный персонал проникался к этому богобоязненному чудаку все большим доверием и расположением, позволял ему выедасть остатки варева из котлов, от себя подбрасывал кое-что, насмехаясь, конечно, награждая всяческими прозвищами, и наперед всего богоносцем, да смех на ворота, как известно, не виснет. «По мне хоть горшком назови, только в печку не суй...» — посмеивался про себя Коля Рындин. Иногда ему так много перепадало на кухне, что он не съедал дополнительного харча, если оставался кусок хлеба, он, взобравшись на верхние нары, на спасенное для него место, разламывал хлеб в потемках, совал по кусочку, по корочке в протянутые руки. «Сам бы ел», — говорили ему, и, радуясь своей удачливости, себе и своему радушию радуясь, Коля Рындин великодушно гудел: «Че уж там! Вы всегда мне помогали».

Нежданно-негаданно выступил на вид Петька Мусиков, человек, про которого старшина Шпатор говорил: «Живет не тужит, никому не служит». Заморыш с шустрыми, злыми глазенками, линиялый парнишка из архангельского лесозаготовительного поселка с неприличным, считай что, названием Маньдама, был он в семье пятым ребенком — заскребышем, слетком, как звала его мать. Нечаянно сотворенный и не по желанию рожденный после большого перерыва, когда предпоследнему парню в семье Мусиковых было уже лет пятнадцать, первый уже тянул второй срок в тюрьме, Петька путался под ногами взрослого народа не то в качестве внука, не то приبلудного малого, никому не нужного, всем надоевшего. Мать его, единственная, подико, мать на всем русском Севере, молила у Бога смерти «малому паршивцу», не боясь никакого греха, говорила вслух, когда Петька

подрос: «Хоть бы нибилизовали куда. В ремесленно аль на годичны курсы пильшыков и вальшыков лесодревесины».

Единственно куда годился Петька Мусиков, так это в магазинные очереди, которые никогда в Маньдаме не переводились. Тощий, наглый Петька был там в родной стихии, мог кого угодно переорать, переспорить, облапошить, пробить в народе дыру острыми локтями, пролезть меж ног, под прилавком проползти, по головам ходить тоже умел, ну и тырил, конечно, что плохо лежит, первым делом съестное. Без этого как в Маньдаме вырастешь, как проживешь?

Отец у Петьки Мусикова пьяница и разбойник. Весь изрисованный наколками, блатной, буйный, он бывал дома гостем, пил, дрался, кидался на людей с ножом. Во дни коротких каникул, будучи в «отпуску», изладил он и Петьку. Двое из пяти сыновей Мусиковых пошли по дорожке отца, старший, как уже сообщалось, отбывал срок за грабеж, другой неизвестно за что и почему сидел, на всякий случай, мать говорила — «политической», сама она работала кочегаром на пекарне, привычно ждала мужа и детей из тюрьмы, привычно же собирала и развозила передачи по тюрьмам. Петька мешал ей хлопотать, отлучаться. Отродьем звали в Маньдаме семейство Мусиковых, хотя, в общем-то и целом-то, поселок и состоял из этакого вот «отродья» и еще из спецпереселенцев, все прибываемых и прибываемых крутой волной на здешние болотистые берега.

Интересно, что Петька Мусиков не только управлялся в магазине, на толкучке, на базаришке, но еще и в школу ходил, и еще интереснее, что не оставался на второй год, хотя никогда не учил заданные уроки, да и учебников-то не имел, на тетради деньги сам где-то раздобывал. Как подросток Петька, то дома уж почти не бывал, разве что зимой, когда спать в дровянике становилось холодно. Как он рос, чем лечился, когда и где приобретал себе одежонку, обувь, где ел, где пил, с кем дружил, у кого бывал — ни мать, ни братья не знали да и знать желания не испытывали. Украл однажды папиросы у брата, уже работавшего на лесозаводе, тот его отстегал ремнем, и Петька курить бросил, но не потому, что больно было от порки, облевался он от противного табака. Попробовал Петька и водку, но тоже облевался, и от водки его отворотило. Уже перед армией попробовал он и бабу в женском общежитии, пьяная баба была, растелешенная спала, на нее наслал Петьку братец, сказав: «Хватит в штаны дрочить. Пора и тебе, однако,

причаститься». Хотя Петька ничего не понял, да и баба не проснулась, и пахло от нее дурно — он чуть было тоже не облевался, но к бабе с тех пор его тянуло, и он стал подглядывать за ними в щели, прорезанные в барачном нужнике. Этим поганым грешком занимались все поселковые парнишки.

Так вот Петька, глядишь, нечаянно и семилетку добил бы, нечаянно и пить, и с бабами валандаться научился бы, нечаянно и курсы кончил бы, специальность приобрел, из дому ушел, в общежитии бы постоянную шмару завел — все в жизни его неуклонно двигалось к самостоятельности. Но тут эта война началась. Блатных его братьев сразу подмели, которого в трудармию, которого на фронт, пришлось Петьке багор брать и вместе с поселковой знакомой братвой становиться на сортировочные сплавные ворота, толкать багром любимой Родине древесину. И не много он ее потолкал, как пришла пора и ему сидор в дорогу собирать.

Мать наладила на стол, пригласила знакомых и соседей, напилась первая, принялась зачем-то выть и целовать Петьку, заставляя и его пить. И он выпил, и на этот раз уже не облевался, и с девкой из пекарни, матерью приведенной, всю ночь проваландался и не убежал, как раньше, стыдясь чего-то.

И вот турканый-перетурканый, битый-недобитый новобранец Мусиков с тремя булками хлеба, унесенными матерью из пекарни, с холщовым мешком из-под муки за спиной сложными кружными путями, сперва водным, затем железнодорожным, затем автотранспортом, добрался до запасного двадцать первого полка — готовиться защищать Родину. К трем булкам хлеба мать, икавшая с похмелья, сунула в котомку Петьке еще бутылку постного масла, тоже из пекарни добытого, — там, на пекарне, давно уже смазывали железные формы автолом, масло же растительное, для этого предназначенное, работники пекарни делили меж собой. Проявив сметку, Петька вылил из ружейной масленки смазку — ружье все равно уже было братьями пропито, — насыпал в ту емкость крупной серой соли и, молча выслушав наставления матери: «Слушайся старших-то, на дорожку папани свово да братцев не сворачивай», отправился на пристань и, как только попал на сплавщицкий катер, отвозивший призывников из леспромхоза до ближней пристани, отворотил от булки горбушку, облил ее маслом, посолил, зачерпнул

кружкой за бортом воды, засоренной корьем, пахнувшей керосином, ел хлеб, глядел на пейзаж, на берег, размиганный тракторами, на реку, забитую сплавным мусором, чувствуя, как щиплет солью объеденные девкой губы, вспомнил ее явственно и, сладко, плотоядно потягиваясь, зачерпнул еще водички — дальше вода пошла чище — и, думая про девку, распахнул навстречу ветру телогрейку. Грудь холодит, брюхо сытое щекочет, и все остальное, ночью столь горячее, что девка, обжигаясь, выла, остудилось. «Свобода! Прощай, бля, Маньдама! Прощайте все ханурики!..» Но с масла постного да с маньдамовской поганой воды Петьку прошибло. В карантин он прибыл, когда его несло, по выражению Коли Рындина, на семь метров против ветра, не считая брызгов.

Снадобьями и молитвами Коли Рындина боец Мусиков был возвращен в строй, но снова чего-то нажрался, снова его пронесло, да на лесовытаске простудился, да, переняв богатый опыт Булдакова, наловчился придуриваться, на занятия совсем перестал ходить. В жизни роты, в работе и деятельности армии Петька Мусиков не участвовал, на почту за письмами и посылками не ходил, потому как никто ему не писал, никаких посылок не присылал, сам себя такими пустяками, как письма, он не утруждал. Наряды вне очереди Петьке давать было бесполезно, он никого, в том числе и старшину Шпатора, за власть не признавал, никому не подчинялся. Его били, дневальные пробовали стаскивать за ноги с нар — напрасный труд: к битью Петька приучен с детства, климатом северным закален, скудостью жизни засушен до бессмертия, правил поведения и всяких там норм дисциплины он сроду не знал и знать не хотел. Он жил всегда по самому себе определенным правилам. Пробовали Мусикова сажать на гауптвахту. Ему там поглянулось — на гауптвахте топили, еду туда приносили, дисциплиной и работой шибко не неволили.

Едва выдворили Петьку с гауптвахты. Он пришел «домой» распоясанный, завалился на верхние нары, спускался вниз лишь для того, чтобы сходить до ветру, да если баня иль выпадало дежурство на кухне, ну еще когда картошек в овощехранилище спереть, испечь их, пока рота не занятиях.

Как и в прежней жизни, ни друзей, ни товарищей у Петьки Мусикова здесь не было, в первой роте он признавал лишь одного Леху

Булдакова да почитал Колю Рындина за умение пользоваться людьми от поноса и за набожность, пугавшую его.

— Какое сегодня число? — спрашивал Петька Мусиков иной раз у дневальных. — Ага, шешнадцатое. Баня ковды будет? Ага, двадцатого, — Петька соображал, подсчитывал, загибая пальцы, — значит, через три дня на четвертый. — Разбудите, ковды в баню идти. — С этими словами Петька Мусиков глубже погружал голову в просторный шлем, натягивал на ухо ворот шинели и лежал на полном просторе нар один, думал, дремал, может, и спал — никто этого знать не мог.

Старшина Шпатор давно и окончательно отступился от этого пропащего, потерянного для Родины бойца, не воспитывал его, работой не угнетал, никакого внимания на него не обращал. И забыли бы в роте про Петьку Мусикова, но он ежедневно вечерами напоминал о себе. На завтрак и обед, как бы делая кому-то снисхождение, Петька с ротой ходил, но на ужин вставать ленился, может, и боялся, что займут его место на верхних нарах. Без артели с его силенками место не отбить.

И вот рота сжита с нар, вышиблена из помещения — идет подбор последних симулянтов, прикорнувших за печками, на нарах и под нарами.

— Товарищ Мусиков, вы в столовую, конечно, идти не изволите? — интересовался старшина Шпатор.

— Не изволю.

— Учтите, сегодня ужин будет принесен только дневальным и больным.

— Я тожа хворай.

— Вы — отпетый симулянт, и никакого вам ужина принесено не будет!

— Поглядим.

Если выпадало роте ужинать в последнюю очередь, это уж после одиннадцати, после отбоя, старшина строгости строя не требовал, петь не заставлял, почти никаких правил не соблюдал. Ели неторопливо, сонно, старшина из своего котелка вываливал в таз бойцов свою порцию каши или картошки, ломал на кусочки пайку хлеба и тоже раздавал, сам швыркал чай с сахаром, смотрел утомленно куда-то в ночь, за которой у него никого и ничего не было, ни семьи, ни дома —

всю жизнь в армии. Его садили за что-то в тюрьму, подержавши, выпустили живого, он снова прижился в армии, начинал с конюшни, с обоза, рядовым, с годами рос в званиях, но дальше старшины никак не тянул, прежде не хватало на офицера образования, ныне ж он и сам не захотел бы в командиры, в строевые, стар годами, почтения не больно много, да и привык хозяйничать и канителиться в хлопотной должности ротного старшины, вдобавок на подозрении, как старый, дореволюционный кадр, к тому же подежуривший в арестантах на тюремных нарах, зря в Стране Советов не садят, тем паче в армии, — раз старшиной был, сбондил небось казенное имущество и прокутил, может, и в политике прокол вышел (царской же, старорежимной армии слуга), и хотя старшина Шпатор был совершенно непьющим, некурящим, бескорыстным человеком — никто этому все равно не верил, коль все старшины плуты, выпивохи и бабники, значит, и этот таков.

— Товарищ старшина, мы дневальным и больным отделили кашу в котелки, как с пайкой Петьки Мусикова быть? — прервали его неспешные раздумья дневальные по роте.

— Хлеб этому паразиту отнесите, пайка — дело святое, кашу сами съешьте, — следовал приказ. — Нечего с ним церемониться. Я его вообще скоро из роты выкурю, памаш.

— Куда, товарищ старшина?

— Куда, куда? Куда-нибудь да вытурю. Может, на конюшню сплавлю, может, в артиллерию на лямке гаубицу таскать, может, вовсе под суд да в штрафную роту его, сукиного сына, чтоб не разлагал арию.

Тихо-мирно вернулась рота с ужина, распределилась по местам, улеглась на нарах. Прижавшись друг к другу, служивые угрелись маленько, сон наваливается — натоптались, намерзлись, еще один день позади. Мороз и ночь на дворе, звезды над казармами в кулак величиной, другой раз сразу и не поймешь, лампочка то или звезда, луна из ущербу выходит, блестит что банный таз, стало быть, еще морозу прибудет, но и этого уж лишка при аховой-то одежонке да в едва натопленной казарме, скорей бы уж на фронт, к одному концу, что ли, надоело все до смерти. Дома сейчас тоже отужинали, спать ложатся, кто на полати, кто на кровать, кто и на печь на русскую. Бока

пригревает, тело распускается, нежится, на душе покой, никуда идти не надо, раз не хочешь, не иди, пусть даже у клуба иль в избе какой гармошка звучит зазывно и девки поют иль хохочут. Самое интересное, что над казармой и над деревней родной те же звезды, та же луна светит, но жизнь совершенно другая и по-другому идет.

— А где мой ужин? Пайка моя солдатская, кровная где? — вразяг, капризно начинал нудить Петька Мусиков, свесившись с верхних нар и на всякий случай держась за столб.

Дневальные молчат, хлебая из котелков кашу. На печке в дежурке греется чай, подгорая, липнет коркой к горячей плите золотая паечка хлеба, распространяя ржаной, овинный дух. Старшина Шпатор затаился в каптерке, ни гугу.

— Че сурлы воротите? Сожрали мою пайку? — наседает на дневальных Петька Мусиков. — И не подавились? Товаришшы, называется, ишшо и концамольцы небось, бляди! Пизделякнули пайку, и хоть бы что!

— Скажи спасибо — хлеб принесли.

— Хлеб? Принесли? А кто корку всю с пайки обкусал? Кто? Я больной, но не слепой...

— Ты поори, поори. С нар стащим, на улицу вышибем, долаешься!

— Меня-а? С на-ар? А этого не хотите? — тряс Петька Мусиков штаны. — Эй ты, усатый таракан! — уже на всю казарму орал озлобившийся, собачонкой скалящийся заморыш, вперившись сверкающим взором в дверь каптерки. — Тебе Попцова мало? Угробили человека! Убили! Уморили! Отдай мою пайку! Притаился! Нажрался чужой каши, наперся чужого хлеба! Воняешь теперя на всю казарму! Так полагается в Советской Армии? Самой сознательной. Сталин че говорит?...

Что говорит Сталин и говорит ли вообще, в последнее время что-то не слышать, но никто переспрашивать не решался, страшась и того уже, что имя вождя, будто Божье имя, так вот запросто поминается всуе отпетым скандалистом.

Петька же расходился все больше, брызгая слюной, визгливо кричал, что в голову взбредет, глядишь, из второй роты с противогазовой сумкой на боку дежурный мчится:

— Това-арищи! Первая рота! Отбой был. Люди ведь отдыхают.

— А ты че приперся? Те че тут надо, бздун? — орал на него сверху Петька, да еще и плевался, норovia попасть в лицо. — Тут советского красноармейца обокрали!

— Кого? Кто обокрал?

— Миня! Старшина обокрал! Пайку мою сбондил!

— Ка-ак? Какой старшина?

— Известно какой! Один он тут усатый таракан!

Разбуженные злые бойцы уговаривали Петьку, кричали на него, начинали спинывать его с нар, требуя от дневальных избавить их от бунтаря, иначе они его измордуют, как Бог черепаху. Но унять и удалить Петьку Мусикова с нар не так-то просто. Он обхватывает столб руками и ногами, будто паук лапами, и вопит пронзительно:

— Убива-а-ау-ю-ут! Карау-у-ул!

Заканчивается это всегда тем, что старшина Шпатор выскакивает из каптерки в полусъехавших, спузырившихся на коленках кальсониках, в валенках с кожаными заплатами на запятках, в шинели, брошенной на плечи, то и дело спадающей. Хватаясь за сердце, звякая своим старомодным котелком, с перерывами в голосе старшина взывает:

— Дневальные!.. Товарищи!.. Люди добрые!.. Кто-нибудь... Кто-нибудь... в счет моего завтрака... милостью прошу... прошу...

Дневальный мчался на кухню, благо была она неподалеку от расположения первой роты, приносил котелок с кашей, совал его наверх.

— Подавись, сатана!

— Сам сатана! — Приняв котелок, Петька Мусиков шарился в нем ложкой, хныкал: — А жиров-то — хер ночевал! Слизали! Еще и обзываются! Где вот справедливость? Сталин че говорит?

— Ты хоть товарища Сталина не цепляй, гнида! Иначе мы тебя в самом деле вытащим и кишки выпустим на обоссаном снегу!

— Вам че? Дай над больным человеком поизгалятца! Попцова вон уханьдехали, закопали.

Поевши, заскребя в котелке, Петька никогда не отдавал посудину просто так, он ее непременно запускал со звоном, норovia угодить дневальному в голову.

— Это армия? — долго потом еще всхлипывал Петька. — Товаришество? Имя что больной, что не больной. Попить бы лишь



бы кровь из человека. Попцова извели, скоро всех во гроб покладут.  
Сталину буду писать...

## Глава восьмая

На рекламных щитах клуба, на казармах и даже на заборах появились объявления, писанные чернилами по газете «Правда», в коих извещалось, что 20 декабря 1942 года в помещении клуба состоится показательный суд военного трибунала над Зеленцовым К. Д. Бойцы в полку, особенно в первой роте, где Зеленцова еще помнили, пытались угадать, что же наделал этот пройдоха, что натворил — порешил ли кого, украл ли чего? Слух докатился, будто обчистил он офицерскую землянку, да и не одну.

А началась беда не с Зеленцова, началась она с художника Феликса Боярчика. Отец когда у него был и был ли вообще, Феликс не знал, но вот фамилию ему свою на память оставил. Мама, Степанида Фалалеевна, задуманная и поначалу творимая как девка, где-то с половины задела пошла в мужика, должно быть, отец ее на мельницу ездил, неделю там гулял, когда снова за дело принялся, о первоначальном замысле запамятовал. Получилась по естеству своему, по частям и по деталям — Степанида, но по внешности и по всему остальному — Степан. Звали это существо Степой. Всю жизнь мать Феликса, железная большевичка, нарекая сына, конечно же, в честь непобедимого наркома Дзержинского, обреталась в области того советского искусства, которое скорее и точнее назвать бы бесовством. Изрыгая слова под бойкий топот местных самородков, поборники местной культуры, деятели передовой и боевой пропаганды вроде бы совсем не слыхивали о великой русской музыке, живописи, литературе, брезговали родным, в первую голову деревенским, наследием в силу его полного и непоправимого отставания, идейной невооруженности, лишенной накала классовой непримиримости к врагам партии и советской власти. Новоявленные творцы сами сочиняли свое слово, искусство, скетчи, пьесы, программы с чтением вслух, с выкрикиванием лозунгов, шагом на месте под барабанный бой, под звук трубы, с построением пирамид, с зажигательными коллективными переплясами, изображающими выплавку стали, бег паровоза, сбор небывалого урожая. Да все в темпе, в темпе! Выше! Дальше! Вперед! До полной победы коммунизма!

Надев белую мужскую рубашу с галстуком, Степа ступала по подмосткам по-боевому четко и, как ей казалось, даже грациозно. Начинала она любой вечер, любое торжественное собрание с чтения:

И я, как весну человечества,  
Рожденную в трудах и в бою,  
П-пай-айю-у-м-маие от-теч-чество-о-о,  
Р-рес-спублику м-майю!

Заряженное парадным вступлением, будто орудие гремучим порохом, действие грохотало, улюлюкало, свистело, с визгом вело беспощадный огонь по врагам, вдохновляло народ на трудовые подвиги, поднимало на борьбу с пережитками капитализма, звало, влекло, настигало. Степа пробовала себя переименовать согласно историческому моменту в Электрину, тоже Феликсовну, но ничего с народом поделать не могла, на сцене Электрина, в жизни же Степа да Степа.

Когда и как у нее получился мальчик, она, захваченная вихрем революционного искусства, почти не заметила. Пресмыкался в районном Доме культуры ссыльный музыкант Боярчик, играл боевые марши на звонкой медной трубе, вертелся вокруг нее, что-то с нею делал. Закруженная общественной работой, она так и не поняла, что Боярчик с нею делал. Откуда и как получился мальчик? Такая досада!

Обжитую с пионерского возраста сцену районного Дома культуры, где на разных парадных торжествах Степа с младенческих лет еще кричала; «Будь готов! Всегда готов!» — пришлось оставить. В этом же Доме культуры она какое-то время работала завхозом. Но разве это работа? Где тут творческое начало? Вдохновение? Гром оваций? Клубное имущество у Степы частью разворовали, частью она его растеряла. Пришлось идти в общежитие воспитателем молодого поколения, дабы получить жилой угол для себя и для дитя, чтоб оно...

Оттуда ее забрали в методисты-инструкторы самодеятельного искусства и физкультуры опять же при районном Доме культуры.

Заброшенный, некормленный, немывтый Феликс был во младенчестве кормим из клубного буфета бутербродами, серыми котлетами, жесткими ирисками, черствыми булками. Его тетешкали,

щекотали, подбрасывали под потолок какие-то взвинченно-веселые тетеньки, наряженные в галстуки дяденьки с блудливыми глазками и с оглушающим запахом сивухи изо рта. От грохота, от воя, от песен, от хохота Феликс полуоглох. От страшных отвратительных запахов и нечистот он сделался чистюлей, не переносящим ничего хмельного, но главное — навсегда ушел в тихую, уединенную работу. Он все время рисовал на клочках бумаги, на оборвышах плакатов, реклам, лозунгов, рано овладел оформительским искусством, ничем он почти, как и Петька Мусиков, не связывал родную мать, рос хоть неподатливо, поскольку был заморожен, однако бурной деятельности Степы не мешал.

Быть бы Степе снова заправилой народного искусства, кричать в Доме культуры про весну человечества, но в это время трубач Боярчик, о котором Степа давно и думать-то забыла, где-то чего-то натворил-таки и загремел в тюрьму, скорее всего за длинный язык, за безобразное отношение к передовому искусству, к властям, может, и за алчную похоть. Степу взяли за холку, пораспрашивали маленько и поняли: ничего, никакой правды от этой особы не добиться — она пребывает в недостижимых высотах, по этой причине плохо помнит, чего сегодня ела и ела ли вообще, где и с кем спала да и спала ли, на кого оставила горемычное дитя свое.

Куда такого человека девать? В лес! И кинули Степу в Новолялинский леспромхоз. И жила она там в бараке вместе с семейными бабами. Это было удобно: сунешь бабам Фелю — они его накормят, напоят, в корыте вымоют, спать вместе со своими ребятишками уложат. Когда и побранят маму, не без того. Да с нее как с гуся вода, тронутая, да и только, побранят-побранят да и накормят — куда ее денешь? Больше всех жалела Фелю вислобрюхая от многоорождаемости ходовая спекулянтка и отпетая кулачка Фекла Блажных. Среди ее ребятишек Феля и жил, ел, спал, труду учился, дрова и воду таскал, валенки подшивал, катался, дрался, материться выучился, рисовал картинки. Деревенские, эстетически слабо развитые чада Блажных те картинки приколачивали сапожными гвоздями к стенам барака. Особенно удавалась Феле картинка, где парнишка с девчонкой ехали верхом на волке. Весь, почитай, барак обколочен был такими картинками.

Биясь денно и ночью за новую, пролетарскую культуру в леспромхозовском бревенчатом клубе, Степа сделалась заслуженным

работником, грамоту с красным знаменем получила. В середине грамоты знамя с кисточками золотыми, в кружочке Ленин — Сталин помещаются, посередине герб с колосьями, с другого боку, тоже в кружочке, — Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

Фекла Блажных грамоту тряпочкой обтянула и в свой кулацкий сундук спрятала: оборони Бог ребятишки порвут — в тюрьме все семейство сгноят. И хитрая ж, отпетая баба, все талдычила героической труженице на ниве культуры:

— С эдакой грамотой, с эдакими достижениями тебе, Степа, фатеру надо просить, заслуженному человеку жить в бараке не полагатся. — И прозрачный намек вдогонку: — Дома в леспромхозе сдают о две половины, в одной половине куфня и комната, в другой — куфня и комната, дак ты бы просила для себя и для нас — нам Феля как родной, мы б его доглядывали...

Степа попросила, и от удивления, не иначе, — никогда ж ничего и ни у кого она не просила, — домик ей и семейству Блажных вырешили. Может, еще и потому вырешили, что сам Блажных — отпетый, конечно, элемент и контра неисправимая — показывал тем не менее в лесосеке чудеса трудовой доблести, да и ребятишек у Блажных шестеро, седьмой на улицу просится. Да еще выселены вместе с хозяином в лес старики, хотя и в нагрузку они социалистической лесоиндустрии, тоже где-то век доживать должны.

Степа только ахала, видя, что делают радостные и счастливые спецпереселенцы Блажных с домиком на окраине поселка, на улице Карла Либкнехта: вход один они заколотили, сохранили одну печь с плитой и духовкой, увеличив ее в объеме, вторую плиту разобрали и на месте ее слепили русскую печь, чтобы ребята сушились на ней, придя с улицы, и спали. Получился дом о четырех комнатах, и одну из них они выгородили для Степы с Фелей, оборудовав по всем доступным возможностям культуры, считай что почти по-городскому: купили розовый абажур для электролампы, над угловиком полкой приколотили рамку со Степиной грамотой, втокнули сюда еще старое, из деревни вывезенное зеркало с выкрошившимся в дороге низом, Фекла сама застелила угловик вязаной скатеркой и на казенную железную кровать приладила прошву, на пол постелила половики и прослезилась, глядя на всю эту благодать:

— Светелка! Ты к нам, Степа, приветная, мы добро помним и всегда готовы тебе послужить.

Вокруг домика номер девятнадцать по улице Карла Либкнехта, которая все наступала и наступала, тесня стандартными домами лес, выросли баня, сарай, свинарник, дровяник, нужник, на двери которого выпилено сердечко, погреб. Само собой, и огород появился. Как же без огорода крестьянской семье? В общем, живи — не тужи.

Степа подивилась живучести, приспособляемости кулацкого отродья и совсем, считай, забыла, что у нее есть сын. Феля же о матери никогда не забывал, тайно любил ее, гордился ею, одна она такая подкованная культурой, на весь леспромхоз одна, стихи читает, на баяне играть может, надо, так станцует любой танец, пляску, смотр, кросс или демонстрацию организует в лучшем виде. Леспромхозовский клуб по культурно-массовой работе был всегда первым в области среди всех остальных клубов, премии получал от профсоюза лесной промышленности, случалось, и от партийных органов кое-что отламывалось.

Расширялся леспромхоз, богатела культура. На дальние участки все везли и везли народ под конвоем и без конвоя. Вместе с Новолялинским поселком глубоко в лес врубалось кладбище некрашеными крестами и просто холмиками безо всяких знаков. Быстро затягивало мохом, брусничником широкий погост, зияющий дырами изнутри обвалившихся могил, местами уже проткнутый кустарниками, спешно зарастающий сосенками, елками, пихтами.

Феля с ребяташками Блажных ходил в лес по грибы, ягоды, боязливо огибая кладбище, потом начал его рисовать. Фекла обрызгивала мальчика святой водой, рисунки с крестами бросала в печку. Степа же все кричала про весну человечества, добавляя смешные куплеты, соответствующие тематике — про лесорубов, про их неустанный ударный труд:

«Утром морозным сквозь синий туман  
сотни рабочих спешат по цехам,  
каждый с любовью к родному станку,  
к молоту, топке, зубилу, сверлу.  
Глухо удар за ударом о свар,

брызгает искрами каждый удар».

Как Феля подрос, мать и его стала учить орать со сцены. Но в малолетстве напутанный шумом, выросший в семье спецпереселенцев Блажных, Феля не мог на виду у народа шуметь, высказываться, давать сдачи. Когда мал и глуп был, под водительством братьев Блажных дрался, но потом засмирел, одомашнился, лишь виновато всем улыбался да рисовал, рисовал. Фекла любила Фелю больше своих родных детей за кучерявенькую голову, за печальные глаза, за кроткий нрав, всех уверяла сраженным шепотом, что парень уж непременно в художники выйдет.

— Альбо в комиссары, ежели в маму удастся. Башковитай! — Подумав, решала: — Может, и в богомольцы, может, вину-то человечью перед Богом ему вот и суждено отмолить?

В комиссары Феля не вышел — не столь башковит получился, в богомольцы же ему и выйти негде было, но писать плакаты, вывески, картины в леспромхозовском Доме культуры умел с малых лет, помогая матери в ее агитационно-массовой работе, а дому Блажных каким-никаким заработком. Пожалуй, в художники-оформители вышел бы, да тут война.

Провожая в армию Фелю, Фекла Блажных, заливаясь слезами, громче всех баб причитала:

— Да Фелюшка! Да родимай ты мой! Да сохрани тебя Господи! Носки-то теплые взял ли? Метрику, метрику-то?... Не надо метрику? А че надо? Скажи, скажи, ничего не пожалею... Да пиши ты, пиши почаще. Да не подставляй свою разумную головушку под всякую пулю... Кабы я могла бы, дак за тебя бы на позиции пошла. Какой из тебя солдат? Да помни об нас, горемышных, помни. Чем обидели-прогневили тебя — прости и о Боге, о Боге небесном не забывай...

Налетела запыхавшаяся мать Степа на леспромхозовскую площадь, среди которой раскоряченно громоздилась дощатая трибуна в сохлых, с Первояма приколоченных еловых ветках. Придерживая мужицкую шапку на голове, тормозя себя мужицкими сапогами, чуть было не торкнулась в сына, он ее на лету поймал, прижал ко груди. Дыша табачищем, мать лупила сына в грудь:

— За Родину!.. За Сталина!.. Смерть врагу!.. Гони ненавистного врага! Гони и бей!.. Гони и бей...

Фекла, поджав губы, качала головой, утирала мокрое лицо концом пуховой шали, которую и надевала лишь по святым да революционным праздникам. Весь вид ее говорил: «Тронутая и есть тронутая! Че с ее возьмешь!.. Нет чтоб ребенку человеческое слово сказать, Божецкое ему напутствие сделать... Стыдно перед людям...» Когда подошло время прощаться, Феля обнял тетку, совсем ослабевшую, обмякшую в его руках, рыхлую тетку Феклу, лепя солеными губами его в лицо, тоже ослезенное, не голосом, изболелым бабьим нутром она выстанывала:

— Касатик ты мой!.. Касатик ты мой!..

Степа стояла в стороне, хмуро курила махорку, плевалась в пыль. Любил Феля мать, любил естественной, мучительной любовью, но помнил-то тетку Феклу Блажных, письма в Новолялинский леспромхоз всегда начинал с одних и тех же слов:

«Здравствуйте, дорогие мои тетя Фекла, дядя Иван, дедушка и бабушка, Аниска, Валентина, братья мои Иван Иванович, Архип Иванович...»

И лишь в конце письма, будто спохватившись, мелко, сбоку листка передавал привет маме, спрашивал про ее здоровье.

Писала ответы Феле под диктовку матери самая шустрая в семье грамотейка Аниска:

«Здравствуй, братец наш Феля! Кланяется тебе мама твоя Степа, Фекла Архиповна, сестры Аниска, Валентина, братья твои Иван Иванович да Архип Иванович, а от Митрея Ивановича привету уж тебе не будет во веки вечные — сложил свою головушку на войне наш старшенькой, и не просыхают мои слезоньки об ем...»

Феля и сам всплакнул, узнав о смерти старшего сына Блажных, — много он добра всем сделал, этот русский парень, в детстве еще превращенный в лесоруба-мужика, в помощника отцу. Хозяйственный, в работе хваткий, с обожанием относившийся ко грамотным людям, он с открытым ртом внимал Степе, умевшей наизусть кричать стихи,



восхищался игре ее на баяне так, что и по дому ходил босиком, когда она репетировала, храпеть на печи воздерживался, а ведь с морозу, с работы человек, самый бы раз храпануть во всю ширь.

Баню еще шибко любил Митрий Иванович, которую сам вместе с отцом и срубил. Запаривался до беспамьятства. Строго следил и он, и отец Иван, чтоб ни едой, ни обновой Фелю не обделили, хотя мать и забывала давать на него деньги, бросит иногда на кухонный стол скомканные рублишки, так Фекла ей тут же оправдание:

— Питатца в столовке да по участкам мотатца. Везде плати, везде отдай копейку. А зарплатишка кака? На один табак.

Зла не помнящие, забытые российские люди — деликатности-то где же они выучились? Материно имя всегда в письме наперед ставят. Почитай, человек, родителей своих, каких Бог дал, таких и почитай.

Однажды по ротам было объявлено: кто умеет рисовать и писать плакаты, пусть явится в клуб. Пришло народу дополна — всем в тепле пошиваться охота. Но званых, как известно, много, да избранных мало. Капитан Дубельт из массы талантов выделил лишь Феликса Боярчика — этот соответствовал!

Феликс старательно писал афиши кино и постановок, рисовал стенгазету, плакаты, карикатуры на отдельных листах, смешно изображая гитлеровцев, заимствуя кое-что из газет и журнала «Крокодил».

Поначалу Боярчик приходил ночевать в казарму, на завтрак и на обед топал с ротой, но ужинал отдельно вместе со все множасьейся и множасьейся челядью полковой обслуги. Потом и завтрак и обед Боярчик стал получать порознь с ротой, после и жить в клуб перешел — там было теплее.

В клубе особой работы не велось, не до нее было, но фильмы для офицеров и их семей демонстрировались, жены офицеров и штабники собирались вечерами в хор, репетировали, и давно уже, под руководством капитана Дубельта «Женитьбу» Гоголя; разучивали кантату «От края до края по горным вершинам...»; танцевальный кружок готовил к Новому году обширное представление под назанием «Победители торжествуют!».

Пообжившись в клубе, Феля начал делать вылазки в расположение полка и в овощехранилище. За газету на раскур, за

бумажку на письмо, за огрызок карандаша ему давали маленько картошки. Нарезав картошку пластинками, Феля пек ее на железной печке, стоявшей за сценой. Была в клубе еще одна печь — огромная, что баржа, осадившая помещение на корму. Чтоб ту печь натопить, требовалось не меньше двух, в морозы и до трех кубометров дров, поэтому Феля весь сосредоточился возле железной печки за кулисами.

Сюда на запах печеной картошки в тепло явилась однажды девушка. Первое, что поразило Фелю, — салатного цвета глаза. На лице девушки они не умещались, выплеснулись аж на виски, уперлись в берега приспущенных на уши волос, и волосы, и брови, и ресницы — все, все было золотисто, и, может, поэтому иль еще почему другому лицу девушки представало как бы в легком сиянии, вот только бледно было лицо и, как на старых картинках или как у солдат в казармах, в налете каком-то давнем, с сероватой бледностью, губы девушки, сморщенные иль испеченные жаром, сморщились, вроде от обветренности шелушились — так вот мгновенно и разом увидел Феля всю девушку: художник же, хоть и леспромхозовский.

— Здравствуйте, — сказала девушка и, вынув руку из солдатской рукавички, подала ее Феле. — Вы новый художник? А я билетная кассирша и контролер. Эвакуированная с Украины, меня зовут Софья, чаще — Софочка.

Феля ничего не мог сообщить в ответ. Он стоял истуканом возле печки и покрывался влагой, по всему телу пот у него выступил, язык отнялся, все члены обмерли. Молчание затягивалось. Наступала неловкость. Софочка двумя пальчиками взяла с печки пластик картошки, зажаристый, хрусткий, с лопнувшими от жара пузырьками посерединке, откусила, пожевала.

— Ой как вкусно! Можно, я еще возьму?

— Пожалуйста! — Кинувшись к печке, Феля подавал Софочке в протянутые ручки пластик за пластиком, она бросала те пластики с ладони на ладонь, восторженно взвизгивая;

— Ую-ю-юй! Горячие! Да горячо же! Ой! Ой! Ой! Сами-то, сами кушайте!..

Кто не верит в любовь с первого взгляда, тот Фелю с Софочкой не встречал, ничего о них не слышал и вообще в любви нисколько не разбирается.

Уже назавтра с самого утра Феля измаялся весь, и сердце у него изнылось — придет Софочка или не придет? А если придет, то скоро ли? Оказалось, она квартирует в Бердске, простудилась и болела, потому и не знал Феля ничего о ее существовании. Капитан Дубельт послал в Бердск записочку, спрашивая, заменять ему кассиршу или ждать. Совмещать работу кассира-контролера и начальника культотдела полка ему невозможно, несолидно, он уже получил замечание из политотдела. Вот и вышла Софья, недолечившись, на работу. И правильно сделала.

Теперь из Бердска она летела на крыльях, ворвавшись в клуб, кричала: «Феликс! Вы здесь?» Он соловьем откликнулся, вылетал навстречу, брал ее озябшие руки в свои, долго-долго отогревал их под шинелью у сердца, иногда дышал на эти маленькие, исхудалые руки и готов был еще что-нибудь хорошее сделать для Софочки, да не знал что. Неожиданно было все: встреча, отношения, восторг, желание скорее, скорее быть ближе, успеть узнать друг друга до конца, до доньшка, ведь надвигалась разлука, хотя они и забыли о том, где и почему находятся. Но военная жизнь, жизнь казарм, суровая зима, голодуха настойчиво и каждодневно напоминали о себе.

Однажды после затянувшегося концерта Софья побоялась одна идти через лес — говорили, за Обью ночами воют волки, будто бы они утащили и съели уже собаку из какой-то деревни или из самого Бердска, будто бы и детей, из школы идущих, поугадили, будто бы на помойках стрелкового полка их уже видели.

— Но где же мы будем спать? — пролепетал Феля Боярчик, глядя на жалкое гнездышко, свитое из бутафорской рухляди на досках, положенных на поленья, не иначе как тем художником, которого сменил Феля в клубе полка и который давно уже воевал или рисовал что-нибудь на фронте.

— А здесь, — решительно указала Софочка на Фелино гнездышко и, подумав, добавила; — По очереди.

По очереди не вышло. Феля топил печку, Софья спала, укрывшись его шинелью да своей телогрейкой, плотно завязав голову и уши деревенской серенькой шалюшкой. Лицо девушки, обрамленное этой бедной шалюшкой и выбившимися из-под нее желтенькими волосами, было еще прекрасней, еще милей, еще беззащитней, чем если бы она была в дорогом наряде. Феля мог сколько угодно смотреть на лицо

Софьи и не уставал от этого занятия. Хорошо и странно было ему оттого, что так она близко, что он услуживает ей, согревает ее, однако к утру он сморился, присел возле дверцы печки, которую все время подшуровывал, да и заснул.

— Милый Феля! Зачем ты не разбудил меня? Зачем не соблюдаешь очереди?...

Она подошла сзади, обняла его, прижалась лицом к стриженной, но упрямо из последних сил пыльновьющейся голове. Он щекой защемил ее руку на плече. Долго они были неподвижны, ничего не говорили, еще не зная, не ведая, что это были самые великие, самые светлые минуты в их жизни, те самые минуты, которыми Господь изредка одаривает добрых людей, не подбирая для этого подходящего места и времени.

И случилось то, что должно было случиться. Неумело, беспamięтно, обморочно они сблизились, стали мужем и женой, нигде не расписанные, никому о тайне своей не поведавшие. Они принадлежали друг другу, и никто, даже всесветная война, не могла им помешать быть счастливыми.

Софья забеременела. Боярчик написал письмо любимой тетушке Фекле: так, мол, и так, любовь настигла, соединились два горячих сердца, что теперь делать? Скоро на позиции.

Неграмотная, мудрая от жизни баба все сразу поняла насчет горячих сердец, продиктовала Аниске, дескать, по себе знает, от любви, как от кори, спасения нет, болеть эта сжигающая, прилипнет так уж прилипнет, однако не испепелит, проходчива болеть. Тетка Фекла велела Софье собирать манатки да и ехать в Новолялинский леспромхоз, благо ехать не так уж и далеко. Тут ее примут и доглядят как родную, потому как Феля им заместо сына. В конце письма Фекла сообщила:

«Что касаето Степы, матери твоей, Фелечка, дак не опасайся и об ней не тужи — она совсем забегалась, родному дитю написать некогда, хоть и намекивали ей, письма твои на тумбочку подкладывали — не прочитат даже, разе что ночью. Сказывали, закончила она санитарные курсы, собиратца на войну, дак и ехала бы с Богом — баба работой физицкой не уезжена, глядишь, какого бедолагу ранетого на

горбе с поля боя выташшыт. Да ведь и там при клубе каком-нито устроицца, будет стишки со сцены декламировать, на бой товаришешв призывать. Вот ты теперь сделаешься родителем-мушшыной, дак матери-то не подражай, дитя свово не забывай. И береги себя. Ты теперь не один»...

Скис, потерялся Боярчик после отъезда Софьи, писал плакаты, стенгазету и объявления с пропусками, ошибками, бродил по расположению полка, но чаще всего по лесной дороге на Бердск, кого-то там отыскивая, писал каждый день письма, рисовал на конверте голубка с письмом в клюве, с потугой на юмор изображал пронзенное копьем сердце. Софья от того юмора заливалась слезами и тоже каждый день писала Феле, что распалил пожар ее чувств, но южную сжигающую страсть в ней не утолил и наполовину, даже и на четвертинку — разлука невыносима, но что поделаешь: война. Тем жарче, тем желанней будет неизбежная встреча, о которой мечтает она дни и ночи и никогда не устанет мечтать и ждать. Феля по письму такому понимал, что живется Софье в семействе Блажных неплохо и кормят ее досыта.

Степа-таки умотала на фронт. Софья жила в комнате мужа — работала на месте свекрови в Доме культуры Новолялинского леспромхоза. В смысле быта и жизнеустройства Феликс был за нее совершенно спокоен, семейство Блажных скорее само все перемрет, в землю костями ляжет, но Фелиной жене погибнуть не даст.

И все же Боярчик бродил и бродил по земле, искал чего-то. И нашел!

— Привет художнику-безбожнику! — услышал Боярчик и, остановившись, вглядывался в приземистого, натужно улыбающегося красноармейца в довольно чистой, хорошо прилаженной к корпусу шинели. Весь он, этот человек, был белобрыс, стриженные волосы лишь при очень пристальном взгляде различались на висках — заедино с кожей, — такие же белесо-смазанные брови и ресницы, шрамы, множество мелких шрамов на лице, на лбу смотрятся выявленно, четко, на правую бровь фасонисто сдвинута шапка.

— Пр-риве-эт! — неуверенно отозвался Феликс и спросил: — Вы кто?

— Хха-ха-ха! Забыл, н-на мать, карантин, первую роту!..

— А-а, вы Зеленцов! Вас вроде в минометную роту перевели.

— Мать бы ее растуды, эту минометку, — там ни дохнуть, ни охнуть. Дис-цип-лина! Но настоящий человек нигде не пропадет! Слушай, ты, говорят, в клубе пристроился, шмара у тебя шикарная завелась. Молодец! Слушай, нельзя ли у тебя там погреться? Сообразить насчет картошки дров поджарить?...

Феликс еще ничего ответить не успел, как Зеленцов уволок его в клуб, осмотрелся там и сказал:

— Рас-с-скошная хаза! Слушай, Боярчик, возьми меня истопником, а? Возьми!

И, опять же не давши Феле не только ответить, но даже подумать, уже орудовал Зеленцов возле печки-баржи. Добыв из-за пазухи веревочку-удавочку, Зеленцов притащил вязанку дров, с грохотом обрушив поленья на пол, ходко принес еще вязанку и так раскопегарил печку, так согрел помещение клуба, что изо рта людей больше пар не клубился. Такого здесь не наблюдалось со дня сотворения культурной точки, она ставлена так и в таком месте, что в ней даже летом бревна были мокры и плавал по помещению едкий пар.

Феликс обрадовался трудовому порыву неожиданного работника, решил поговорить с капитаном Дубельтом по поводу использования Зеленцова в качестве постоянного истопника, потому как присылаемые из рот наряды ничего тут не пилили, не топили, рыскали по закромам строевого полка, добывая себе дополнительное пропитание, норвя в клубе чего-то сварить и сожрать.

Но что-то или кто-то задерживали вечно занятого, перегруженного хлопотами, замороченного творческими замыслами и отчетами начальника культуры, да и трудовой энтузиазм Зеленцова пошел на спад — за печкой и по углам клуба, сидя на корточках, шуршали по-мышинному, почти неслышно возились скользкие текучие тени, громко хлопали чем-то об ящик из-под посылки, свирепо выражаясь при этом.

Картежники! В заведении, руководимом капитаном Дубельтом, в заведении, где Боярчик дни и ночи писал лозунги и всякие другие бумаги с призывами честно трудиться на благо Родины, не щадя жизни сражаться с ненавистным врагом, темные людишки занимались азартными играми!

Они не просто играли в карты, они обосновались в клубе капитально, понанесли котомки, варили чего-то на печи и в печи, в клубе пахло вареной картошкой, даже мясным пахло и, о Боже! — самогонкой воняло! Феликс робко сказал Зеленцову, что не надо бы в культурном заведении заниматься темными делами.

— Че те, жалко, че ли, этой камары? — ему ответ. — Ешь вон картоху с концервой и помалкивай. Слушай, может, те денег надо? Ну, выпить когда, бабе послать. Она с брюхом, усиленное питание требуется, то да се...

Феликс кое-как отбился от Зеленцова и от денег его, старался подальше быть за кулисами, в своей каморке, которую соорудил по приказу Дубельта. Узнавши про вспыхнувшую любовь между художником и кассиром клуба, капитан помог создать влюбленной паре условия — в каморочке-то не видно и почти ничего не слышно, а то ведь завистливые офицерские жены, искусства поклонницы, быстро донесут куда надо чего надо и не надо, назвав при этом святое чувство предосудительной связью.

Зеленцову только того и надо было, чтоб всякий надзор исчезнул, чтоб свобода. Какие-то шустрые люди, скорее всего проигравшиеся, батрачили на него, пилили, таскали дрова, другие овощь перли, мясо, сало, чай, сахар, пачки денег мелькали в руках картежников; за печкой и под печкой катались пустые бутылки; уже и драка не раз вспыхивала, уже слышалось:

— Бубны-черр-вы, бабы-стер-рвы, сахар за щеку, перо в бок! Блефуй, но не мухлой, а то я тя на эту печку голой жопой посажу!

Феликс уже не знал, с какой стороны к печке и к Зеленцову подступиться. Увидел однажды за сценой Зеленцова, мокрого от пота, вином налитого, прячущего деньги за пояс штанов, под гимнастерку, ножик, завернутый в грязную тряпку увидел, хороший, острый ножик с костяной ручкой, и взмолился:

— Слушай, Зеленцов, уходи ты отсюда, уходи!.. Мне попадет из-за тебя.

Зеленцов смотрел на него мутно, непонятно было: просыпается или засыпает — глаза его приоткрывались и тут же истомленно закрывались, сырая губа неприбранно отвисла, непробритый подбородок тоже оттягивал губу, губа долила голову все ниже и ниже.

— А-а? Феликс? Все! Все-все! Порядок. Еще пару хопков — и атанда, понял? Атан-да!

Ничего Феликс не понял. Спрятал Зеленцова подальше с глаз в своей каморке. Тот проснулся и куда-то исчез. Боярчик подумал; осознал человек свое недостойное поведение, совесть в нем пробудилась, и он оставил его клуб в покое. Но тот появился снова, раскопегарил печку, каши с салом наварил, бутылкой побрякал и крикнул:

— Эй, Феликс! Покажись, красно солнышко! Я у тя тут еще ночь поошиваюсь, забью козла, коп мешок схвачу и-и-и-ы-ы...

Зеленцов спал за печкой, высунув ноги, тут его и обнаружил капитан Дубельт, вытребовал наружу, спросил кто таков, почему здесь валяется. Зеленцов, не узнавая со сна капитана, в свою очередь спросил:

— А кто ты такой? И хули тебе надо?

— Молчать! — топнул ногой капитан Дубельт. — Ты с кем разговариваешь, мерзавец?!

— Не ори! — Зеленцов ему в ответ. — А то геморрой оторвется!

Капитан Дубельт совсем рассвирепел, попытался схватить Зеленцова за шкуру и вывести с позором из клуба, но боец ему не давался. Поднялась возня возле печки, схватка случилась, в результате которой Зеленцов поддел на кумпол капитана Дубельта, разбил ему очки и нос, да хорошо еще, что не прирезал капитана, не успел — по вызову Феликса Боярчика подоспел полковой патруль, буяна скрутили и увезли.

И вот тебе суд! Показательный! И вот тебе: вместо того чтобы порицать преступника, пригвоздить его к позорному столбу, дело повернулось неожиданной стороной — в ротах сочувствовали Зеленцову, хвалили его за храбрость, за непокорность, говорили, что он резал какого-то офицера-хлыща, да, жалко, недорезал. Потом подтвердилось: одного Зеленцов-таки заперол, вроде бы Пшенного, за другим гнался до самого штаба полка, в помещение ворвался, но тот успел спрятаться под стол.

В воскресенье по случаю важного мероприятия первый батальон и минометная рота были освобождены от занятий. После обеда роты с



песнями протопали в клуб, где должен был состояться показательный суд над Зеленцовым.

Прослужив два с лишним месяца в полку, многие красноармейцы, кроме карантинных землянок, казармы-подвала, столовой и бани, никаких более заведений не видели, в других помещениях не бывали. Клуб украшен лозунгами со лба, выписками из военного устава по дверям и по стенкам, старыми красочными кинорекламами, плакатами типа «Родина-мать зовет!», карикатурами на немцев и строго написанным барельефом вождей мирового пролетариата. Еще в детстве Боярчик с почетной грамоты научился срисовывать упряжку из вождей Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина. Клуб с вождями над крыльцом, с плакатами ребятам казался совершенно райским местом, к тому ж хорошо натопленным. О тепле как в прямом, так и в переносном смысле служивые двадцать первого полка начали уже забывать. Скамеек всем воякам не хватало, не дожидаясь команды, по деревенской привычке, доставшейся с детства, народ удобно расположился на полу. Подшучивая и подталкивая друг друга, бойцы спрашивали, какое после суда будет кино или постановка.

Одна короткая скамейка была чуть вынесена вперед. Над сценой был тот же барельеф, та же упряжка с вождями мирового пролетариата, на сцене высился длинный стол, накрытый недочиста отстиранным от белых букв красным лозунгом. По-за столом стоял один стул с ребристой, что у стиральной доски, спинкой, в середине которой был вырезан герб, наверху по дуге крупные буквы: СССР. Стул привезен вместе с судьями-трибунальщиками из Новосибирска, уважительно сообщил Феликс Боярчик. Ему тут же возразили знатоки еще более тонкие: в трибунале судей не бывает, в трибунале — председатель трибунала, обвинитель и пара заседателей от воинской части — тут тебе не до церемоний, тут строго.

И правда, появились сперва двое солидных мужчин с нашивками на рукавах и с малиновыми петлицами. У того, который вошел первым и угнезвился на стуле, в петлицах было по четыре шпалы, у второго всего лишь две. Но оба, несмотря на разницу в званиях, были тучны, через широкие, туго затянутые ремни переваливались животы, в груди, по-бабьи пышные, врезались наплечные ремни с пряжками. Взгляды, которыми обвели эти двое зал клуба, не просто были строги, они были устрашающи, в них так и сквозило: погодите, мы и до вас доберемся!..

Ой не зря говорилось в прежние времена: «От вора беда, от суда скуда!»

Начавши борьбу за создание нового человека, советское общество несколько сбилось с ориентира и с тропы, где назначено ходить существу с человеческим обликом, сокращая путь, свернуло туда, где паслась скотина. За короткое время в селекции были достигнуты невиданные результаты, узнаваемо обозначился облик советского учителя, советского врача, советского партийного работника, но наибольшего успеха передовое общество добилось в выведении породы, пасущейся на ниве советского правосудия. Здесь чем более человек был скотиноподобен, чем более безмозгл, угрюм, беспощаден характером, тем он больше годился для справедливого карательного дела.

Сидящие в клубе ждали явления квадратного в плечах громилы с головой, стриженной под ежик, прямо на плечах сидящей. У этого громилы всегда загорелая или непромытая кожа лица, спина, минуя ворот гимнастерки, переходит прямо в затылок, дровяным колуном взнимающимся к тупому острию, острие это, минуя то место, где быть лбу, сваливается прямо в переносье, переносье же, не успев организовать в нос, завершается двумя широкими дырами, из которых щетиною торчит волос, срастаясь с малоприметными усами, нависающими над щелью безгубого рта, кой не имеет ни начала, ни конца, расползается от уха до уха. Такой безразмерный рот, способный проглотить жертву шире себя, бывает только у змей. Самое выдающееся на этом лице, самое приметное — подбородок с ямой посередине, напоминающий обвислую бабью жопу.

Но природа же не терпит однообразия и делает иногда снисходительные поблажки тому или иному обществу, лъстя роду человеческому, и в правосудие вводит нечто особенное. Совсем противоположное тому типичному, устрашающему облику скоточеловека на сцену клуба двадцать первого стрелкового полка после крика секретаря трибунала: «Встать! Суд идет!» — мелконько перебирая ножками в хромовых сапогах, в гимнастерке, почти достающей подолом до сапог этих, украшенное медалью и красивыми, начищенно-блестящими знаками, ступило улыбочливое, румянькое, как бы даже и кланяющееся народу существо, у него и военное-то звание отступало в сторону, замечалось не вдруг. Мимолетным

прикосновением расчески существо это в звании полковника, имеющее совсем мирное, свойское прозвание — Анисим Анисимович, тронуло седую прядку, спадающую на лоб, которая, впрочем, расческе не подчиняясь, снова упала сверху вниз. Председатель трибунала, сощурясь, стал вглядываться в зал, вид и голосок у него были ласковые, как бы отечески говорящие: эх, ребята, ребята, чем занимаемся? страна кровью обливается, а мы... Только при внимательном пригляде замечалось, что не так уж прост этот дядя. Глубоко отпечатавшаяся скоба спускалась от раскрыльев носа до самого подбородка, в которой залегло уже утомление, имеющее презрительное превосходство над всем остальным людом. Дано будет той скобе на старости лет перевоплотиться в брезгливо-плаксивую гримасу. Простодушный этот, вкрадчивый человек во время суда играть будет в братишку, в этакое уже много горя повидавшего, из-за горя того поседевшего, настрадавшегося от неразумности людской дедушку не дедушку — рановато в дедушки, но уже и не папа и тем более не дядя он, когда расположит к себе людей, окутает обаянием, рассолодит и до слез доведет подсудимого, нанесет короткий разящий удар, и даже не удар, этаким почти незаметным небрежным тычком, от которого валятся с ног самые оголтелые враги и трясут потом головой, соображая, кто его вдарил, может, он сам упал и об пол ушибся.

Но Зеленцов не таких деятелей повидал и улыбочки, шуточки Анисима Анисимовича не принял, не отреагировал на них. Анисим Анисимович усек — работа предстоит нелегкая, не та, на которую он рассчитывал, отправляясь в какой-то занюханый полк перевоспитывать пакостника солдатишку.

Он согнал со своего лица улыбку и, пока секретарша записывала и говорила вечные эти унылые судебные формальности, переходя взглядом с лица на лицо, как бы пролистывая бледные, стертые, трудноразличимые страницы и, несмотря на похожесть, серость армейской массы, этого вроде однородного человеческого материала, находил лица, отмеченные юношеской красотой, умом, дерзостью, нахальством, покорностью, безразличием, озорством. Однако на всех этих лицах, как и всегда, как и везде, где он работал, прочитывались уже привычная настороженность, неприязнь, даже и ненависть. Анисим Анисимович понимал; не к нему лично ненависть, к тому делу, которое он исполнял, была, есть и всегда пребудет она, ибо еще

Он — Он! — завещал: «Не судите да несудимы будете!» Но что нынче Он? Да ничто! Отменили Его в России, выгнали, оплевали, и суд здесь не Божий идет, а правый, советский, по которому выходит, что все людишки, наполняющие эту страну, всегда во всем виноваты и подсудны.

Анисим Анисимович свел лопатки под гимнастеркой, поежился и распрямился, выпятил грудь, готовый исполнять свой долг, не Богом, но властью ему предназначенный.

Клуб оробел, утих. Всякий служивый старался спрятаться за спину сидящего товарища, всякий смиренно опускал, прятал глаза от Анисима Анисимовича, покаянно вспоминая, что он успел натворить в армии, сколько, чего и где стибрил. И выходило, что каждого здесь сидящего можно сей момент брать и судить по всей строгости военного времени. Не зря, ох не зря гневаются эти дяди в комсоставской форме — видят они, видят каждого шаромыжника насквозь, дело только в занятости их большой, но наступит срок — разоблачат они, разоблачат всех преступников, подвергнут, осудят, чтоб даже и другим поколениям не повадно было от занятий отлынивать, картошку с морковкой воровать. Председатель трибунала сделал повелительный знак рукой — и в клуб ввели Зеленцова, распоясанного, недавно еще раз под ноль стриженного, да под такой ноль, что белобрысая голова подсудимого сделалась будто вот только что в лоханке до блеска вымытой. Обмоток на Зеленцове не было, в носках он был, добротных, вязанных из козьей шерсти. Молодой боец из минометной роты удрученно вздохнул — из дому в посылке прислала те носки мать, Зеленцов, чтоб ему ни дна ни покрышки, выиграл в карты. Красуется!

С руками за спиной ступил Зеленцов в зал клуба, прошелся до середины зала, остановился, приподняв голову, приветливо улыбнулся всем, стиснув по три морщинки в уголках рта:

— Здорово, ребята!

— Здра-а-асс... — разбродно и неуверенно откликнулся зал, и кто успел прикемарить, начал просыпаться, шевелиться.

— Ну как? — кивнул Зеленцов в сторону трибунала, все не переставая улыбаться, только уже криво, в одном углу рта у него образовалось уже четыре складки, в другом осталось две. — Ну как жизнь, ребята? Не всех еще уморили?

— Ч-что такое? Прекратить р-разговоры! Подсудимый, сесть на место! — вскочила со стула строгая секретарша, и один из конвойных толкнул подсудимого к скамейке.

— Э-э, комсомолец! — зароптал подсудимый. — Обижаешь!..

— Я кому сказала! Товарищи, прекратите смех. Подсудимый, сесть на место! — снова взвилась секретарша.

Анисим Анисимович все так же безмолвно и неподвижно восседал на председательском стуле.

— Лан, лан, не пыли, тетя!.. Без тебя закон знаю, — обернулся к конвоиру Зеленцов.

Зал начал оживать, предчувствуя веселое представление, служивые совсем проснулись, суд им начинал нравиться. Они надеялись в дальнейшем получить от суда и судей еще большее удовольствие. И не ошиблись. Зеленцов вел себя мятежно. В награду за мужество ему передали из зала зажженную сигарку. Пока председатель трибунала за столом нудил чего-то, пока конвоир догадался вырвать изо рта подсудимого сигарку, он и накурился.

Самое веселое и забавное началось, когда в качестве пострадавшего стал давать показания капитан Дубельт.

— Я тебя? Ударил? Докажи, чем? — гневался Зеленцов.

Бойцы, знающие всю историю наизусть, даже с прибавлениями, замерев, ждали, как капитан с чудной фамилией — уж не немецкой ли? — будет ответственовать о том, как блатняга Зеленцов посадил его на кумпол.

— Мне кажется, он, этот негодяй, ударил меня своей головой.

— Кажется, дак крестись! — посоветовал Дубельту Зеленцов. — Стану я свою умную голову об такую поганую рожу портить!

По залу шевеление, хохоток. Зеленцов обернулся, подмигнул свойски ребятам: то ли еще будет, друзья мои, ждите и обрящете.

— Я прикажу вывести публику из зала! — стукнул по столу вдруг вспыхивший председатель трибунала.

— И кого ж ты, дядя, судить будешь? Себя, че ли? — поинтересовался Зеленцов. — Суд-то показательный. Вот и показывай, если есть че.

Феликс Боярчик, призванный в суд в качестве свидетеля, сидел за кулисами, вроде как изолированно от суда, он караулил шинели и шапки приезжего начальства, но все слышал и видел. Оробев вначале

от присутствия важных чинов и начавшегося суда, он вовсе пришел в ужас, когда подсудимый начал дерзить, нагличать, но вот словно пронесло над ним волну или будоражащую тучу, и сам он непокорно, дерзко, правда, про себя и молча, поддержал бунтаря: «Правильно, Зеленцов, молодец, это они понаехали, чтобы окончательно подавить ребят, здешние держиморды уже не справляются со своей задачей, так им в помощь этого вот румяньего... А-а, привык судить забитых, безропотных. Не на того попал!..»

— Правильно, Зеленцов! Правильно! Люди умирают! Довели! — слышалось в зале как бы в продолжение того, что смел Боярчик произнести про себя. Феликс высунулся из-за кулис и увидел, что ребята, наклонившись, чтоб незаметно было, кто из них кричит, ведут полемику с судом.

— Эт-то еще что такое? Эт-то что за базар? — вскинулся полковник. — А ну, товарищи командиры, наведите порядок в зале!..

Зал немного еще погудел и под грозные крики засуетившихся чинов угнетенно, но непокорно утих. Чувствуя, что публика в зале вся сплошь на стороне подсудимого, настроена взрывчато, сжав пальцами виски, какое-то время Анисим Анисимович сидел и думал; что делать? выдворить служивых из клуба? прекратить суд, перенести в другое место? Да суд-то не простой, показательный, имеющий воспитательное действие. Но он столько уже пересудил и пересадил всякого народу, столько его на тот свет отправил, эта казарменная вшивота каши столько не съела, и чтобы перед каким-то уркой, с которым он по самонадеянности своей не познакомился лично до суда, чтобы перед ним и этой серой шпаной, молокососами этими, он, старый, закаленный большевик, спасовал, уронил достоинство родного суда?

— Товарищи командиры! Я прошу вас встать в проходы и крикунов выдергивать. Место их рядом с преступником, на позорной скамье.

Публика разом присмирела, однако Зеленцов не сдавался, вступал в пререкания и твердо доказал, что не садил на кумпол капитана Дубельга, что советский офицер, пусть он и из клуба, не имеет права так себя вести, он вел себя грубо, нетактично.

— А очки? Он же разбил мои очки!

— Я-а? Разбил? Ха-ха! Ты ж сам на них наступил сослепу.

— Может быть, может быть, — жалко лепетал капитан Дубельт, желая, чтобы его поскорее отпустили, не мучали вопросами, поскольку он никогда ни с кем не то чтобы судиться, даже не ссорился. — Я действительно допустил... по отношению...

Зал снова начал оживать.

«Эх, капитан, капитан, — покачал головой Анисим Анисимович, — добрый ты человек, а обедню портишь. Среди такой сволочи тебе, культурному человеку, существовать...» Анисим Анисимович попросил капитана Дубельта сесть, сам же, встав из-за стола, слезши со своего стула, массивной спиной его подавляющего, и он хорошо это знал, терпеливо ждал полной тишины, дождавшись ее, храня скорбное выражение на лице, заговорил:

— Так-так! Бушуем, значит? Беззаконие творим? — Еще более поскорбев лицом, Анисим Анисимович многозначительно помолчал. — Отчего враг топчет нашу священную землю? — Он снова прервался, и уже надолго, выражение лица его из скорбного перешло в гневное. — Отчего немец этот, фашист проклятый, дошел до Волги? Почему он занял значительную часть нашей территории, сжег села и города, попирает наше достоинство, пьет кровь из наших жен, дочерей, матерей, гонит на виселицы братьев наших и отцов? Да потому, товарищи дорогие, что не прониклись мы высокой сознательностью, не поняли до конца всей опасности, нависшей над нашей страной, над нашим народом. Вот почему в такой момент, в такое ответственное время особо нетерпимы должны мы быть ко всякого рода нарушениям нашей морали, жизни нашей, порядка, особые же претензии, я повторяю — пре-тен-зии, должны быть к самому себе, прежде всего к самому себе: так ли я себя веду в столь сложное, смертельное для страны время? Думаю ли я денно и нощно о защите Родины и своего народа? Все ли я отдал? Помыслы, силы свои все ли положил на алтарь отечества?

В клубе двадцать первого стрелкового полка наступила гробовая тишина, растерянность, может, даже раскаяние посетило слушателей. Анисим Анисимович потряс чубчиком.

— С-се-ерьезней, товарищи, серьезней надо жить, готовить себя к защите от врагов не только внешних, но и внутренних, серьезней надо относиться к обязанностям своим, а обязанность у нас одна: служить Родине, победить врага... Так-то, мои дорогие... Ну, этот... — мотнул

он головой в сторону подсудимого. — Этот... — Анисим Анисимович небрежно махнул рукой и задом упиался к стулу, утомленно водрузился на него.

Речь председателя трибунала возымела именно то действие, на которое он и рассчитывал, — публика была усовещена, подавлена, особенный упор на «алтарь» и на «мы» произвел впечатление, выходило — и он, большой человек, и все маленькие люди, сидящие в зале, объединились одной виной, одной ответственностью перед великой бедой и Родиной, они, выходит, единомышленники, братья, а этот...

«Этот» так ничего и не осознал, никакого братства между собой и председателем трибунала не почувствовал, его не раз еще унимали, предупреждали, усовещивали. Анисим Анисимович уже давно понял, что никакого воспитательного значения суд, как задумывалось умными головами в штабе Сибирского военного округа, иметь не будет, даже наоборот, все разгильдяи в полку приободрятся, разложение будет еще большее, но это уже не его, председателя трибунала, дело. Его забота поскорее и с честью, хоть и поруганной, вынести справедливый приговор, наказать по заслугам более чем дерзкого блатняка, ранее судимого и уже отсидевшего срок, в документах указано — в чем Анисим Анисимович позволил себе усомниться, наметанным глазом отмечая, — нет, не один раз и даже не два бывал за решеткой сей архаровец, возможно, и фамилия Зеленцов не его фамилия, года указаны неправильно, все у него неправильно, надо было следственное дело на доследование вернуть, покопаться в биографии молодого человека, да дел-то, дел невпроворот, хоть по двадцать часов в сутки работай. Молоднячок-то не очень покладистый оказался и так ли развернулся, так ли себя показал! На фронте тоже борьба не ослабевает, садят, садят, садят, стреляют, стреляют, стреляют, но кто же воевать-то будет? Так ведь можно и без кадров остаться. На фронт побыстрее, на фронт, в дело, в мясорубку — там из этого человеческого фарша пельмень, котлета, из кого и боец получится.

Здесь же...

— Именем Советской Социалистической Федеративной Республики...

Стоят — все одинаково серые, с плоскими головами, как бы посыпанные цинковой пылью, смотрят исподлобья, старые,



обсопливленные шлемы с тряпичными звездами в руках затиснуты — какая тупая монолитная сила! Какое молчаливое, но остервенелое неприятие всего, что с ними и вокруг них происходит! Это же сколько с ней, с контрой, боролись, расправлялись, увещевали, гоняли, гноили, а она все еще есть, стоит вон, смотрит, дышит — согнуть, заломать, лишить всякой воли, всякой надежды на сопротивление любыми способами, всеми доступными средствами.

— Именем Советской Социалистической...

Блатарь удалой презрительно лыбится. Складки у рта, ранние морщины на лице, в них осела мгла, может, и пыль от дальних дорог и этапов прикипела, не отмывается, — бунтарь-одиночка, разгильдяй, враг! С врагами же в стране Советов еще не разучились управляться, с врагами один у нас разговор:

— К высшей мере...

— А-ах! — волна по залу. Ударилось стоном, эхом в стену, в дверь, в потолок и снова обрушилось на стриженные головы служивых, стиснуло сердце, сделавшееся единым в сочувствии к своему собрату.

«А вы что же думали?! — торжестовал в себе Анисим Анисимович, уже не пытливым, не упрекающим, а открытой ненавистью отяжеленным взглядом окидывая зал. — Ваша взяла? За вами сила и правда? Да пока я жив...»

«Эх, Зеленцов, Зеленцов! Кореш, товарищ, друг, что ж ты на рожон-то лезешь? Разве ты не знаешь, не ведаешь, где живешь? Разве плетью обух перешибешь? Разве тебе неведома доля-участь наших дедов, отцов? Изведут они, изведут эти хозяева жизни кого хочешь, да все по правилам своим, по советским законам, и пуль не пожалеют. Патронов только на врага-фашиста не хватает, на извод же своих соотечественников у Страны Советов всегда патронов доставало, не хватит — у детей последнюю крошку отымут, на хлеб выменяют пули и патроны» — такие вот мысли тревожили, стучались под стриженными коробками и оседали вглубь, на сердце, на русское давно надсаженное, перенатруженное сердце.

Полковник держал паузу, перебирал бумаги на столе, видно было, как, себя перебарывая, подавляя заматерелую ненависть ко всем и всему против своей воли, наконец он поднес к глазам бумажку.

— Но, проникнутые идеями гуманизма, наша партия, наше правительство, наш самый справедливый в мире суд дают преступнику

возможность искупить вину кровью и заменяют расстрел штрафной ротой... десять лет...

Какие-то благородные формальные судебные слова еще читал полковник, но зал уже не слушал его, зал воспрянул, зашевелился, где-то пробно хлопнули, будто на концерте или на торжественном празднике, тут же шквал шума, рукоплесканий, радостных выкриков сокрушил окаменелую еще минуту назад тишину. «Ура!» — в кулак ухнул Булдаков, но «ура» всеобщего не получилось. Выкрики: «Пор-ря-док, Зеленцов!», «Живы будем — не помрем!..», «В гробу их видели!..» — заглушили все остальное. Зеленцов встал со скамьи и, подняв руку, будто вождь на трибуне, поинтересовался у трибунала:

— Так вы что, десять лет воевать собираетесь?

— Почему вы так решили? Или привыкли к червонцам?

— Или сам воевать пойдешь?

Будь моя воля, я б тебе! — говорил весь вид председателя трибунала. Чувствуя, что не надо бы ввязываться в пререкания с этим отпетым человеком, которому теперь совсем терять нечего, однако не в силах сдержаться, усмирить свой благородный гнев, полковник высокомерно молвил, ткнув перстом в стол:

— Я здесь Родине нужен.

— Р-родине?! Ну-ужен?! — передразнил его Зеленцов. — Как хер кобыле между ног! — И неожиданно сорвался на крик: — Ребятишек судишь! Погоди-и-ы, гнида, погоди-и-ы, еще тебя судить будут...

— Не ты ли?

— И я! И я! Меня не убью-ут, не-эт! Я выживу, выживу! И найду тебя, найду!..

Конвой тащил, пинал, волок из клуба Зеленцова, он, парень цепкий, знавший попок полапистей и построже, вырывался.

— Ты почему здесь? Где фашист, где, где? Их судишь? Их? — тыкал он пальцем в зал и кричал, брызгая пеной, вскипавшей на губах.

— Пра-авильно! Х-ха-ады! — раздался одинокий голос в зале.

На голос рванулись какие-то чины, должно быть, из особого отдела, но тут же упали, запнувшись за ноги. Незаметно, подло их выставляли меж скамьями парни, и что ты с ними со всеми-то сделаешь. Они вон все рожи понаклоняли, спрятались, угляди, кто орет, кто бунтует.

Полковник вместе с судебной обслугой поскорее ретировался за сцену, скрылся за упряжку из четырех вождей. Трясаясь от гнева, он на всякий случай грозил и без того полумертвому капитану Дубельту, с которого то и дело сваливались новые, в спешке подобранные очки:

— Н-ну, знаете! Н-ну, знаете! Я этого так не оставлю!

Чтобы поскорее спасти капитана от напастей, Феликс Боярчик, потрясенный судебным действием, бросился подавать шинели военным чинам, и не они ему, а почему-то он им скороговоркой ронял: «Благодарю вас! Благодарю вас!» Анисим Анисимович, приняв шинель и шапку, воззрился на Боярчика, хотел что-то сказать, но тут подскочил адъютант командира полка, козырнул судебному начальству и повел его за собой через запасной выход из клуба. Боярчик подумал, что надо будет все-все описать Софье и как-то приободрить, утешить дорогого своего начальника, капитана Дубельта, разбитого судом.

Выбравшись из клуба, служивые не строились, не расходились, они оттеснили конвой от подводы, хлопали Зеленцова по плечу, совали ему в карман горстью табачишко, бумагу, спички, говорили разные бодрящие слова, на фронте, мол, непременно встретимся, фронт-то ребятам представлялся не шире бердского военного городка.

Зеленцов, как в зале клуба, так и на улице, держался гоголем. Приступ психопатии у него прошел, он шутил, по древнему русскому обычаю приободрял товарищей своих, тоже желал встречи на фронте, скорой встречи, пока совсем не довели их здесь до смерти. Конвой, состоящий из двух человек, слюнявых еще, молодых красноармейцев, топтался возле подводы:

— Ну ребята! Ну дайте уехать! Передать надо подсудимого. Попадет же нам.

Первая и вторая роты возвращались в казарму россыпью, разбродно, не строем.

— 3-запевай! — крикнул один из молодых командиров второй роты, организуя строй и шаг.

Но орлы первого батальона, вкусившие вольности, брели смешанно, непокорной толпой, обменивались репликами, и, когда командиришко принялся настаивать насчет песни, из солдатского сборища раздалось:

— Сам пой!

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## Глава девятая

Нежданно-негаданно в землянку младшего лейтенанта Щуся пожаловал Скорик. Поздним вечером пожаловал, когда большинство землянок не дымило уже горлышками железных труб, командиры, покинув свои роты, взводы и службы, отогревались чаем, поевши чего Бог послал, где и выпивши водчонки, отдыхали от муштры, забот, пустого рева и бесполезного времяпрепровождения на строевых занятиях, на полигоне, на марш-бросках. Хлопчики двадцать четвертого года, за две недели выучившиеся ходить строем, колоть штыком, окапываться, ползать по-пластунски, делать марш-броски, все более и более охладевали к этим занятиям, понимая, что нигде и никому они не нужны. Пострелять бы им, полежать в окопах под гусеницами, побросать настоящие гранаты и бутылки с горючей смесью. Но вместо подлинной стрельбы — щелканье затвором винтовки, у кого она есть, вместо машин и танков — макеты да болванки, вот и превращается красноармеец в болвана, в доходягу, поди им команду, наведи порядок — всюду молчаливое сопротивление, симуляция, подлая трусость, воровство, крохоборство. Люди слабеют — условия в казармах-то невыносимые, скотина не всякая выдержит, больных много, слухи, пусть и преувеличенные, о жертвах и падеже в ротах ходят по полку.

А слухи — это первый признак неблагополучия в хозяйстве. Появилась и стремительно распространяется по казармам ошеломляющая болезнь гемералопия, попросту, по-деревенски — куриная слепота. Не хватает молодым организмам витаминов, главного для глаз витамина «А». Чтобы она, слепота эта, не угнетала человека, что казарменная вша, нужно масло, молоко, рыбий жир, морковь, зелень. А где все это добро взять? Кто его припас? Вот и бродят по казармам, держась за стены, человеческие тени, именуя свою болезнь приближенно к месту и времени гемералопией, бродят, словно по текущим облакам, высоко поднимая ноги, шатаясь, падая. И шлялись бы по казармам, лежали бы, что ли! Так нет же, выберутся на улицу, тащатся к помойкам, нащупывают в них очистки, кожуру, жуют грязные отбросы — организм защищается, требует той пищи, которая

ему необходима. Иной раз шарясь где-либо, чего-то отыскивая, прячась, ослепленные болезнью люди нечаянно сталкивались друг с другом, не уступая дороги один другому, и вдруг с визгом, плачем схватывались драться, да с такой дикой осатанелостью, что дневальные по казарме или патрули едва их растаскивали.

Ну, конечно, в первую голову гемералопией этой позаболели казарменные артисты, Булдаков бродил, выставив руки, и, возводя очи к небу, твердил: «У бар бороды не бывает». Старшина Шпатор научился быстренько симулянтов разоблачать: «В какой стороне столовая — забыл, памаш?» — и покажет доходяга столовую безошибочно. Да разве всех изобличишь? Переловишь?...

Понимая, что так просто начальник особого отдела полка в землянку взводного не заглянет, Щусь пристально всмотрелся в лицо Скорика, спросил:

— Разговор? Длинный?

Скорик кивнул утвердительно, разделся, попробовал пальцем сучок, оставленный в бревне плотниками, и повесил на него шинель, неторопливо заправил гимнастерку. Убожество землянки, этого еще первобытными людьми придуманного жилища, скрашивал угловик над кроватью, на котором был бритвенный прибор, флакон одеколona и разная мелочишка, необходимая в жите.

Над кроватью висел и чуть колыхался от печного жара соломенный коврик со взлетающими из камышей коричневыми журавлями, с кругляшом на небе, тоже коричневого цвета, быть может, солнышко, быть может, луна. Коврик привезен и как-то еще сохранен с озера Хасан, догадался Скорик. За ковриком, почти уже в углу, была гвоздями прищиплена к бревнам артистка Серова. Была она срисована цветными карандашами на картинку, с гитарой, грустно и доверительно улыбающаяся. Артистка эта украшала почти все офицерские землянки — сим искусством промышлял художник, творивший в клубе еще до Боярчика.

— Водку будешь?

— Немножко.

Щусь откинул приspущенное на койке одеяло. Скорик услышал, как с постели на пол сыплется песок. Под койкой один на другом стояли ящики с посылками. Щусь приподнял фанерную крышку на

одном из ящичков, вынул из него поллитровку, кусок вяленого мяса и несколько домашних печенюшек.

— Красноармейские посылки?

— Да. На сохранении. В казарме раскрадут.

— Водкой расплачиваются?

— Да, — ловко, бесшумно выбивая пробку из бутылки, сказал Щусь. — Сами ребята почти не пьют, им пожрать чего, да многие, слава Богу, и не успели научиться. Ну так за что мы пьем? — налив по половине кружки водки, крупно нарезав на газету мяса, спросил младший лейтенант.

— За победу. За чего же еще нам пить-то?

— Ну, за победу так за победу, — согласился Щусь и небрежно, даже с форсом выплеснул водку в рот, размял черствую печенюшку, понюхал сперва, потом стал жевать, наблюдая, как неторопливо, степенно пьет Скорик, все выше и дальше откидывая голову.

— А-ах! — передернулся он и, пожевав мясо, спросил:

— Медвежати́на?

— Она. Бойцу Рынди́ну бабка прислала. С этого мяса мускул крепнет. Мужик звереет.

— Спасибо. Звереть дальше уж некуда. Ты на суду был?

— Нет, не был, но наслышан. Парни дня три про еду не говорили, все про суд. Поломали комедию! Перевоспитали народ! Теперь с ними управься попробуй! О-о-о-ох, му-даки-ы, о-о-о-ох, мудаки-ы!

Скорик, отвернувшись от стола, грел руки над печуркой. В печурке прогорело, гнездом лежал жар, и в гнезде том шевелилась, трепетала, билась подстреленно голубокрылая красавица сойка, в зимнюю пору слетающая из лесов на полковые помойки. Самая красивая и самая базарная, драчливая, вороватая птаха в пух и перья бьется со своей более скромной соседкой сорокой, тоже не последнего ума и достоинства птица. Вот и пойми сей бранный Божий мир, осмысли его, полюби. Внезапно потолок землянки захрустел, сверху струями посыпался песок на стол, на печку, на командиров.

— И я вот вам, так вашу мать! — закричал Щусь, грозя в потолок кулаком. От землянки затопали.

— Картошку в трубе пекут, — пояснил Скорику Щусь. — Работает сообразилка солдатская. Жива армия, еще жива, как показал суд. А что дальше с ребяташками будет?

— Да-а, работает. Удальцы! — Скорик шомполом от винтовки, загнутым в виде крючка, загреб в кучу головешки в печке. — Вот я и пришел поговорить про дальше. Плесни-ка еще по глотку, если не в разор. — И щелкнув пальцами под потолком: — Не пьянства ради, а удовольствия для.

— Я и не думал, что ты пристрастишься.

— Да мало ли о чем мы не думали. О многом мы не думали. А о главном не только думать не научились, но и не пытались научиться. За нас там, — показал Скорик в потолок землянки, — все время думали, ночей не спали.

Стукнувшись кружками, гость и хозяин выпили, пожевали молча, и, чувствуя неловкость от затянувшегося молчания, Щусь начал рассказывать, что медведя завалила в берлоге тетка Коли Рындина, — с детства охотничает тетка, живет одна в тайге, пушнину добывает, зверя бьет, племянник же ее здесь доходит. Его бы дома оставить на развод, как племенного жеребца, чтоб род крепить, народ плодить, но попадет на фронт, если здесь совсем не дойдет, мужик видный, богатырь, — его какой-нибудь плюгавенький немчик и свалит из пулемета или из снайперской винтовки.

— Если раньше не свалит дизентерия. Иль эта самая, как ее, ну, куриная слепота. Вот ведь генерал-заботничек порадел о том, чтобы в желудок бойца больше попадало пищи, а обернулось это для ребят бедой — весь полк задристан. Он что, от роду такой, — посверлил пальцем висок Щусь, — иль недавно у него это началось?

— Он ведь хотел как лучше.

— Все хотят как лучше, но выходит все хуже и хуже. Что это, Лева, почему у нас везде и всюду так?

— Ты думаешь, я про все знаю.

— Должен знать. В сферах вращаешься. Это мы тут в земле да в говне роемся.

— Да, да, в земле и в говне... Вот что, Алексей... — Скорик помолчал, отрезал еще кусочек медвежатины, изжевал. — Ты так и не куришь? С детства не куришь? Вот молодец! Долго проживешь. А я закурю, ладно?

Щусь кивнул и, опершись на обе руки разгоревшимися щеками, не глядящимися в этом первобытном жилище, ждал продолжения разговора.



— Значит, так. Скоро, совсем скоро тебе и первой роте станет легче, значительно легче. Но, — Скорик отвернулся, выпустил дым, покашлял, — но я прошу, предупреждаю, заклинаю тебя, чтоб в роте никаких разговоров, никаких отлучек, драк, сопротивления старшим. Главное, самое главное, чтоб никаких разговоров. Уймите бунтаря Мусикова: что он комсомол цепляет, имя Сталина поганым языком треплет? Это ж плохо кончится. Васконяну скажите, чтоб не умничал — не то место, здесь его сверхграмота, знание жизни руководящих партийцев ни к чему. Шестаков все-таки рассказал ребятам, что кидал в меня чернильницей. Герой! Храбрец! Не понимает, дурак, что и меня под монастырь подводит. Алексей! — Скорик бросил искуренную папироску в печурку, закурил вторую, ближе придвинулся к Щусю, налег грудью на столик. — Алексей! И до нас докатились волны грозного приказа номер двести двадцать семь. В военном округе начались показательные расстрелы. По-ка-за-тель-ные! Вос-пи-та-тельные! Рас-стре-лы! Понял?

— Что за чушь? Как это можно расстрелами воспитывать?

— Воспитывать нельзя, напугать можно. Средство верное, давно испытанное и белыми, и красными. С этим средством в революцию вошли, всех врагов одолели.

— Та-ак! Дожили!

— Да, да. Дожили!

Гость и хозяин помолчали. Щусь неслышно разлил по кружкам остатки водки, подсунул посудину гостю. Выпили и долго сидели неподвижно. Лампа, стоявшая на деревянной полочке, было запыхавшая от жары и отсутствия кислорода, успокоилась, светила теперь ровно, струя унылый свет сверху, но в землянке с белым пятнышком окошка в стенке, под потолком, все равно было глухо, сумеречно и душно.

— Ты всем командирам предупреждения?

— Только тем, кому доверяю.

— Спасибо.

— Не за что,

— Рискуешь, Лева. В нашей армии насчет доверия в последние годы...

— Дальше фронта не пошлют, больше смерти не присудят. Я ведь тоже прошусь туда, только не так, как ты, другими способами. Пишу

рапорты. Четыре уже написал.

— Чего тебе здесь-то не сидится?

— Да вот не сидится. Думаю, что после суда этого дурацкого, многих происшествий в полку, твоих пьяных выходов и демонстраций у штаба полка просьбу мою все же удовлетворят.

— И пошлют в особый отдел фронтовой части. Мешками кровь проливать?

— Необязательно, Алексей Донатович, необязательно. Да и какое это имеет значение?

— Имеет, имеет. Уже в трех километрах от передовой полегче, в тридцати совсем легко.

— Боюсь, что там, под Сталинградом, война совсем другая, чем на озере Хасан.

— Да, пожалуй.

— Боюсь, что ты, Алексей Донатович, мало про меня знаешь, несмотря на давнее знакомство. Боюсь, что неприязнь твоя ко всем тыловикам, и ко мне в частности, не совсем обоснованна. Ты вот даже отчества моего не знаешь. Не знаешь ведь?

— Не знаю? Хо, правда ведь не знаю.

— Соломонович мое отчество. Лев Соломонович, ваш покорный слуга. — Скорик слегка наклонил голову, и как бы давно не чесанные волосы съехали на его массивный, далеко к темени взошедший лоб. — Сирота Скорик по собственной воле, сирота-одиночка, ни родителей, ни жены, ни детей. Родителей предал, жену не завел, детей пробовал делать, может, где-то они и есть, да голосу не подают. Слушай, больше водки нет?

— Нету. Но я могу достать. Живет тут одна...

Не дожидаясь позволения, Щусь голоухом выскочил на улицу. Скорик смахнул с подушки песок, прилег на койку и поглядел на мило улыбающуюся артистку.

— Ну что, товарищ Серова? Как твоя жизнь молодая протекает? Лучше нашей ай нет?

Сообразительный младший лейтенант решил, что ради одной поллитры бродить поздно вечером по земляному городку и тревожить людей не стоит, занял две. Они со Скориком постепенно обе бутылки прикончили и, по-братски обнявшись, спали на единственной узкой койке.

Щусь по привычке строевого командира проснулся на рассвете, стал готовить себя к дальнейшей жизни. Скорик, получив простор, раскинулся на постели вольготней, похрапывал себе, забыв про службу.

Бреясь безопаской возле печки, макая бритву с лезвием в кружку с горячей водой, Щусь все посматривал на Скорика, все перебирал и перебирал в своей памяти ночной рассказ гостя, еще и еще удивляясь превратностям судьбы.

Папа Скорика, Соломон Львович, всю жизнь возился с пауками. У него была даже маленькая лаборатория, примыкавшая к квартире, в лаборатории той плодились пауки, которых мать Левы Анна Игнатьевна Слохова, урожденная на уральском железоделательном заводе и угодившая замуж за Скорика в смутные и грозные годы гражданской войны, звала мизгирями. И мать, и сын мизгирей боялись, в лабораторию Соломона Львовича заходить брезговали, она была вся в паутине, пахло там тленом, пещерной сыростью и все там было пугающе-таинственно.

Папа писал книгу про пауков, пачками получал труды из-за границы, журналы с переводами его статей, иногда и таинственные пакеты из столицы получал, их почему-то посылали не по почте, приносил их военный с наганом на боку и отдавал только папе лично под расписку.

Деньги за труды папа тоже получал лично, через сберкассу. Анна Игнатьевна, женщина аккуратная, смирная, много читающая, вообще-то не очень вникала в дела мужа, она занималась воспитанием сына, следила за его физическим развитием и всячески оберегала от наук про пауков и прочих тварей — на ниву просвещения она направляла Леву. Он учился на втором курсе университета, на филфаке, когда пришли двое военных и увели папу. Анна Игнатьевна думала, что он через день-другой вернется, так уже не раз было: исчезнет на два-три дня, когда и на неделю, вдруг позвонит из Москвы, просит, чтобы ни о чем дома не беспокоились.

Но вот исчезла из дома и мама, Анна Игнатьевна, потом потянули в строгую областную контору и Леву. Там с ним вели странные разговоры, расспрашивали насчет работы отца, насчет жизни матери и под конец разговора показали записку матери, в которой она сообщила,

что оба они с отцом, Соломоном Львовичем, преступники, враги народа, и «ему следует» — мать дважды подчеркнула это слово — отречься от них и выбрать себе любую подходящую фамилию. «Бог даст тебе лучшей доли. Левочка! — писала в конце записки мать. — Будь достойным человеком. Пусть тебя не мучает совесть. Ты не предатель».

Комнатный мальчик, выросший в достатке, в тишине городской просторной квартиры, не имевший никаких родственников и друзей, он совсем потерял голову и подписал отречение.

А через полгода в столице сместили одного наркома и назначили другого. Леву вызвали в ту же строгую контору и сообщили, что произошла роковая ошибка. Папа его, Соломон Львович, был ученым, работал на военное ведомство, усовершенствуя прицелы пулеметов, полевых и зенитных орудий, был одним из крупнейших специалистов в отечественной и мировой оптике. Он был так засекречен, что вновь всплывшие местные органы, выбившие старые кадры, хорошо учившие их непримиримости и принципиальности, оказались «непосвящены» и не составили себе труда связаться с Москвой, хотя Соломон Львович Скорик требовал этого, топал на органы ногами.

Его быстренько без суда и следствия расстреляли вместе с другими врагами народа. И вдруг строгий запрос: где такой-то? Чтобы жена Соломона Львовича не сказала где, забрали и ее, быстренько увезли и скорей всего тоже расстреляли или так надежно упрятали, что не скоро найдешь. Молодому Скорику объяснено было, что и в местное энкавэдэ просочились враги народа, но они понесли суровое наказание за совершенную акцию против кадрового работника вооруженных сил Скорика Соломона Львовича, приносят извинения его сыну. Если он пожелает, пусть вернет себе прежнюю фамилию, отцовскую, и, как все юноши-патриоты его факультета, целиком поступившего в военное училище, так же беспрепятственно может поступать куда угодно, желательно, однако, в училище особого свойства, где так нужны такие умные и грамотные парни. Что касается матери, Анны Игнатьевны Слоховой, то будут приложены все силы, чтобы вернуть ее домой.

Мать Левы Скорика так до сих пор и не нашли, да и искали ль?

— Но чувствую, чувствую, что она живая и где-то совсем недалеко! — плакал Лева, в отчаянии обхватив голову, все еще

лохматящуюся с затылка. — И пока я ее не найду, нет мне жизни. Она где-то здесь, здесь, в Сибири где-то...

Щусь побрился, помылся, прибрал на столе, тронул Скорика за плечо.

— Лева, а Лева! Тебе пора!

Когда Скорик подскочил и протер глаза, объяснил ему:

— За мной скоро дневальный придет. Я подумал, ни к чему посторонним тебя здесь видеть.

— Да, да, конечно, — согласился Скорик и стал обуваться. — Ну и гульнули мы с тобой вчера! — Скорик снизу вверх испытующе смотрел на Щуся.

Тот покивал головою — все, мол, в порядке, ни о чем не беспокойся.

## Глава десятая

Лешка Шестаков залег на нары с больными доходягами и постоянными, уже злостными симулянтами вроде Петьки Мусикова и Булдакова.

Кухня! Благодетельница и погубительница загнала Лешку на голые нары, в постылую казарму. Дежурства на кухне солдаты ждали как праздника законного, хотя в святцах и не написанного, но почти святого. Каждой роте выпадало дежурство примерно раз в месяц, тем дороже еще был праздник, что редок он. Но второй батальон, размещавшийся в соседних казармах, угнали куда-то на ученья или работы, и выпало счастье первой роте дежурить на кухне вне очереди.

Лешку назначили старшим на самый боевой и ответственный участок, в картофелеочистительный цех. Для солдатской похлебки картошку по-прежнему не чистили, но для картофельного пюре овощ снова начали чистить, да не ножами, как прежде, — машинкой с барабаном. Барабан этот состоял из огромной чурки, обитой железом, протыканным гвоздем или пробитым керником. И вот, значит, надо этот дыроватый барабан крутить за ручку, будто точило. Бедная картошка, вертящаяся в цинковом ящике, натываясь на заусенцы, должна была терять кожу тоненько-тоненько, чтобы продукт без потерь попадал в котел. Картошка получалась исклеванная, в дырках вся, с одного бока чищенная, с другого нет, крахмал ведрами скапливался на дне корыта.

Повращав сей хитрый прибор часа два, дежурные спросили у старшего сержанта Яшкина, ответственного за дежурство на кухне:

— Кто эту херню придумал?

Яшкин не мог назвать имени изобретателя, не знал его. Полагая, что паршивцы придуриваются, волынят, понарошку неправильно обращаются со сложным агрегатом, чтоб его повредить, сам повертел ручку — результат был еще более удручающим, потому что ребята вертели барабан вдвоем в две руки, резвее гоняли картофель по кругу, от вмешательства Яшкина механизм вовсе заклинило, помкомвзвода велел переходить на обработку картошки старинным способом, стало быть, ножом.

Пока-то нашли ножи, пока-то их наточили; пока-то чистильщиков изловили, шарясь по столовой, назначили на грязную работу из разных команд, время ушло. Головной кухонный отряд из поваров, дежурных командиров дал первое предупреждение: «Если к завалке в котлы картошка не будет вымыта и начищена — Яшкину несдобровать, с него шкуру спустят».

У Яшкина ничего, кроме шкуры, и нету, да и шкура-то никуда негодная, на фронте продырявленная, от болезни желтая. Полевая фронтовая сумка, хворое тело и слабая внутренность, едва прикрытая тлелой, должно быть, еще на позициях нажитой шинеленкой, — вот и все имущество помкомвзвода. И чтобы не утратить последнее свое достояние, помкомвзвода сулился в свою очередь содрать шкуру с работяг, если они, негодники такие, сорвут ответственное задание. А работягам с кого шкуру снимать?

Тем временем опытные, уже участвовавшие в кухонных битвах и боевом промысле, бойцы шныряли по кухне, тащили кто чего, прятали, вели обмен продукции. Воровство начиналось с разгрузки и погрузки. Если разгружали мясо, старались на ходу отхватить складниками или зубами кусочек от свиной, бараньей, бычьей, конской туши — все равно какой. Если несли в баке комбижир, продев лом под железную дужку, сзади следующий грузчик хлебал из бака ложкой, потом головой переходил на корму и хлебал тоже, чтобы не обидно было.

— Да что же вы делаете? — возмущались, увещевали, кричали на ловких работников столовские. — Обдрищетесь же! Вы уже каши поели, из котлов остатки доели, ужин свой управили, маленько подюжьте, картошка сварится, всем по миске раздадим, по полной, с жирами...

Никакие слова и уговоры не действовали на ребят, они балдели от охватившего их промыслового азарта. Ослепленные угаром старательского фарта, они рвали, тащили что и где могли, пытались наесться впрок, надолго. К середине ночи половина наряда бегала к столовскому нужнику, блевала, час от часу становясь все более нетрудоспособной.

Самое главное начиналось под утро, когда с пекарни привозили хлеб в окованной железом хлебовозке. Хлеборезы, работники столовой, дежурные командиры, помощники дежурных выстраивались

коридором, пропуская по нему в столовую вниз по лестнице до самых дверей хлеборезки людей, разгружающих хлеб. В протянутые руки работника складывались свежие караваи с бело выступившей по бугру мучной пылью, с разорвавшейся на закруглениях хлебной плотью, соблазнительно выпятившейся хрусткой корочкой. Пахучая хлебная лава, еще теплая, только-только усмиренная огнем — великое чудо из всех земных чудес, — вот оно, близко, против глаз, выбивающее слюну, желанное, мутящее разум, самое сладкое, самое нежное, самое-самое.

Но украсть никак нельзя, отломить корку нечем — караваи накладывают на вытянутые руки так, чтоб было под самое аж рыло. Откинув голову, тащит булки оглушенный близостью счастья человек. У самого носа хлеб! Сытным духом валит, всякой воли, всякого страха лишает. И никаких окриков не слыша, никаких угроз не страшась, рвет парняга по-собачьи каравай зубами, его в затылок кулаком лупят, пинкарей отвешивают, но он рвет и рвет — вся пасть в крови от острых твердых корок, иной возьмет да еще и упадет, раскатав караваи по лестнице. Что тут делается! Схватка и свалка, бой начинается. Спыхватятся дежурные, соберут буханки, глядь-поглядь — нету разгильдяя, сотворившего поруху, и вместе с ним утек каравай. И горько, конечно, обидно, конечно, бывает, когда начальник хлеборезки — самое главное лицо в полку — надменно объявит:

— Кто шакалил, пасть кровавая у кого, тому в роту отправляться. Кто вел себя по-человечески — добрая горбушка тому! — И сам лично длиннющим ножом-хлеборезником раскроит хлебушек, кушайте на здоровье.

Лешка заработал на разгрузке добрую горбушку хлеба, отломил кусочек художнику Боярчику, согнанному после суда над Зеленцовым с теплого творческого места и тяжело переживающему в одиночестве эту утрату. А тут еще лютая тоска по Софочке. Боярчик поблек и почемуто перед всеми ребятами испытывал чувство вины, залепетал вот слова благодарности, глаза у него как-то повлажнели — воспитанный в забитой, навеки запуганной семье спецпереселенцев Блажных, он ни ширмачить, ни украсть не умел. Лешка хлопнул Фелю по спине: «Да лан те. Че ты? Все свои...» Казахи, четверо их на кухне было во главе с Талгатом, которого не то в насмешку, не то всерьез соплеменники стали звать киназом, получив хлеба, оживились:



— Пасиб, Лошка, болшой пасиб, са-амый замечательный продухция килэп. — Они упорно учились понимать и говорить по-русски, поднаторев, готовы были болтать без конца, потому как «нашалник Яшкин» им внушал: все команды на войне подаются на русском языке, вдруг случится так, что им скомандуют «вперед», они побегут назад — хана тогда им. Слово «хана» ребята-казахи запомнили сразу, Яшкинанашалника звали они Хана. Чуть чего — начнут себя хлопать по бедрам, будто птицы крыльями: «Ой-бай хана! Псыплет нам нашалник Ха-на».

Хлеба поели и усекли: жолдас Лошка Шестакоб, старший по наряду в овощном отсеке, варит картошку в топке «с-селое ведро!», — и запели ребятишки-казахи, довольно выносливый и компанейский народ, искренне и бурно радующийся дружеству, умеющий ценить внимание к себе и всегда готовый отвечать тем же: «Ортамызда Толеген коп жил отти. Нелер колип бул баска, нелер кетти агугай...» Пели казахи в сыром, полутемном кухонном полуподвале, усердно при этом трудясь, нашалник Хана, разъяренно примчавшийся на звук песни, готовый давать всем разгон за безделье, прислонясь к дверному косяку, измазанному, исцарапанному носилками с картошкой, усмиренно думал: «Вот тоже люди, поют о чем-то своем, работают исправно, послушными и толковыми бойцами на войне будут. Вон как они быстро вошли в армейскую жизнь, болеть перестали...»

Тут жолдас Лошка Шестакоб жару поддал, приободряя, крикнул:

— Громче пойте! Скоро картошка сварится! Ребята-казахи рады стараться:

Ай-ын тусын оныннан

Жулдызын тусын солын-нан...

На картошке той распроклятой, самим же сваренной, Лешка и погорел. Хорошо сварилась картошка, прямо в ведре истолкли ее круглым сосновым полешком; какой-то деляга-промысловик, завернувший на огонек, налил работягам полный котелок жиру под названием лярд, не за так, конечно, налил, в обмен на картофельную драчену. В толченую картошку всяк лил жиру сколько душе угодно,

песельники-казахи пожадничали было, но киназ Талгат рыкнул на них, и отвалили песельники от котелка с жиром, стоявшего на чурке.

Лешка плеснул разок-друтой в картошку лярда — ни запаха от него, ни вкуса, главное, не видно, есть, нет жир в картошке, какое свойство этого продукта, никто толком не знал. Лешка взял котелок за дужку и вылил остатки лярда, схожего с закисшим березовым соком, в свою миску с картошкой.

— О-ох, Лошка! — предостерег его киназ Талгат. — Мал-мал жадничать, много-много в сартир бегать.

— Да ниче-о-о-о! У северян брюхо закаленное, строганину едим, рыбу иль мясо мороженое настрогаем и с солью, с перчиком. Мужики еще и под водочку — только крикают.

И закрякало! Узнал северянин с закаленным брюхом свойства хитрого химического продукта: которые сутки днем и ночью, штаны не успевая застегнуть, соколом носится на опушку леса к редко вбитым кольям.

Почти весь наряд, бывший на кухне, носится, и он не отстаёт.

— О, пале! — всплескивал руками киназ Талгат. — Шту я тебе, Лошка-жолдас, говорил? На вот, жуй трава, полынь называется, от всякой болезн трава, хоть шыловек, хоть баран лечит...

Лярд этот самый клятый, объяснили Лешке знатоки, делается из каменного угля, никакой от него пользы и прибыли в организме нету, обман один и только, одна видимость питательного продукта.

Раскорячась, сходил Лешка на речку Бердь, настрогал черемуховой коры, чагу отрубил; к разу в посылке Коле Рындину бабушка Секлетинья прислала корней змеевика и листья зверобоя — полк-то вселюдно несло с нечищенной картошки, ребята укреп требовали с тыла. Целое ведро травяной горечи и коры напарил в дежурке Лешка. Полегче стало, но еще скулило в животе, на улку потягивало — хорошо подежурил на кухне, славно пошакалил!.. Чего это он? Тоже опустился, сжадничал? Дома мать бескишочным звала, есть-пить насильно принуждала — плохо растет.

Да этот еще, нашалник Хана, помкомвзвода-то! Не разозли он Лешку, так, может, ничего бы и не было. Приперся в овощецах среди ночи. Там после сытной еды все сморились, спят, согревшись картохой горяченькой, — кто в углу на картошке, кто на скамейке, казахи так даже подобие юрты из ящиков соорудили, сопят себе, кочуя во сне по

родным казахским степям, поспали бы — так горячее за дело взялись, справили бы работу ладом. Лешка, понимая, что всем поголовно спать нельзя, как старший наряда крутил барабан, иль его барабаном крутило — шлеп-шлеп-шлеп, шлеп-шлеп-шлеп, так и ведет в сон эта музыка, так бы вот и лег на пол, но лучше на дрова возле печки, там тепло, сухо.

— Эт-то что такое? Мать-перемать! — налетел Яшкин. Ну и голос у человека! Пикулька и пикулька из медвежьей дудки — дома такие вырезали, с дыркой у рта и с одним отверстием для пальца: дунешь — она и запищит, воды нальешь — брызгается. — Шестаков, почему у тебя люди спят?

— Хотят, вот и спят.

— А завалка?

— Какая? Куда завалка?

— В котлы. Я, что ли, обеспечивать буду завалку?

— Да успеем мы, успеем! Поспят ребята да как навалятся...

Лешка при этих словах так сладко, так широко, да еще с подвывом зевнул, что психопат Яшкин принял это за насмешку, за издевательство над старшим по званию и толкнул Лешку. Полусонный от сытости, утомленный работой жолдас Шестаков плохо держался на ногах, полетел по подсобке, ударился грудью о бочку, угодил руками в грязь, намытую с картошки, в лицо ему плеснуло, глаза едкой жижей залило. Утерся Лешка рукавом, прозревая, видит: Яшкин казашат пинками будит, матерится, визжит. Те в углы спросонья ползут, в картошку норовят закопаться.

— Зашым дырошса, нашалник? Зашым жолдаса обижаешь? Советским армиям так нельзя! Закон ни знать?! — просыпаясь, вопили ребята-казахи, по-русски вопили, сразу в них знание русского языка пробудилось.

— Так вы еще и пререкаются, бляди!

— Сам ты билядь! — почти по-казахскому тонко, сорванно завопил окончательно очнувшийся Лешка и, схватив черпак из бочки, ринулся на Яшкина да и огрел его по башке черпаком.

Все бы ничего, да Лешка скользом по морде «нашалнику Хана» угодил, расцарапал его шибко, потому что черпак тоже с дырочками был, с заусенцами железными.

Яшкин умылся холодной водой, остановил кровь и, уходя, пообещал:

— Ну погодите, шакалы, погодите! Я вас... Законы они знают...

Работяги-казахи чистили картошку, виновато вздыхая, качали головами:

— Ой-бай! Ой-бай! Хана, сапсым хана. Мы виноваты, Лошка, сапсым спали, картошкам чистить прекратили.

— Сгноит он тебя, Лешка! — сказал вовсе оробевший Феликс Боярчик. — В штрафную роту загонит, как Зеленцова.

— Лан, лан, не дрейфь, орлы! Живы будем — не помрем! — хорохорился Лешка.

Ребята-казахи вместе с киназом Талгатом, с жалостно глядящим Боярчиком ходили по кухне за Яшкиным, в угол его прижимали:

— Не пиши бумашка, нашалник Хана, на Лошку. Нас штрафной посылай. Куроп проливат.

— Да отвяжитесь вы от меня, ради Христа! — взмолился Яшкин. — Спать надо меньше в наряде. Снится вам всякая херятина. Я на дрова упал в потемках, мать ее, эту кухню!..

— Прабылно, прабылно! Свыт подсобка сапсым плохой, дрова под ногами. Ха-ароший нашалн-иик Хана, са-апсым хороший. Как нам барашка присылают, мы половина отдаем тебе.

— Да пошли вы со своим барашком знаете куда?

— Знаим, знаим, харашо-о знаим, са-амычательно русским язык обладиваим.

Никогда у Лешки не было столько подходящего времени, чтобы жизнь свою недолгую вспомнить, по косточкам ее перебрать. Случалось, возле чучел, карауля уток, часами сидел, вроде бы где и думать про жизнь, где и вспоминать, но то ли жизни еще не накопилось, то ли одна мысль была, про уток, да пальбы по птице ожидание, ничего в голове не шевелилось, ни о чем думать не хотелось, скользило все над головой, кружилось, как те табуны крякшей над заливными лугами — жди, когда сядут.

И вот дождался! Сели!

Отец у Лешки был из ссыльных спецпереселенцев, большой, угрюмый мужик, из хлебороба переквалифицировавшийся в рыбака. Как и многие спецпереселенцы, потерявшие место свое на земле,

детей, жен, борясь со своей губительной отсталостью, неистребимой тягой к земле, ко крестьянскому двору, к труду, имеющему смысл, в конце концов он устремился к оседлой жизни здесь, на Оби, начав ее с приобретения хозяйки, высватав жену простым и древним способом: поставил в Казым-Мысе ведро вина и увез с собой совсем еще плоскую телом девчонку полухантыйского-полурусского роду-племени. Сначала они жили в Шурышкарах, в рыбооповском бараке. Затем долго, в одиночку, отец рубил избу на отшибе от поселка, возле илистого Сора, потом баню рубил — в общественной бане не хотел мыться из-за креста, который он никогда не снимал, за что порицался передовой общественностью. Срубив избу, баню, стайку и загородив подворье жердями, отец на этом посчитал свои хозяйственные обязанности исполненными. С рыболовецкой бригадой он месяцами пропадал на Оби. Возвращался еще более угрюмый, съеденный комарами, в коросте на лице от гнуса; зимой на подледном промысле знобился, нос и щеки в черных бляхах. Если зимой вернется, вывалит среди избы из мешка мерзло стучащих муксунов; если летом — просунув пальцы в трубой вытянутый рыбий рот, прет через плечо матерого осетра и с хрястом бросает его тоже среди избы. У осетра хлопаются жабры, шевелятся выюнами обвислые щупы-усы, смотрит он мутнеющим, пьяным взором укоризненно: что, дескать, с вами сделаешь? Попался — ешьте, на то я и рыба. Влезши за пазуху под олубенелую телогрейку, отец нашаривал там грязную тряпицу с завязанным в ней комом бумажных денег и бросал узел на стол. И все это молчком, ни на кого не глядя, одно слово — кулак, мироед, чуждый идеям пролетариата, как говорили в школе и на собраниях в сельсовете.

В доме сразу становилось тяжело, опасливо. Лешка, чернявый волосом, с природной смуглостью, с беззаботным характером — от матери, — потихоньку-полегоньку смывался из дому и появлялся уж в тот момент, когда надо идти с отцом в баню. Матери, Антонине, достались от северного климата слабые легкие, она не выдерживала жаркой бани.

Хотя отец не жаловался на хвори и вообще ни на что не жаловался, ни о чем ни с женой, ни с сыном не говорил, в бане, однако, не скрывал боли, лаял неизвестно кого и за что, гнул его ноги, бугрил, уродовал кости вечный спутник северных рыбаков — ревматизм.

Поначалу он растирал ноги горячим жидколистным веником, бросал на каменку пробный ковш воды, сидел, ждал, когда расшипится, будто боец, сосредоточивался перед атакой, готовился к схватке, затем хлопал ковша три-четыре подряд на охающую, взрывами вскипающую каменку и, заорав: «А-а-а в кожу мать!» — бросался ныром на полку и начинал истязать себя двумя вениками до того, что терял всякий контроль над собой, улюлюкал, завывал, охал, кричал, выражался при этом столь громко и виртуозно, что черный потолок бани вот-вот должен был обрушиться на осквернителя слова, веры, материнской чести. От чернословья, от робости, его охватившей, да чтоб совсем не задохнуться, Лешка приотворял дверь, высовывал наружу голову, ловил мокрыми губами сладкий воздух. Но с полка раздавался приказующий рык, и Лешка со всех ног бросался к кадучке с водой, слепо тыкая в нее, на ощупь попадал в воду, сдавал на каменку, думая, что, наверное, конца этому действию никогда не будет.

Но постепенно могучая стихия сдавала, отец сникал на полке, два-три раза пускал храп, от которого в керосиновой лампе гнуло огонек, затем, по-детски всхлипнув, ощупью спускался с полка на нижнюю ступеньку, разводил в шайке воду. Костлявый, с клешнястыми руками, как бы в надетых на них кожаных рукавицах, облепленный листом, пахнувший березой и дымом, отец натирал Лешку вехтем, старался делать это полегче, но все равно больно драл кожу чугунными мозолями, словно царапал ногтями оголившиеся кости, проходя по ребрам что по стиральной доске.

— Ты че такой худой-то? — осоловело-отмякло гудел он. — Ты ешь, парень! Ешь, крепче будешь. — И обработав мальчишку, окатив его мягкой водой, спокойно, но грустным уже голосом добавлял: — Расейскому мужику надо быть крепким. Ево такая сила гнет, што слабому не устоять.

Однажды отец не вернулся домой в урочное время. Его ждали до зимы. С севера, с Обской губы, возвратились рыбацкие катера с лихтерами, принесли весть: была буря, утонула целая бригада рыбаков и вместе с нею бригадир Павел Шестаков. Отца в широкой воде так и не нашли — замыло его и связчиков-рыбаков вязким обским илом, иссосали его шустрые обские налимы иль выбросило на один из бесчисленных островов и там расклевали его птицы. Что унес в своей скрытной душе отец — вызов, бунт, непокорность или так никому и не

высказанную доброту? Но Лешка помнил редкую ласку отца и слова его о том, чтоб больше ел и крепче был, тоже помнил, ныне вот и осознавать их глубокий смысл начал — припекло. Да чтоб он хоть еще одну осечку сделал!..

Лешка подрастал, шастал по тайге за ягодой, кедровыми шишками, лежал день-деньской на мосточках, ловя проволочной петелькой шургаев-вертешек, чтобы тут же их бросить собакам, ждущим подачек от своих мучителей и союзников. Мать поступила работать в рыбокооп. Дом теперь стоял на Лешке — не до игрушек стало. Меж делами Лешка вдруг обнаружил, что мать помолодела, вроде бы даже и похорошела. Неужто радовалась гибели отца и тому, что гнет кончился? От такой мысли морочно на душе Лешки становилось — это ж предательство, может, и того хуже...

В дом зачастил приемщик рыбы, известный по всей Нижней Оби шалопай с прозвищем Герка-горный бедняк, получивший свое знатное прозвище за то, что однажды на спор будто бы выпил он десять бутылок настойки «Горный дубняк» — и не помер.

«Из дому уйду!» — пригрозил Лешка матери.

Но на нее уже ничего не действовало. Она ошалела — девчонкой отдали ее замуж, не погуляла она, не помиловалась, почти пропустила, извела понапрасну молодость и вот наверстывала упущенное, в двадцать семь лет брала от жизни ей жизнью и природой положенное.

Зимой Герка-горный бедняк работал экспедитором в рыбокоопе, на засольно-копильной фабричонке, по совместительству преподавал военное дело в школе. Кроме того, ухорез этот, погубитель женского рода, писал стихи на чередующиеся праздничные темы, к патриотическим датам, про любовные дела и чувства тоже не забывал. Его стихи печатали в районной газете, и они потрясали сердца шурышкарцев, школьники-старшеклассники, учительницы, которые помоложе, заучивали их наизусть. «Я у знамени стою и присягу охраняю» — патриотическое стихотворение это было поставлено на сцене в виде спектакля-монтажа, с барабанным боем, с ревом горна и развевающимся над головами пионеров красным знаменем. Стихотворение «Мне видишься ты темными ночами зарницей яркою на алом небосводе» шурышкарцы пели на мотив «Здравствуй, мать, прими привет от сына». Сверх всего этого Герка-горный бедняк

участвовал в художественной самодеятельности в качестве конферансье и солиста. Дивились шурышкарцы на разностороннее развитие человека — по одной земле ходит, в одной столовке ест, даже деревянный туалет, накренившийся над Обью, один и тот же посещает, но вот поди ж ты! Угостить вином, пригреть в избе, да и просто пообщаться с Геркой-горным бедняком всяк шурышкарец почитал за большую честь. По нынешним временам у такого молодца-вундеркинда поклонниц было бы не меньше, чем у восточного богдыхана, так что и работать бы он в конце концов вовсе бросил, только бы наслаждался жизнью. Однако до войны бестолковой люди, что ли, были, малоизворотливы, совестливы, все пытались жить не песнями, а своим полезным трудом, иные не без успеха. Что касемо душевных дел и привязанностей, тут лишь сама душа имела решающее значение. Сама она, страдалица, направляла чувства в надлежащую сторону.

Конечно, у Герки-горного бедняка поклонницы водились, большей частью дамочки из культурной среды либо приезжие на лето студентки, но на веки вечные и полностью суждено было ему заполнить сердце Лешкиной матери Антонины. Стоило шурышкарской зимней ночью появиться Герке-горному бедняку на позарями освещенной, заснеженной улице с баяном на груди и почти позаграничному загадочно в нос выдать сценически отточенным тенорком:

Х-хэх, у меня е-эсть сэ-эрдце,  
Ха-а у сэ-эрдца ие-эс-ня-а-а,  
Ха у пе-эс-ни та-ай-на-а-а...  
Х-хочешь, отгада-ай... —

как мать теряла всякий рассудок, бегала из угла в угол, вороша содержимое кладовки и сундука, не зная, во что бы ей нарядиться, чтобы выглядеть всех красивей. В конце концов горный этот бедняк прочно обосновался в крепко рубленной избе за Шурышкарами, которые, впрочем, бурно разрастаясь, почти уже достигли окраинного дома, сделали загиб от берега Оби улицею вдоль Сора и вместе с Сором уходящей в клюквенное болото.



Герка-горный бедняк принес с собою в ящике из-под консервов пару модных штиблет, запутанные рыбацкие снасти, флакон с духами, несколько патефонных пластинок, под мышкой мандолину. В доме сделалось шумно, музыкально. Антонина, почти не имеющая слуха, летала по избе, подпевая Герке, беспечно-удалая стала она, всем все прощала и в самом деле помолодела, сняв с себя этот вечный хантыйский платок, ровно бы век копченный над огнем и сделавшийся неопределенного цвета. А глаза с искрой, с бесом, пляшущим в зрачках, скулы продолговатые обнажились, губы бруснично заалели, под ситцевым платишком, топыря его спереди и сзади, обозначилось небольшое, но ладное тело.

Явившись домой, Лешка часто заставал такую картину — сидят Герка-горный бедняк с матерью обнявшись, веселенькие, от людей отъединенные, всем на свете довольные и во всю-то головушку ревут:

«И в двух сердцах открылась эта тайна,  
и мы влюбились крепко, не шутя...»

В избе было три комнаты, разделенных дощатыми перегородками. Одна из них сама собой отошла Лешке. Перейдя из дневной в вечернюю школу, пристроившийся учеником в узел связи, с выпрыснувшими по щекам пупырышками и крылатыми усиками под носом, прыщавый, злой Лешка ворочался в смятой постели, слыша, как, задушенная совершенно невероятными силами, мать грозила своему кавалеру, иль невенчаному мужу.

— Я тебя и себя запласну! Разделочным ножом.

— Эй, молодые, — стучал грубо и громко в заборку Лешка, — дайте покой людям!..

Утром мать, строя по сторонам раскосыми хантыйскими глазами, из ореховых перекрасившихся в задымленные, ладилась разговориться с Лешкой, подсовывала ему послаще еду, а Герка-горный бедняк, вертясь перед зеркалом с бритвой, как ни в чем не бывало кричал из передней:

— Эй, сынуля! Подкинь папироску. Я свои искурил.

Весной молодые ушли по Оби на рыбоприемочном плашкоуте, Герка-горный бедняк приемщиком, мать резальщицей, разделочницей

рыбы. И стали они на весь сезон где-то на Оби, притулив свое суденышко к подмытому, комарами опетому берегу, возле летнего стойбища хантов. С тех пор летами Лешка хозяйничал в доме сам один, пристрастился читать книжки, полюбил связистское дело и начал потихоньку от родителей отвыкать. Родители же, предоставленные сами себе в маленькой беленькой каюте с кирпичной печуркой и занавесочками на окнах, кушали хорошую рыбку, икру, песенки на всю Обь орали и под песни сотворили сестер, за один сезон одну — Зойку, за второй сезон вторую — Веру. Сотворили было и третью, но очень трудно было уже и с этими двумя девочками, не считая Лешку, и та, третья сестра, не увидав света, уплыла в верхний мир, объяснили Лешке родители.

Девочек, Зою и Веру, беспечные родители сбыли-таки в Казым-Мыс к деду и бабке, и они явились под крышу родного дома уже «поставленные на ноги». Белобрысые — в папу, темноглазенькие — в мать, чего-то лепечущие, игровитые, до удивления дружные существа эти вызывали в Лешке какие-то неведомые, должно быть, родственные чувства. Девочки тоже любили Лешку, но больше всего на свете любили они добродушных, лохматых северных псов. Отец Антонины держал в Казым-Мысе свору псов — для охоты и для упряжки. Девчушки, привыкшие к своим собакам, лезли к любому псу с обниманиями. Овчарка начальника райотдела милиции чуть не загрызла до смерти Зою, испортила ей лицо. Лешка и сейчас помнит, да что помнит — вживе ощущает, как, прижавши ко груди, носит он по избе существо с забинтованным лицом, из ссохшихся бинтов с упреком и страданием спрашивают его, пронзают насквозь детские опухшие глаза: «За что? Что это такое? Это такая жизнь?» С того вот несчастья, от того взгляда пробудилась в Лешке жалость к сестрам, да и они, нуждающиеся в его помощи и защите, хоть и малые, тоже чего-то понимали, тянулись к нему и друг к другу. Изгрызенная собакой девочка вскочит ночью, закричит... другая девочка уж тут как тут, приложит ладошку ко лбу болезной и сидит, сидит у кровати, безропотно ей прислуживая. Родители ж ничего, дрыхнут. Встанет заспанная мать, посмотрит на малышку и, зевая, скажет: «Ниче-о-о, отойдет».

Махнул Лешка рукой на родителей — худая на них надежда, собой заняты. Папаша сделал одно-единственное важное дело —

сразил озверелую овчарку из винтовки школьного военного кружка и посулился сделать то же с самим хозяином, если он сей момент не покинет Шурышкары. Начальник милиции не покинул Шурышкары, но и в суд, как сулился, не подал за незаконное применение огнестрельного оружия. Два боевых человека, два важных чина распили где-то литруху-другую — и дело завершилось миром. А в остальном Герка-горный бедняк не испытывал никаких тревог и неудобств, также и семейных оков на себе не ощущал. Антонина устала терзаться ревностями, бегать за мужем по поселку. Лицо ее снова погасло, сделалось похожим на деревянную маску, какие встречались в лесу на северных становищах, снова курила, когда папиросы, когда и трубку, снова завесила лицо пологом дымно-коричневого платка, старалась быть ближе к дочкам, но те ее долго дичились, льнули к Лешке.

На войну Герка-горный бедняк ушел не сразу, как военрука его задержали на время, на сборы, на фронт он угодил уже в зимнюю кампанию, под Москву, где получил орден Красного Знамени. Прислал карточку, на которой стоял он, облокотившись на деревянную тумбочку, в казацкой кубанке, с орденом, полученным на фронте, и со значком БГТО, завоеванным еще в Шурышкарах. В петлице его прилепился ярким светлячком кубарик. Очень любил Герка-горный бедняк разные железки, знаки, значки. Глаза героя глядели ясно, прямо и приветливо. Мать измусолила всю карточку, уверяя девочек, но больше всего себя, что такой человек, отец, стало быть, ихний, такой красавец, никогда и нигде не пропадет, а как вернется домой, так всех любить будет после окопных страданий и невзгод, что и сказать невозможно.

«Папа наш! Папа наш!» — вперебой с мамкой целуя карточку, умилялись девчушки и норовили утащить от матери ту карточку под свою подушку. Полагая, что война, как и сулили большие люди, скоро и победно кончится, мать бросила курить, чтоб посвежесть к приезду знатного супруга. Ведь сам герой в редких своих, зато стихами писанных письмах заверял коротко, но твердо: «Бьем врага без всякой пощады!»

Уразумев, что не все еще его уму доступно на этом путаном свете, Лешка, перешедший на пушной промысел в тайгу, написал первое письмо Герке-горному бедняку, шутовское, непринужденное письмо.

Только в одном письме Герка-горный бедняк перешел со стихов на прозу:

«Мать не бросай и не обижай. Она и от меня обид много поимела. Она у нас совершенно чудесный человек, но понял я это лишь в пучине жестокой огненной битвы... Надеюсь, что и Зою с Верой ты никогда не оставишь».

И заныло у Лешки в груди, и только теперь, после этого письма, понял он, что война идет нешуточная, когда она кончится — одному Богу известно, и вернется ли с войны Герка-горный бедняк, родитель их непутевый, никто не знает.

Школьницы Зоя и Вера писали крупными тараканьими буквами на тетрадных четвертушках:

«Дорогой наш братик! Мы живем хорошо. Учимся хорошо. Койра оценилась. Белянка отелилась. Кот-бродяга имаёт пташек. Мама на работе. Дома все хорошо. В Шурышкарах стоит холодная зима. Мы возим на санках воду с Оби. А какая погода у вас? Целуем крепко-крепко, твои сестры — Зоя и Вера, да еще мама велела целовать!»

Господи, что бы он только не сделал, чтобы повидать сестренку и мать! Кажется, как прижал бы к груди и не отпускал бы, воды бы им полную бочку навозил. Какие они еще работники? Совсем вроде бы по сроку, по дням-то и месяцам, недавно из дома, но кажется — век прошел. Кажется все прожитое и пережитое в далеких милых Шурышкарах таким дивным, таким обворожительным сном. Ему почудилось даже, что последнее письмо имело запах, ощутимо пахло детским теплым дыханием, слабым молочным духом веяло, и Лешка, отвернувшись, тайно поцеловал письмо, два раза поцеловал там, где писано было — «Зоя и Вера», поцеловавши, почувствовал мокро на глазах и тайно же поругал себя: «Ну вот, раскис! Чего и особенного-то, в самом-то деле? Все служат. У всех семьи дома остались, матери, сестры, может, и братья есть. Кабы не расхвораться совсем, не ослабнуть. Отец, тот, настоящий, свой, чего говорил? Какой завет давал?»

Мать прислала в наспех кем-то сколоченном ящике мороженных сигов, туесок с икрой, табачку и орехов мешочек. Письма же никакого, даже записки не было — «что, если сестренки заболели? Корью? Кашлем? Не дай Бог, поносом?» — встревожился Лешка.

Лежа на жестких нарах с ноющим животом, пытался представить он себе родные Шурышкары, широкую Обь, объятую белой тишиной, пересыпающейся искрами. Больших морозов еще нет, неглубоки еще снега, еще бывает красная заря вечерами, проступает в небе тяжелой глыбой из жуткой, запредельной отдаленности голокаменный Северный Урал. Но к середине декабря не станет зари, неба над головой, все займет собой морозная ночь, только сполохи на небе будут напоминать, что есть верхотура над землею, не укатился шарик в сумрачный, безгласный угол, который дышит недвижным холодом из мироздания. Огоньки в окнах шурышкарцев едва светят сквозь мерзлые окна, и на те огоньки движутся на яр, тащат-везут две маленькие фигурки лагуху с водой, привязанную к салазкам.

Видел как-то Лешка в хрестоматии на картинке детей, везущих кадушку с водой, лица бледные, испытые, сил нет, лишь собачонке, бегущей вослед возу, весело. Под картинкой подпись: «Так было в проклятом прошлом». Какую же подпись ставить под картинкой, если нарисовать Зою и Веру, взбирающихся на гору, на голос динамика, надыхавшегося холодом, обмерзшего изнутри, железным ртом шебаршащим о наших грядущих победах на войне и о героическом труде в тылу.

В разжиженной сполохами темноте только динамик да треск дерева и слышны, только они и подтверждают, что в студеном мороке есть дома, живут там люди, говорит радио, — корова Белянка ждет воды на пойло, кот-бандит — молока, собака Койра, прикрыв животом щенят, припавших к сосцам, больно их перебирающих, ждет остатков еды со стола.

Среди шурышкарских парней считалось хорошей затеей сходить на кладбище, посидеть на одной из могил, выкурить трубку табака, в завершение еще всадить в бугорок нож.

Если учесть, что на кладбище этом, притулившемся у истока Сора, среди болотного сосняка, затянутого голубикой, багульником и морошкой, однажды всю ночь ходил светящийся «шкелет» и каждый раз, как заляжет ночь в округе, среди крестов начинает что-то ухать,

завывать, красный мрак мерещится, пронзая тьму, то станет ясно, что на шурышкарское кладбище сходить решался не всякий.

Лешка сходил, нож воткнул. Правда, не с первой попытки сходил, зато спугнул среди могил шлявшуюся с железной плоской, полной раскаленных углей, местную колдунью-хантыйку Соломенчиху. В зубах у нее трубка, седые волосы выпущены на оленью комлайку. «У-ух! — стала она пугать Лешку, тыча в нос ему светящейся плоской. — У-у-ух! Комытай-топтай-болтай!» — и закрутилась на одном месте, трясла лохмотьями, соря искрами с плоски...

Соломенчиха бесшумной тенью вползла в казарму первого батальона, взялась на нары первой роты, села, ноги колесом. Лешка потянул руку к трубке. Она шлепнула его по руке: «Неззя, — заскрежетала зубами, — беркулезница я». Сплюнула, высморкалась в подол юбки. Кости Соломенчихи брякнули, будто кибасья сетей. Лешка вспомнил — Соломенчиха-то давно померла, сюда, в расположение первой роты, на нары, пробрался только «шкелет», но трубка у нее еще та, с медным ободком, которую положили с колдуньей вместе в могильный сруб. Еще ей туда положили три папухи листового табака, пачку денег, чтобы Соломенчиха могла сходить в сельпо, когда ей захочется опохмелиться, в изголовье, где было прорублено окошечко, — ханты в могильном срубе делают окошечки, чтоб видно было охотников, идущих с добычей, слышался бы лай собак, — поставили стакан водки. К березкам, невысоко, но густо поднявшимся над кладбищем хантов, прислонили старые нарты, повесили медный чайник, бутылку с дегтем, чтобы Соломенчиха могла намазаться, когда начнет подниматься мошка, от комаров же спасения нет и на том свете.

Ребята пробрались на кладбище хантов. Водка в стакане была почти выпита. Соломенчиха в коричневом платье, в истлевшем платке, сквозь который проткнулись седые космы, лежала спокойно, трубку крепко держала на груди в почерневших пальцах.

«Ты зачем пришла сюда? — спросил Лешка Соломенчиху. — Здесь военная казарма. Нечего тебе здесь делать». Соломенчиха вынула трубку из беззубого рта, сплюнула, сиплым от табака голосом сказала: «Ха! Мне ничего не страшно. Я — колдунья. Это тебе страшно. Ты — живой!..» Она потянула из гаснущей трубки — одуряюще сладко запахло табаком. «Деляги впритырку курят на

нижних нарах», — ответил Лешка, и ему тоже неистребимо захотелось курить. «Ну дай ты мне, Соломенчиха, хоть разок потянуть. Никакого туберкулезу я не боюсь. Тут вон и похлеще болезнь пристала!» — не дает старуха потянуть. Он попытался вырвать трубку из зубов старухи, начал бороться со скелетом, оторвал с трубкой костлявую голову. Но тут Соломенчиха изловчилась, трубку выдернула из зубов своей головы, спрятала руку за спину. «Че делаешь, сатана? Отдай час же башку мою! Мне говорить нечем...» Взяла Соломенчиха голову, приставила куда надо, смежила глаза, начала раскачиваться, петь заунывно-тоскливым голосом северной пурги. Из воя, хлопанья и порывов ветра складывались внятные звуки: «Ох, Алексей, Алексей! Зачем ты украл звезду с могилы Корнея-комиссара? Ты дразнил меня вместе с шурышкарскими парнишками, напускал собак, они меня драли. Я старая, хвораю, червяк точит мою середку...» «Я больше не буду, — принялся каяться перед горькой старухой Лешка, поднялись у него слезы, закупорили горло, дышать нечем. — Звезду я не сламывал. На меня свалили. Скажи, кто взял звезду дяди Корнея?» — «Сторож с причалу. Он враг народа был, долго звезду ломал. Искры летели, огонь сыпался. Припадки бить его начали. Корней-то все ходил за ним: «Отдай мою звезду! Отдай! Не тебе, а мне партия на могилу звезду прикрепила...» Без звезды могила потерялась. Все кладбище со звездами и крестами потерялось. Темно в Шурышкарах. Электричество не работает. Карасин берегут. На детях малых воду возят».

Вернулся с войны безногий брат покойного Лешкиного отца, который прежде работал шкипером на дебаркадере. Это мать в письме сообщает. Она приняла его в дом. Он жил в Лешкиной комнате, сапожничать выучился, пьяный в бане запарился, по обмыленным доскам скатился с полка на каменку, ожегся, умирая, кричал; «Пусть звезду мне на могилу выстрогают...»

— Доходяги! Хворыя! Симулянты! Весь честной народ, подъем на ужин!..

«О-оо, матушки! — очнулся Лешка. — Такой хороший сон прервали, обалдуи!»

Первой военной зимой Лешка с бригадой охотников-промысловиков ушел в тайгу добывать дикое мясо и пушнину. К

пушнине утратился интерес, она упала в цене, однако ее все же принимали, сказывали — для Америки, там все еще наряжаются в дорогие меха.

Бригада уехала в глубь материка, поселилась в заброшенном станке возле речки Ох-Лох. Промысловики поставили сети и на другой день едва их вывели из-под льда — так много попало рыбы. Использовали рыбу на кроху в ловушках, иначе говоря — на приманку зверей.

Удача сопутствовала бригаде. Пока снег был неглубок, промысловики свалили два десятка оленей, пару сохатых, медведя в берлоге застрелили. В загороди, в петли, поставленные в лесу, дико лезла птица — куропатка, глухарь, в пасти — песец, лиса, горноста́й. Зверь ровно чуял войну, жил беспокойно, много бродил в эту зиму по тайге. Охотники же были на войне, никто тайгу не тревожил.

В январе бригада снарядила олений оргиш на приемный пункт. Нарты были тяжело нагружены мясом, шкурами, рыбкой едовой — чира, пелядки, сига тоже взяли мужики «на закусь». Сдав мясо и пушнину, давно не видевшие людей промысловики, еще не хватившие военной голодухи, загуляли по древнему обычаю — широко, разудало. В ту первую военную зиму водилась еще водка в бутылках по здешним городкам и селениям, нужды еще большей ни в чем не было — северный завоз, сделанный весной, до начала войны был, как и в прежние годы, без раскладок, ограничений, однако карточки на хлеб появились и здесь.

На приемный пункт заготпушнины мужики отправили Лешку. Молодого еще, костью жидкого, они не неволили его тяжелой работой и пока ворочали, таскали на горбу мясные туши, парень из сум и мешков выкладывал пушнину на жиром сверкающий прилавок с облупившейся краской.

Красивая, но отчего-то унылая деваха в беличьей шапке, в сером свитере, кутающаяся еще и в пуховую шаль, безучастно смотрела, как он перед ней потряхивал богатствами, такими плавучими, воздушными. Не считая беличьих связок, приемщица ставила цифры на бумагу, кивком указывала, куда, в какой угол швырять это руку радующее добро.

Лешке сделалось обидно: знала бы, ведала эта краля, сколько труда и пота надо употребить, чтобы отыскать, добыть и обиходить



шкурки, которые обратятся золотом, на то золото оружие купят, продуктов, снарядов, амуниции. Но хотя он и сердился, на душе было все равно празднично оттого, что вышел из тайги на люди, что сдает пушнину, — результат труда целой бригады, что электричество горит в бревенчатом лабазе, еще пронырливыми тобольскими купцами построенном.

— Тебя хоть как зовут-то?

— Томой.

— А меня Лешкой.

Девушка зевнула, потянулась, под мышками на свитере обнаружили у нее дырки, в дырки видно голенькое тело в пупырышках, со скатавшимися на них волосиками.

— У меня в пушном техникуме друг был, — хлопая ладошкой по зубастому рту с вялыми, резиново растянувшимися губами, сообщила девушка и, подышав на руки, стала выписывать квитанцию. — Тоже Лешей звали.

— Ты бы хоть одежду-то зашила.

— Что?

— Свитру б зашила, говорю. Обленилась тут и мышей не ловишь.

— А-а, свитр? Я на фронт хочу! — вдруг сердито заявила приемщица и громко хлопнула штемпелем по квитанции. — Что мне свитр? Что мне это заведение? В медсестры хочу! Раненых с поля боя...

— В кино не хочешь?

Сразу оплывая, успокаиваясь, девушка снова заговорила.

— Десятый раз «Трактористов» смотреть? Да я уж и левшу Крючкова и белоглазую Ладынину возненавидела! А прежде обожала... — Она пристально и, как ему показалось, оценивающе — так пушнину бы глядела! — всмотрелась в него. — Знаешь что, работник-охотник! Приходи-ка ты ко мне в гости. Чайку попьем, разговоры поразговариваем. Ты мне свитру... зашьешь, а? — Она подмигнула ему, дурашливо засмеявшись при этом.

Жила приемщица здесь же, в теплой половине лабаза, где прорублено два окна, одно на восход, другое на полдень. Окна обросли непроницаемо-толстым ледяным панцирем. Теплушка была чисто побелена, пол выскоблен, на аляющей плите шипела сковородка,

подпрыгивала крышка на чайнике, с подоконника в подвешенные бутылки текла натаявшая вода.

Тома, в ситцевом коротком платишке, в оленьих унтах, расшитых голубыми и вишневыми полосками да стеклянным бисером, хлопотала в своем жилье. Настороженного, напряженно-скованного гостя Тома встретила приветливо:

— Ну, раздевайся, охотничек-работничек, чего стоишь? В ногах правды нет. Пить будем и гулять будем, а смерть придет — отдыхать будем! — притопнула Тома красивым унтом.

«Она тоже стесняется», — догадался Лешка, но бывала Тома на людях больше, все же в городе училась, друга, говорит, имела, постарше все ж его, шурышкарского паревана.

Накрепко закрючив дверь на железный кованый крюк, Тома достала из-под занавески настенного шкафчика бутылку спирта с наклейкой, попросила Лешку распечатать напиток и развести. Лешка быстро сделал то и другое, опасливо подсел к столу, довольно богато заставленному: здесь были овощные консервы, копченый омуль и стерлядка, вяленая обская селедочка, жареная картошка с мясом, брусника и морошка моченая. «На фронт захотела! — усмехнулся Лешка. — Кто тебя кормить там эдак станет?!..»

Они чокнулись, и, задержав свой стакан возле его стакана, волоокая чернобровая Тома вновь ему подмигнула:

— За все хорошее, охотничек-работничек! — Выплеснув в рот спирт, как бы вдохнув его в себя, Тома охотно пояснила: — В пушном техникуме к таежным испытаниям готовилась. — И опять ему подмигнула.

Она играла с ним, ровно бы заманивала его в потаенное местечко. Еще не попав туда въяве, но зная, чего там его ждет, Лешка уже трудно дышал, терялся, оттого и утратил словоохотливость, мысли его куда-то ускользали, не задерживаясь на месте.

В Шурышкарах не считалось предосудительным давать детям вино, натаскивать их в этом деле уже году на десятом, так что к шестнадцати-семнадцати годам шурышкарский пареван умел уже все: ходить на лодке, управляться с сетями и на сенокосе, промыслять в тайге, пить водку, любить и бить бабу. Оттого и жил шурышкарский мужик на белом свете недолго, но уж зато наполненно, в большом удовольствии.

Лешку как-то миновала всеобщая шурышкарская зараза. Ну не совсем миновала, покойный отец приневоливал его, заставлял отведать горючки, хвалил за храбрость, называл настоящим мужиком, но отец бывал дома два-три раза в год. Герка-горный бедняк, слава Богу, не обращал на пасынка внимания, он сам выпивал все, что можно было выпить, оттого-то Лешка к вину по-настоящему не обвык. Приняв у Тома враз полстакана спирту, он поплыл по волнам в гибкое, шатучее пространство, тошнотным теплом его обволакивающее.

— Ты ешь, ешь, — слышалось издалека сквозь навязчиво зудящую препону.

Вместо того чтобы есть, Лешка, притопнув, воскликнул:

— Я петь хочу! Плясать хочу!

— Мамочка моя! — слышалось снова издалека, — Да с чего плясать-то?

— Мы будем петь и смеяться, как дети!.. — звонким фальцетом затянул Лешка и, намерясь снова притопнуть ногой, повалился со скамейки.

— Э-э, охотник-работник! Да ты еще совсем сеголеточек! — помогая подняться кавалеру, качала головой Тома. — А ну поди сюда, поди, маленький! Поди, хорошенький! Поди, черноглазенький!

Она подвела гостя к кровати, села на постель, положила его голову на колени и, перебирая жесткие хантыйские волосы, шарясь в них, покачивала гостя, наговаривала певуче-нежное: «На горе во лесу хуторочек стоит, как во том хуторочке красна девица спит...»

Лешке было хорошо, душа его в те минуты жила такой покойной жизнью, так была переполнена своим уютom, домашностью, что он, никакого усилия над собой не делая, протянул руку и погладил по волосам певунью, показалось ему, коснулся беличьего меха, теплого, хвоей пахнувшего.

И все, что произошло у них потом, было так же хорошо, естественно, никакого чувства омерзения Лешка не испытал, проснувшись рядом с Томой в чистой постели, под одеялом, на которое сверху был брошен еще толстый олений сокуй.

Тома спала, приоткрыв розовые губы, дышала ровно, на шее запутались ее пышные волосы. Почувствовав его взгляд, она дрогнула губами, открыла глаза, полежала, подышала. «Полежи, охотник-работник, понежься», — похлопав по одеялу, сказала она, скользнула

из-под одеяла, передернулась от холода, сунула босые ноги в унты, набросила на рубашку сокуй, прихватила его возле горла и стала растапливать плиту.

Он украдкой, в один глаз следил за ней, не мог еще поверить, что с ним свершилось то, о чем много болтают мужики, чем тревожится во сне и бредит наяву всякий здоровый подросток. Свершилось так вот просто. По-новому, радостно живет его душа, облегченно, успокоенно тело. Чувством торжественной победы пронизана каждая клеточка, каждая кровинка в нем. И все это дала ему неизвестно за что вон та женщина, то создание, обернутое в оленьи шкуры, которое, растопив печь, сидит на кукорках, смотрит в огонь и думает о чем-то своем, сощурился, в общем-то, совсем не волоокие, скорее печальные и усталые глаза.

Надо было что-то сделать, куда-то увести девушку от глухой задумчивости, прихватившей ее у печки, отвлечь, приласкать. Лешка ступил босыми ногами на холодный пол, подкрался и схватил Тому сзади за теплую мягкую шею. Сняв его руки с шеи, она поместила их под сокуем на груди.

— Пусть согреются, — прошептала.

Было благоговейно тихо, даже таинственно. Лешка начал постигать в ту минуту высокий смысл естественной жизни — весь он, этот смысл, состоит в ожидании таких вот встреч, есть в ней, в жизни, незыблемо-вечное, и все может сотворить только женщина. Счастье, добро — все, все на свете в ее жертвенности, в ее разумности, приветной нежности.

— Спасибо тебе! — едва слышно прошелестел он, коснувшись губами маленького уха Тома.

Еще два дня и две ночи пировали промысловики, еще двое суток уюта и счастья было у Лешки. Распрощались они с Тamarой так же, как и встретились, без лишних слов, без вздохов и обещаний. Она проводила его до зимника, сбегаящего на Обь. Он отодвинул прорезь сокуя с лица, улыбнулся ей, помахал рукой — белая пыль за клубилась следом за нартами, навсегда запорошив девушку, которая подарила ему лучшие в его жизни дни.

Он пробовал ей писать отсюда, из запасного полка, она отозвалась. Но в письмах Тома была скучна, жеманна, складно-вымученна, совсем, совсем не такая, как на самом деле.

Первоначально, пока не дошли парни до ручки, рассказывали они, у кого и как было в первый раз, некоторые успели жениться, но все, и женатики, и холостяки-удальцы, и вольные кавалеры, почему-то говорили о первой близости с женщиной как о поганом грехе, со срамной, непременно употребляя какое-нибудь скотско-грубое сравнение.

Большинству парней рассказывать было не о чем, не случилось у них еще первого раза, у многих уже и не случится.

У Лешки хватило ума и северного характера, склонного к потаенности, не оскорбить словом того, что летучим облачком коснулось его жизни, отлетело в тот уголок памяти, где должны храниться у человека личные ценности. Ничего плотского, телесного Лешка уже не помнил. Тело, оно, как и составная его часть — брюхо, добра не помнит, однако в памяти, в уголке том дальнем таилось сделавшееся частью его воспоминание, и суждено ему было сохраниться навсегда. Но для того, чтобы до конца это осознать, понадобится нахлебаться досыта грязи, испытать гнетущий груз одиночества, походить под смертью, чтоб после наверняка уж себе сказать: у мужчины бывает только одна женщина, потом все остальные, и от того, какая она будет, первая, зависит вся последующая мужичья судьба, наполненность души его, свойства характера, отношение к миру, к другим людям, и прежде всего к другим женщинам, среди которых есть мать, подарившая ему жизнь, и женщина, давшая познать чувство бесконечности жизни, тайное, сладостное наслаждение ею.

## Глава одиннадцатая

Как ни береглись в ротах, как ни наказывали разгильдяев, как ни убеждали людей проникнуться ответственностью времени — ничего не помогало, дисциплина в полку падала и падала. Множилось количество больных гемералопией и еще больше тех, кто симулировал болезнь. Люди устали от казарменного скопища, подвальной крысиной жизни и бесправия, даже песня «Священная война» больше не бодрила духа, не леденила кровь и пелась, как и все песни, поющиеся по принуждению, уныло, заупокойно, слов в ней уже не разобрать, лишь завывания «а-а-а-а» и «о-о-ой» разносились по окрестным лесам и по военному городку.

Дожили до крайнего ЧП: из второй роты ушли куда-то братья-близнецы Снегиревы. На поверке перед отбоем еще были, но утром в казарме их не оказалось. Командир второй роты лейтенант Шапошников пришел за советом к Шпатору и Щусю. Те подумали и сказали: пока никому не завлечь о пропаже, может, пошакалят где братья, нажрут, нашьются и опять же глухой ночью явятся в роту.

— Ну я им! — грозился Шапошников.

На второй день, уже после обеда, Шапошников вынужден был доложить об исчезновении братьев Снегиревых полковнику Азатьяну.

— Ах ты Господи! Нам только этого не хватало! — загоревал командир полка. — Ищите, пожалуйста, хорошо ищите.

Братьев Снегиревых, объявленных дезертирами, искали на вокзалах, в поездах, на пристанях, в общежитиях, в родное село сделали запрос — нигде нету братьев, скрылись, спрятались, злодеи.

На четвертый день после объявления братья сами объявились в казарме первого батальона с полнущими сидорами. Давай угощать сослуживцев калачами, ломая их на части, вынули кружки мороженого молока, растапливали его в котелках, луковицы со дна мешков выбирали. «Ешьте, ешьте! — по-детски радостно, беспечно кричали братья Снегиревы. — Мамка много надавала, всех велела угостить. Кого, говорит, мне кормить-то, одна-одинешенька здесь бобылю».

— Вы где болтались? — увидев братьев, обессиленный, все ночи почти не спавший, серый лицом, как и его шинель, без всякого уже

гнева спросил у братьев Снегиревых командир второй роты.

— А дома! — почти ликующими голосами сообщили братья Снегиревы. — Че такого? Мы ж пришли... Сходили... И вот... пришли... А че, вам попало из-за нас?

— Но в сельсовет села был сделан запрос.

— А-а, был, был, — все ликуя, сообщили братья. — Председатель сельсовета Перемогин тук-тук-тук деревяшкой на крыльце, мамка лопоть нашу спрятала, обутки убрала, нас на полати загнала, старьем закинула, сверху луковыми связками, решетьем да гумажьем забросала.

— Чем-чем? — бесцветно спросил Шапошников.

— Ну гумажьем! Ну решетьем! Ну это так у нас называется всякое рванье, клубки с тряпицами, веретешки с нитками, прялки, куделя...

«Пропали парни, — вздохнул Шапошников, — совсем пропали...»

— Потеха! Председатель Перемогин спрашивает у мамки: «Где твои ребята?» — «Служат где-то, бою учатся, скоро уж на позиции имя...» — «Ага, на позиции, — согласился председатель сельсовета Перемогин. — Вот только на какие?» Мы еле держимся на полатях, чтобы не прыснуть.

В особом отделе у Скорика братья Снегиревы были не так уж веселы, уже встревоженно, серьезно рассказывали и не вперебой, а по очереди о своем путешествии в родное село, но вскоре один из братьев умолк.

— Корова отелилась, мамка пишет: «Были бы вот дома, молочком бы с новотелья напоила, а так, что живу, что нет, плачу по отце, другой месяц нет от него вестей, да об вас, горемышных, всю-то ноченьку, бывает, напролет глаз не сомкну...» Мы с Серегой посовещались, это его Серегой зовут в честь тяткиного деда, — ткнул пальцем один брат в другого. — Он младше меня на двадцать пять минут и меня, как старшего, слушается, почитает. Да, а меня Еремеем зовут — в честь мамкиного деда. Именины у меня по святцам совсем недавно, в ноябре были, у Сереге еще не скоро, в марте будут. До дому всего шестьдесят верст, до Прошихи-то. И решили: туда-сюда за сутки или за двое обернемся, зато молока напьемся. Ну, губахта будет нам... или наряд

— стерпим. Мамка увидела нас, запричитала, не отпускает. День сюда, день туда, говорит, че такого?

— Вы откуда святцы-то знаете?

— А все мамка. Она у нас веровающая снова стала. Война, говорит, така, что на одного Бога надежда.

— А вы-то как?

— Ну мы че? — Еремей помолчал, носом пошвыркал и схитрил: — Когда мамка заставит — крестимся, а так-то мы неверовающие, советские учащие. Бога нет, царя не надо, мы на кочке проживем! Хх-хы!

«О Господи! — схватился за голову Скорик и смотрел на братьев не моргая, ушибленно, а они, полагая, что он думал о чем-то важном, не мешали. — О Господи!» — повторил про себя Скорик и подал братьям два листка бумаги и ручку.

— Пишите! — выдохнул Скорик. — Вот вам бумага, вот вам ручка, вот чернила, по очереди пишите. И Бог вам в помощь! — Отвел глаза, отвернулся к окну от присадисто-крепких рыжеватых братьев, различия у которых при пристальном взгляде все же имелись: старший был погуще цветом, и черты лица у него немножко крупнее, выразительней, на кончике правого уха махонькой сережкой висела бородавочка. Шрамов еще штуки на три было больше у старшего: лоб рассечен — падал с коня или с качели, порезался головой о стекло, катаясь по траве, губа рожком — в драке или в игре досталось.

Пока братья писали по очереди и старший, покончив свое дело, вполголоса диктовал младшему, говоря: «Че тут особенного? Вот бестолковый! Пиши: «Мамка, Леокадия Саввишна, прислала письмо с сообщением, отелилась корова...» — Скорик глядел в окно, соображая, как защитить братьев этих, беды своей не понимающих детей, как добиться, чтобы суд над ними был здесь, в расположении двадцать первого полка. Здесь ближе, в полку-то, здесь легче, здесь можно надеяться на авось. Может, полковник Азатьян со своим авторитетом? Может, чудо какое случится? И понимал Скорик, что бред это, бессмысленность: что здесь, в полку, что в военном округе в Новосибирске — исход будет один и тот же, заранее предрешенный грозным приказом Сталина. И не только братья — отец пострадает на фронте, коли жив еще, мать как пособница и подстрекательница



пострадает непременно, дело для нее кончится тюрьмой или ссылкой в нарымские места, а то еще дальше.

Серега сосредоточенно, напряженно работал, прикусив кончик языка, добросовестно под диктовку Еремея излагая свое злодеяние. За окном шла обыденная полковая жизнь, ходили строем и без строя солдаты, окуржавелые, неестественно мохнатые кони на подсанках везли обледенелый лес с реки, следом, держа ослабленно вожжи, шли, курили, сморкались солдаты в полушубках, велось строение новых казарм, на одном срубе ставили стропила, по-домашнему распоясанный крупный солдат с усами пошатал стропилину, наклонившись, что-то подколотил топором. Из кухни на помойку дежурные пара за парой выносили грязные бачки, выливали помои на темносерую островерхую гору. Мутное, по-весеннему бурное мокро катилось вниз, подшибая птиц, чего-то клюющих в месиве; грязным потоком тащило капустные листья, переворачивало ржавую бочку без дна, трепало тряпье, рваный ботинок, стекло блестело, жечь. Над помойкой на сосняке грузно висели старые вороны, чистили клювы и лапы о сучья. Молодые же все подлетали, подскакивали, чего-то выхватывали из потока. Пестрые сороки и нарядные сойки тут же безбоязненно вертелись, отпархивая от воронья, тоже чего-то излавливали и, шустро отпрянув с добычей в сосняк, клевали с бою взятое.

Двое обношенных, на бродяг больше похожих, но не на строевых солдат, вели под руки третьего по направлению к санчасти. Капитан Дубельт, скользя хромовыми сапогами по утопанной, стекольно-гладкой дорожке, спешил куда-то, посторонился, пропуская солдат, покачал головой и заскользил дальше, придерживая одной рукой все еще не обмененные очки, другой рукой взмахивая в воздухе, чтоб не упасть.

— Все, товарищ старший лейтенант. Написали мы. — Скорик вздрогнул. Еремей, аккуратно сложив две бумажки, тянул их через стол, угодливо, через силу улыбался. — Уработались! Аж спотели! — И все улыбался Еремей, все искал глазами глаза Скорика. — Непривышные мы к бумажной работе, нам вилы, лопаты да коня бы.

— Хорошо. Посидите. — Скорик пробежал по бумаге, с ошибками, неуверенным, школьным почерком исписанной, потянулся было к ручке, чтоб исправить совсем уж явные ошибки, и тут же

отдернул руку: там, в высоких, строгих инстанциях, поймут, что писали малограмотные, несмышлениши еще, люди, не понимающие ни грозности времени, ни своего положения в нем, вчерашние школьники писали, деревенские люди, газет не читающие, никаких приказов не знающие. Может, проникнутся... — Распишитесь вот здесь, — ткнул пальцем старший лейтенант в бумагу ниже куцега, на четвертушке бумаги уместившегося текста.

Братья старательно расписались, сидели, празднично положив крупные жилистые руки, так не совпадающие с доверчивыми, простодушными лицами, подернутыми цыплячьим пушком. Скорик убрал бумагу в конверт, заклеил его, написал адрес военного округа, номер отдела, куда надлежало отправить этот конверт вместе с братьями. Они сидели, все так же чинно держа руки на коленях. Скорик вдруг бросил конверт, схватил через стол братьев Снегиревых, стиснул руками их головы, тыкался в их лица своим лицом.

— Что же вы наделали, Снегири?... Ах, братья, братья! Ах, Снегири, Снегири!.. Ах...

Их приговорили к расстрелу. Через неделю, в воскресенье, чтобы не отрывать красноармейцев от занятий, не тратить зря полезное, боевое время, из Новосибирска письменно приказали выкопать могилу на густо населенном, сплошь свежими деревянными пирамидками заполненном кладбище, выделить вооруженное отделение для исполнения приговора, выстроить на показательный расстрел весь двадцать первый полк.

«Это уж слишком!» — зароптали в полку. Командир полка Геворк Азатьян добился, чтобы могилу выкопали за кладбищем, на опушке леса, на расстрел вели только первый батальон — четыреста человек вполне достаточно для такого высокоидейного воспитательного мероприятия — и присылали бы особую команду из округа: мои-де служивые еще и по фанерным целям не научились стрелять, а тут надо в людей.

Братьев Снегиревых привезли в полк вечером и определили в помещение гауптвахты. Служивые из первой и второй рот, обуянные чувством братства и виноватости, пытались проникнуть к арестантам, погутарить с ними, развеять их тягостное настроение, съестного сунуть — табаком и выпивкой братья Снегиревы еще не баловались.

Но охрана приехала иссужа, в новое одетая, орет, свирепо затворами винтовок клацает. Бойцы двадцать первого полка к этой поре обрели уже большой опыт пронируемости и непослушания. Пока великий мастер всевозможных обдуваловок Леха Булдаков ругался с охранниками, заговаривал им зубы, ребята с другой стороны землянки выдавили рукавицей стекло, закатили в окно пяток вареных картошин, забросили завернутый в бумаге кусочек сала да и поговорили маленько с братьями: мол, спите спокойно, дурачат вас, никакого расстрела не будет, пострадают, помучают, а как же иначе-то? И пошлют в штрафную роту, как Зеленцова...

Скорик стоял чуть поодаль, среди командиров батальона и представителей штаба полка. Сам батальон, построенный буквой «П» подле мерзлой учебной щели, строя не держал, разбивался на стайки, поплясывая, покуривая. Видно было, что ни командиры, ни батальон не прониклись чувством беды, потому и могилу наряд не выкопал, прошакалил, у костра прогрелся, слегка оцарапав стены щели, сдал ее в пользование все в той же уверенности, что братьев Снегиревых подержат возле щели, холостыми пальнут да и отправят на фронт. Зачем же и за что убивать людей, да таких еще зеленых? От них может польза быть на войне и дома, в крестьянстве.

Был тут один человек, который твердо знал, что братьев пустят в расход, — это помкомвзвода Владимир Яшкин, но и чином и ростом он так мал, что ни Скорик, ни другие командиры не обращали на него внимания и тем более не догадывались ни о чем его спросить. Яшкин и топтался-то поодаль, в стороне, и одно-единственное чувство владело им: все равно не миновать братьям Снегиревым кары, не в том месте они находятся, не в то время живут, когда царь-батюшка миловал приговоренных к смерти государственных преступников уже на помосте, с петлями, надетыми на шею. А раз так, то скорее бы все и кончалось, шибко холодно на дворе да и неможется что-то, знобит с вечера, не расхвораться бы. В этой большой могиле, беспечно именуемой Чертовой ямой, запросто пропадешь.

Яшкин повидал кое-что пострашнее, чем расстрел каких-то сопливых мальчишек. Под Вязьмой или под Юхновом — где упомнишь? — свалка по всему фронту шла, видел он выдвинувшуюся за неширокую, но глубокую пойменную речку танковую часть, которой надлежало обеспечить организованный отход и переправу через

водную преграду отступающих частей, дать им возможность закрепиться на водном рубеже. Яшкин да и все отступающие войска очень обрадовались броневой силе, поверили, что наконец-то дадут настоящий бой фашисту, остановят его хотя бы на время, а то так с самого прибытия на фронт мечутся да прячутся, бегают по земле, стреляют куда-то вслепую. Танки, занимая позиции за рекой ночью, все сплошь завязли в пойме, и утром, когда налетела стая самолетов и начала прицельно бить и жечь беспомощные машины, командир полка или бригады со штабниками и придворной хеврой бросили своих людей вместе с гибнущими машинами, удрали за речку. Танки те заскребены были, собраны по фронту, большинство машин чинены-перечинены, со свежими сизыми швами сварки, с царапинами и выбоинами на броне, с хлябающими гусеницами, которые, буксуя в болотной жиже и в торфе, посваливались, две машины оставались и после ремонта с заклиненными башнями. Танкисты, через силу бодрясь, заверяли пехоту: зато мол, боекомплект полный, танк может быть использован как вкопанное в землю забронированное орудие.

Но с ними, с танкистами и с танками, никто не хотел сражаться, их били, жгли с неба. Когда черным дымом застелило чахло заросшую пойму и в горящих машинах начал рваться этот самый полный боекомплект, вдоль речки донесло не только сажу и дым, но и крики заживо сгорающих людей. Часть уцелевших экипажей вместе с пехотой бросились через осеннюю речку вплавь. Многие утонули, а тех, что добрались до берега, разгневавшийся командир полка или бригады, одетый в новый черный комбинезон, расстреливал лично из пистолета, зло сверкая глазами, брызгая слюной. Пьяный до полусмерти, он кричал: «Изменники! Суки! Трусы!» — и палил, палил, едва успевая менять обоймы, которые ему подсовывали холуи, тоже готовые праведно презирать и стрелять всех отступающих.

И вообще за речкой обнаружилось: тех, кто жаждал воевать не с фашистом-врагом, а со своими братьями по фронту, гораздо больше, чем на противоположном берегу боеспособных людей.

Под покровом густого кислого дыма от горящего торфа и машин разбродно отступившим частям удалось закрепиться за речкой. Володя Яшкин из окопчика, уже выкопанного до колен, видел, как примчался к речке косячок легковых машин, как из одной машины почти на ходу выскочил коренастый человек в кожаном реглане, с прискоком, что-то

крича, махая рукой, побежал к берегу речки, нервно расстегивая кобуру. Он застрелил пьяного командира танкистов тут же, на месте. И с ходу же над речкой, на яру, чтобы видно всем было, сбили, скидали в строй остальных командиров в распоясанных гимнастерках с пятнами от с мясом выдранных орденов и значков отличников боевой и политической подготовки. Этим расстреляли автоматчики из охраны командира, одетого в реглан. Успевшие попрятаться в пехотные щели танкисты, увидев, какая расправа чинится над предавшими их командирами, без понуканий оказались на другом берегу речки, чинили машины и под покровом ночи увели за водный рубеж, вкопали в берег три танка. Кажется, на сутки удалось возле речки обопнуть, приостановить противника, но потом, как обычно, оказалось, что их уже обошли, окружили и надо с этих гарью затянутых, горелым мясом пропахших, свежими холмами могил помеченных заречных полей сниматься, военные позиции оставлять.

Знатоки сказывали, что командир танковой бригады, оказалось, все-таки бригады, так храбро воевавший со своими бойцами, был пристрелен командующим армией, который метался по фронту, пытаясь организовать оборону, заштопать многочисленные прорехи во всюду продырявленном фронте, уже на подступах к Москве имея приказание подчинять своей армии без руля и без ветрил отступающие части, и тут уж не щадил никто никого и ничего.

Повалявшись в госпиталях, поошивавшись на всевозможных пересылках, распределителях, послужив почти полгода в двадцать первом полку, Яшкин отчетливо понимал, что порядок в этой армии и дальше будет наводиться теми же испытанными способами, как и летом сорок первого года на фронте, иначе просто в этой армии не умеют, неспособны, и что значат какие-то парнишки Снегиревы? Таких Снегиревых унесет военной бурей в бездну целые тучи, как пыль и прах во время смерча уносит в небеса.

Яшкин высморкался, потуже затянул пояс на просторной шинели и заприплясывал, застучал обувью вместе с бойцами первой роты, те, подталкивая друг друга, ворковали, сморкались, кашляли, даже и всхохотнули. Есть еще, значит, у солдатиков бодрость в теле, прыть в душе, могут еще смеяться, тем тяжелее, тем страшнее им будет...

У Скорика поплясывали губы. Он беспрестанно тер потеющие руки, забыв перчатки в кармане, не чувствуя холода, и все время почему-то спадывала шапка с головы его, веселя командиров.

Стоял морозец градусов за двадцать. Солнечно было и ясно в миру, с сосен струилась белая пыль, вспыхивая искристо в воздухе. Радужно светящиеся нити с неба тянулись над лесами и в поле, вились над дорогой, соединялись в клубок и катились по зеркально сверкающей полознице.

— Лева, надень перчатки, — услышал Скорик голос младшего лейтенанта Щуся. — И спусти уши у шапки, ум отморозишь.

— Да, да, спасибо, Алексей. Что же они там? Холодно ж бойцам.

— Привычное. — Щусь понизил голос. — Лева, неужели этих пацанов расстреляют? Или опять комедия?...

— Не знаю, Алексей, не знаю. Случались чудеса во все времена...

И снова ожидание, толкотня, но уверенность в том, что все это томление может закончиться, как желалось бы сердцу, отчего-то слабела с каждой минутой. Тут еще воронье налетело из городка с помоек, шайкой закружилось над полянами, над учебным плацем, каркает, орет. Пойми вот, отчего веселится черная птица, возможно, и бесится, накликает беду.

— Едут, едут! — послышались голоса.

Построение качнулось, зашевелилось, начало сбиваться в кучу, смешивая и вовсе нестрогий военный порядок, угодливо освобождая саням дорогу, люди тянули головы, переспрашивали тех, кто повыше, кто спереду, ближе к дороге: — Как?

— Батальон! Поротно стоять! — крикнул командир первого батальона Внуков, одетый в полушубок, обутый в валенки.

Подъехало три подводы. На передней, в кошевке командира полка, прикрытый полостью, сидел очкастый майор в длинной шубе. Очки у него от дыхания подернулись изморозью, он пытался глядеть сверху очков, и заметно было — ничего не видит, часто слепо моргает.

За кошевкой подкатали розвальни хоззвода, спиной к головке саней на коленях стояли, плотно прижавшись друг к другу, братья Снегиревы, сверху прикинутые конской попоной, обутые в ботинки на босу ногу. Между штанами и раструбами незашнурованных ботинок виднелись грязные посиневшие щиколотки. Против братьев, тоже на коленях, стояли два бойца, держа на сгибах рук новые карабины не со

съемными, а с отвернутыми на ствол штыками. На третьей подводе ехали еще три бойца с карабинами, во главе с лейтенантом, легко и ладно одетым в ватные брюки, в новые серые валенки, бушлат на нем был плотно подпоясан, сбоку, чуть оттянув ремень, висела кобура, из нее пугающе поблескивала истертая ручка многожды в употреблении бывавшего пистолета.

На ходу легко, как бы даже по-ухарски спрыгнув с подводы, лейтенант привычно, умело начал распорядиться. Для начала заглянул в земляную щель, поморщился, но тут же махнул рукой, сойдет и так, тренированно избегая взглядов командиров и сбитого в подобие строя батальона, лейтенант не обращал вроде бы никакого внимания ни на военный люд, ни на осужденных, указывал, кому куда идти, кому где стоять, кому что делать.

Минут через пять по велению лейтенанта все было слажено как полагается, братья Снегиревы стояли спиной к щели-могиле, на мерзло состыкшихся песчаных и глиняных комках. Песок пепельно рассыпался под ногами, братьям то и дело приходилось переступать, отыскивать ботинками более твердую опору. Лейтенант указал:

— Стоять! Спокойно стоять!

Слева и справа от братьев встали сопровождавшие их бойцы, все так же держа наизготовку на сгибах локтей карабины, строго и непроницаемо глядя перед собой. Затворы карабинов стояли на предохранителях, значит, в патронник заслан патрон, попробуй бежать — стрельнут.

За могилой, приставив карабины к ноге, отдаленно маячили хмурые приезжие стрелки.

Лейтенант осмотрелся, еще раз буркнул: «Стоять как положено!» — махнув рукой возле уха, доложил майору о готовности.

Майор выпростался из-под меховой полости, по-стариковски долго и неловко взбирался на дощаной облучок, взобравшись, начал тщательно протирать белым платочком очки, совал дужки очков под шапку, не попадая за уши, пальцем дослал их к переносице, обвел внимательным взглядом напряженно замерший строй. Пока он производил все эти действия личного характера, лейтенант отодвинулся в сторону, закурил папиросу, сразу сделался незаметным, как будто его и вовсе здесь не было, — давно работает мужик при

какой-то карательной команде, приучен к строгому обиходу и дисциплине.

Батальон, правда, не обращал на лейтенанта внимания, все, от вконец застывшего Петьки Мусикова и до командира батальона Внукова, не отрываясь смотрели на осужденных, готовые в любое мгновение помочь им, дать рукавицы, шапку, закурить ли, но никто не делал и не мог сделать к ним ни малейшего шажка, и от этого было совсем неловко, совсем страшно. Ведь вот же, рядом же, совсем близко обреченно стоящие парнишки, наши, российские парнишки, братья не только по классу, но и по Божьему завету, — так почему же они так недостижимо далеко, почему нельзя, невозможно им помочь? Да скажи бы сейчас, что все это наваждение, все это понарошке, весь батальон заорал бы, рассыпался бы по снежному полю, не глядя на мороз разулся, разделся бы, обул, одел, на руках унес бы этих бедных ребят в казарму и уж никогда бы, никогда, никогда никто бы...

Братья Снегиревы выглядели худо, лица у них даже и на висках ввалились, обнажив жестянки лбов, глаза у братьев увело вглубь, пригасило их голубое свечение, оба они сделались большеносы и большеухи, были они какого-то неуловимого цвета, тлевого, что ли, такого цвета и в природе нет, он не смывается, этот цвет, он стирается смертью. Готовя братьев к казни или борясь со вшивостью, их еще раз остригли, уж не под ноль, а по-за ноль, обозначив на голове шишки, раздвоенные макушки, пологие завалы на темечках, белые скобочки шрамов, давних, детских, приобретенных в играх и драках. Вперед всего замечались эти непокрытые головы, на которые бусило снежной пылью, и пыль не то чтобы таяла, она куда-то тут же исчезала, кожей впитывалась, что ли. Совсем замерзли, совсем околели братья Снегиревы, уже простуженные в тюрьме или в дороге. У Сереги текло из носу, он его натер докрасна. Не смея ослушаться старшего команды, лейтенанта, стараясь ему изо всех сил угодить, надеясь, что послушание непременно им зачтется, осужденные стояли как полагается, не утирая даже рукавами носов, лишь украдкой подбирали языком натекающие на верхнюю губу светленькие, детски-резвые сопельки да часто шмыгали засаженными носами, не давая особо этим сопелькам разгуляться.

Осмотревшись, шире расставив ноги, чтоб не упасть, отстранив далеко от очков бумагу, майор начал зачитывать приговор. Тут уж



Сергея с Еремеем и носами швыркать перестали, чтоб не мешать майору при исполнении важного дела ничего не пропустить. Текст приговора был невелик, но вместителен, по нему выходило, что на сегодняшний день страшнее, чем дезертиры Снегиревы, опозорившие всю советскую Красную Армию, подорвавшие мощь самого могучего в мире советского государства, надругавшиеся над честью советского бойца, нет на свете.

— Однако ж, — буркнул командир батальона. «Хана ребятам, хана», — окончательно порешил Яшкин. «Умело составлена бумага, ничего не скажешь, так бы умело еще воевать научиться», — морщился Скорик.

— Они че? — толкнул его в бок Щусь. — Они в самом деле распишут ребят?...

— Тихо ты... Подождем.

Чудовищные прегрешения и преступления этих двух совсем окоченевших парнишек самих их так ошеломили обвинительными словами, до того ударили, что у них перестало течь из носов, да еще каким-то, последним, видать, внутренним жаром опажнуло так, что на лбах у обоих заблестела испарина, но, несмотря ни на что, они и батальон ждали: вот скоро, вот сейчас свершится то, чего они ждут. Сейчас, сейчас...

В ботинках стиснуло босые ноги, пальцы сделались бесчувственно стеклянными, братья же твердили себе, убеждали себя: «Потом отойдем, потом...»

Батальон, не переступая, не шевелясь, во все глаза глядел, всем слухом сосредоточился — вот скоро, сейчас вот пожилой, в общем-то, старенький уже, такой симпатичный майор еще раз протрет очки, водрузит их, покашляет, помуржжит народ и со вздохом облегчения: «...но движимая идеями гуманизма, учитывая малолетство преступников и примерное их поведение в мирное время, наша самая гуманная партия, руководимая и ведомая отцом и учителем к полной победе...»

Володя Яшкин, нареченный патриотическими родителями в честь бессмертного вождя, ничего уже не ждал и хотел одного; чтобы все-таки как можно скорее все кончилось. Кажется, и Скорик ничего не ждал, но пытался обмануть себя, да и все, пожалуй, кроме самих

осужденных и зеленых красноармейцев вроде Коли Рындина, ожиданиям своим уже не верили, но очень хотели верить.

Майор и в самом деле протер очки, всадил их глубже на переносице и тем же сохлым от мороза голосом дочитал:

— «Приговор окончательный, обжалованию не подлежит и будет немедленно приведен в исполнение».

Все равно никто не шевелился и после этих слов, все равно все еще чего-то ждали, но майор никаких более слов не произносил, он неторопливо заложил листок бумаги в красную тощую папочку, туже и туже затягивал на ней тесемки, как бы тоже потерявшись без дела или поражаясь тому, что дело так скоро закончилось. Одну тесемку он оборвал, поморщился, поискал, куда ее девать, сунул в карман.

— Вот я говорил, я говорил! — вдруг закричал пронзительно Серега, повернувшись к брату Еремею. — Зачем ты меня обманывал? Зачем?!

Еремей слепо щупал пляшущей рукой в пространстве, братья уткнулись друг в друга, заплакали, брякаясь головами. Распоясанные гимнастерки, мешковато без ремней висящие штаны тряслись на них и спадали ниже, ниже, серебряная изморозь все оседала на них и все еще гасла на головах.

— Да что ты? Что ты? — хлопал по спине, поглаживал брата Еремей. — Оне холостыми, как в кинe... попугают... — Он искал глазами своих командиров, товарищей по службе, ловил их взгляд, требуя подтверждения своим надеждам: «Правда, товарищи, а?... Братцы, правда?...» Но Еремей видел на всех лицах растерянность или отчуждение — относит его и брата, относит от этого берега, и ни весла, ни шеста, ни потеси нет, чтоб грестись к людной земле, и никто, никто руки не протягивает. «Да что ж это такое? Мы же все свои, мы же наши, мы же...»

«Неужели он и в самом деле не понимает? Неужели же еще верит?...» — смятенно думал не один Скорик, и Щусь думал, и бедный комроты Шапошников, совсем растерзанный своей виной перед смертниками, многие в батальоне так думали, по суетливости Еремея, по совершенно отчаянному, кричащему взгляду разумея: понимает старшой, все понимает — умный мужик, от умного мужика рожденный, он не давал брату Сереге совсем отчаяться, упасть на мерзлую землю в унижительной и бесполезной мольбе. Брат облегчал

последние минуты брата — ах, какой мозговитый, какой разворотливый боец получился бы из Еремея, может, выжил бы и на войне, детей толковых нарожал...

Между тем трое стрелков обошли могилу, встали перед братьями, двое охранников подсоединились к ним, все делалось привычно, точно, без слов.

«Пятеро на двух безоружных огольцов!» — качал головой Володя Яшкин, и недоумевал Щусь, ходивший в штыковую на врага. Помкомвзвода видел под Вязьмой ополченцев, с палками, ломami, кирками и лопатами брошенных на врага добывать оружие, их из пулеметов секли, гусеницами давили. А тут такая бесстрашная сила на двух мальчишек!..

— Во как богато живем! Во как храбро воюем! — будто услышав Яшкина... отчетливо и громко сказал командир первого батальона Внуков. — Че вы мешкаете? Мясничайте, коли взялись...

— Приготовиться! — ничего не слыша и никого не видя, выполняя свою работу, скомандовал пришлый, всем здесь чуждый, ненавидимый лейтенант. Вынув пистолет из кобуры, он взял его, поднял вверх.

— Дя-аденьки-ы-ы! Дя-аденьки-ы-ы! — раздался вопль Сереги, и всех качнуло в сторону этого вопля. Кто-то даже переступил, готовый броситься на крик. Шапошников, не осознавая того, сделал даже шаг к обреченным братьям, точнее, полшага, пробных еще, несмелых. Лейтенант-эксекUTOR, услышав или заметив это движение наметанным глазом, резко скомандовал: «Пли!»

И было до этого еще мгновение, было еще краткое время надеяться, обманывать себя, была еще вера в чудо, в пришествие кого-то и чего-то, способного избавить братьев от смерти, а красноармейцев и их командиров от все тяжелее наваливающегося чувства вины и понимания, что это навсегда, это уже неповторимо, но как взметнулась вверх рука с плотно припаявшимся к спуску крепким пальцем, закаменело в груди людей всякое чувство, всякое время остановилось, пространство опустело. «Все!» — стукнулось тупой твердью в грудь, рассыпаясь на какие-то тошнотные пузырьки, покатилося в сердце, засадило его той удушливой слизью, которая не пропускала не только дыхание, но даже и ощущение боли. Только непродыхаемое мокро сперлось, запечаталось в груди.

И был еще краткий миг, когда в строю батальона и по-за строем увидели, как Еремей решительно заступил своего брата, приняв в грудь почти всю разящую силу залпа. Его швырнуло спиной поперек мерзлой щели, он выгнулся всем телом, нацарапал в горсть земли и тут же, сломившись в поясице, сверкнув оголившимся впалым животом, вяло стек вниз головою в глубь щели. Брат его Сергей еще был жив, хватался руками за мерзлые комки, царапал их, плывя вместе со стылым песком вниз, шевелил ртом, из которого толчками выбуривала кровь, все еще пытаясь до кого-то докричаться. Но его неумолимо сносило в земную бездну, он ногами, с одной из которых свалился ботинок, коснулся тела брата, оперся о него, взнял себя, чтоб выбиться наверх, к солнцу, все так же ярко сияющему, золотую пыльцу изморози сыплющему. Но глаза его, на вскрике выдавившиеся из орбит, начало затягивать пленкой, рот свело зевотой, руки унялись, и только пальцы никак не могли успокоиться, все чего-то щупали, все кого-то искали...

Лейтенант решительно шагнул к щели, столкнул Серегу с бровки вниз. Убитый скомканно упал на старшего брата, прильнул к нему. Лейтенант два раза выстрелил в щель, спустил затвор пистолета и начал вкладывать его в кобуру.

— Отдел-ление-э! — властно крикнул он стрелкам, направляясь к саням.

Заметив ботинок, спавший с Сереги, вернулся, сопнул его в могилу.

— Мерзавец! — четко прозвучало вослед ему, но лейтенант на это никак не отреагировал.

Кружилось над поляной и орало воронье, спугнутое залпом, спешно улетающее в глубь сосняка. Отделился от роты и как-то бочком, мелким шажком семенил к лесу помкомвзвода Яшкин. «А ты куда? — хотел остановить его Щусь. — Кто взвод поведет? — И увидел, как следом за Яшкиным к лесу, скользя на ходу, придерживая шапку, спешил Лева Скорик. — И этот смывается! — раздражился Щусь. — Выполнил боевую задачу, доклад пошел писать о блестяще проделанной работе...»

— Убийцы!

Костлявый, ободранный, с помороженными щеками человек, отчетливо схожий ростом, статью да, наверное, и голосом с незабвенным заступником за всех бедных и обиженных, всевечным

рыцарем Дон Кихотом. Вместо таза на голове его был островерхий буденовский шлем с едва багровеющей звездой на лбу, наглухо застегнутый на подбородке, толсто обмерзший мокротой, копыя вот не было и Санчо Пансы не было.

— Убийцы!

Вздвев руки к небу, с голыми, красными, куриной кожей покрывшимися запястьями, сотрясался и сотрясал воздух нелепый человек в нелепой одежде. Батальон, не дожидаясь команды, рассыпался, разбежались ребята от свежей могилы. Их рвало, Коля Рындин, такой же большой и нелепый, как Васконьян, рокотал между наплывами рвоты, шлепая грязным слюнявым ртом:

— Бога!.. Бога!.. Он покарат! Покарат!.. В геенну!.. Прокляты и убиты... Прокляты и убиты! Все, все-э...

— Убийцы!

— Кончай, кончай блажить! — крикнул на Васконьяна Щусь. — Шагом марш в казарму!

Васконьян послушался, запереставлял ноги в сторону леса. Но все так же сотрясал руками над головой и все так же поросячьи-зарезанно вопил: «Убийцы!».

«Все, с катушек, видно, съехал один мой боец!» — не успел это подумать младший лейтенант, как услышал плач казахов, сбившихся вокруг Талгата.

— Малчик, сапсем малчик убили... — уткнувшись в грудь своего старшего, тряслись казашата. — Мы картошкам воровали...

Талгат глядел в небо, задирает голову выше, чтобы не видно было лица, он не вытирал слез, он ожесточенно бил себя по оскаленному рту, перекатывая звуки:

— О Алла! О Алла! О Алла!

Ребята-красноармейцы, и казахи и русские, совсем оробели, глядя на Талгата, потерянно жались друг к дружке.

— Товарищи командиры, что это? Что за спектакль? Наведите порядок! Прикажите закопать расстрелянных, уводите людей в расположение.

— Мы уж как-нибудь без ваших советов тут обойдемся, — подал голос командир первого батальона Внуков.

— Я вынужден буду... — отвердел лицом майор.

— Жене своей не забудьте доложить, как тут детей расстреливали...

— Шапошников! Прикажите закапывать! Лопаты-то хоть не забыли?

От батальона отделилась команда, человек семь с лопатами, и торопливо, словно избывая вину, желая выслужиться перед братьями Снегиревыми, начала грести на них мерзлые комки, песок со снегом.

— Чего не уезжаете-то? — все не глядя на майора, буркнул комбат. — Закопаем. Не вылезут...

— Ну знаете, — развел руками майор и начал устраиваться в кошевке, — у всякого своя работа. Мой долг...

— Харитоненко! — чувствуя, что комбат заводится (красноармейцы уши наострили, и до беды недалеко), перебил разгорающуюся полемику представитель из штаба полка, так как Азатьян казался больным. — Давай! Давай! — скомандовал он коновозчику и, чтобы потрафить настроению людей или от собственной дерзости, добавил: — Да не растряси ценный кадр!

Майор сделал вид, что ничего более не слышит, уткнул лицо в шинель, зарылся носом в шарф, соединил плотнее ноги под полостью, коротко вздохнул; «Эх народ, народ, ничего-то не хочет ни понимать, ни ценить!..» — и пробовал думать дальше про жизнь, про судьбу свою, про ответственную, но неблагодарную работу, однако скоро задремал, согрившись в удобной покачивающейся кошевке, под цоканье копыт лошадей, под музыкально звучащие полозья кошевки, о братьях Снегиревых, о только что проделанной работе он сразу же забыл.

Командир двадцать первого стрелкового полка Геворк Азатьян своей властью отменил на понедельник все занятия и работы.

В казармах было сумрачно, прело и еще более уныло. Нехорошей тишиной объята казарма: никто не шастал по расположению, не орали дежурные, не маячил старшина, не показывались из землянок командиры. Дымилась лишь кухня трубою, да и то истомленно, изморно дымилась.

В землянке лейтенанта Шапошникова, ожидавшего суда и разжалования, молча пили горькую и не хмелели командиры первого батальона. К ним подсоединились обитатели соседних землянок.

Ночью, уже глухой, напившийся до бесчувствия Щусь рвался к штабу полка и кричал:

— Ах, армяшка! Ах, отец родной! Стравил ребятишек! Стравил! И под койку!.. Я те глаз выбью!..

Никуда его не пустили.

В своей комнате, украшенной портретами Ленина и Сталина, одиноко пил старший лейтенант Скорик. Он знал, что командиры полка где-то пьют, горюют, ему хотелось к ним, да как пойдешь-то, ведь морду набьют, чего доброго, и пристрелят.

Бойцам-красноармейцам пить было негде, не на что и нечего. Горевали всяк поодиночке, завалившись на нары, закрывшись шинелью. Лишь старообрядцы объединились. Нарисовали карандашом на бумажке крест и лик Богоматери — на него и молились за оружейной пирамидой. Коля Рындин чего-то божественное бубнил, несколько парней не на коленях, а стоя все за ним повторяли. Ребята, свесившиеся с нар, боязно слушали, никто не смеялся, не галился над божьими людьми.

Старшина Шпатор подошел к молящимся: шепотом попросил их перейти в помещение дежурки. Старообрядцы послушно отлепили бумажку от пирамиды, перешли в дежурку и всю ночь простояли на молитве, замаливая человеческие грехи.

«Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый, Сам, Господи, упокой души усопших раб Твоих, Еремея и Сергея, в месте светлом, в месте злачном, в месте покойном, идеже несть болезни, печали, ни въздыхания, всякое согрешение, содеянное ими делом, или словом, или помышлением, яко благ и Человеколюбец Бог, прости, яко несть человек, иже жив будет, и не согрешит. Ты бо Един без греха, правда Твоя, правда вовеки, и слово Твое истинно. Яко Ты еси воскресение, и живот, и покой усопших раб Твоих, Еремея и Сергея, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем со безначальным Твоим Отцом и Пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Помяни, Господи, новопреставленных рабов Божиих Еремея и Сергея и даруй им Царствие Небесное».

Уважая веру и страдание за убиенных, даже Петька Мусиков не нагличал в этот день. Иные красноармейцы потихоньку незаметно крестились. И старшина Шпатор, забывший все мирские буйства, все

окаянство жизни, пробовал молиться, хотел воскресить в себе божеское, крестясь в своей каптерке. Получалось это у него неуклюже, да вроде бы и опасливо.

— Че ты, Аким Агафонович? — спросил из-за печки Володя Яшкин.

— Ничего. Про все вот забыл. Пытаюсь покреститься, ан не вспомню ни креста, ни молитвы. А ты?

— А я и не умел. У меня родители комсомольцы-добровольцы, атеисты-активисты.

— Где они?

— Да х... их знает. Все по стране мотались, по стройкам. Все лозунги орали, песенки попевали. А я у бабушки рос — тоже каторжница и матершинница. Лупила меня, когда и поленом.

— Да-а, живем!

— Ты не переживай, Аким Агафонович. И не молись. Нету Бога. Иль не слышит Он нас. Отвернулся. — Яшкин притих за печкой, ровно бы для себя начал рассказывать про фронт, про отступление и в заключение молвил: — Был бы Бог, разве допустил бы такое?

Выползши из-за печки, Яшкин подбросил дров в железку и, забывшись, стоял на коленях перед дверцей. Какие видения, какие воспоминания томили и мучили его душу?

«Хоть бы никто не пришел. Мельникова бы черти не принесли», — вздохнул Шпатор и пошарил щепотью сложенными пальцами по груди. И только подумал он так, дверь в каптерку распахнулась и, захлопываясь, ударила в зад вошедшего комиссара, неусыпно трудящегося на ниве воспитания и поддержания боевого духа в подразделениях двадцать первого стрелкового полка. «Накликал, кликал окаянство», — загоревал старшина Шпатор.

— Что у вас здесь творится? — щупая зад, зашипел капитан.

— Солдаты об убиенных молятся. Верующие которые.

— И вы... И вы... позволили?

— А на веру позволения не спрашивают... даже у старшины. Дело это Богово.

— Н-ну знаете! Н-ну знаете!

— Ничего я не знаю, не дано. Пусть молятся. Не мешайте им.

— Я немедленно прекращу это безобразие.



— И сделаешь еще одну глупость. Десяток солдат молятся. Батальон их слышит. Вас вот не слышат. Спят на политзанятиях. А тут вон молитвы какие долгие помнят, оттого помнят, что к добру, к милости молитвы взывают, а у вас — борьба... Вечная борьба. С кем, с чем борьба-то?

Капитан Мельников начал оплывать, на нем, как на взъерошенном петухе, стали оседать и укладываться перья.

— Но в нашей армии нельзя, недопустимо!

— Кто вам это сказал? Где это записано? — подал голос из-за печки Володя Яшкин. Он сидел там как за бровкой окопа в засаде, трофейным складничком перевертывал на печке пластинки картошки.

— Они что, и на фронте будут молиться? — будто не слыша Яшкина, пошел в наступление комиссар.

— Если успеют, — валяя горячую картошку во рту, не унимался Володя Яшкин, — непременно взмолятся. Там раненые Боженку да маменьку кличут. Но не политрука. И мертвенькие сплошь с крестиками лежат. Перед сражением в партию запишутся, в сраженье же крестик надевают...

— Интересно, где это они их берут? — усмехнулся капитан Мельников.

— Научились в котелках из пуль отливать, из консервных банок вырезать. Коли уж русский солдат умел суп из топора варить...

— То-то воюют с Богом и крестом так здорово, аж до Волги.

— Еще и с непобедимым знаменем красным, со звездой и...

— Неприятностей-то не боитесь? — все строжась, предостерег Мельников, не желая больше слушать этих двоих из ума выживших тыловиков. Заменить бы их надо, а некем. Совсем редко в полку появляются люди из кадровой армии — полегли, видно, да в плен угодили.

— Чего их бояться? На передовой, товарищ капитан, одни только неприятности и происходят. — Яшкин поскоблил ножом по печке и снес в рот рыжую картофельную скорлупу, захрустел ею.

— Я не про те неприятности.

— А-а, вон вы на что намекиваете. — Яшкин приподнял кончиком ножа задымившийся пластик картошки. — Есть, есть. И там. На каждого воюющего по два-три воспитателя, так у нас вежливо

стукачей называют. В атаку идти некому. Все воспитывают, бдят, судят и как можно дальше от окопов это полезное дело производят.

— Как вы можете? Бывший фронтовик!

— Потому и могу, что уже ничего не страшно после того, что там повидал. Да и под пули опять мне же, потому как вояки вроде вас уже выпрямили линию фронта, дальше некуда выпрямлять.

— Яшкин, прекрати! — зыкнул старшина Шпатор и обратился к Мельникову: — Идите, товарищ капитан. Ступайте любить Родину и народ в своем кабинете. Здесь вы сегодня не к месту... Идите, идите. Мы вас не видели, вы нас не слышали. С Богом, с Богом!..

«Ему бы на фронт, к людям, пообтесался бы, щей окопных похлебать, землю помесить да покопать. Сколько же он голов позамутит, сколько слов попусту изведет», — думали старшина Шпатор и старший сержант Яшкин. И маялись они душевно, не себя, не ребят в казарме жалеючи, а капитана Мельникова, который столько еще пустопорожней работы сделает, веря, может, и не веря в слово свое, в передовое учение, зовущее в борьбу, в сражение, считая слово важнее любого сражения.

В дежурке все рокотал, все жаловался голос Коли Рындина, и единым вздохом, нараспев повторяли и повторяли за ним складные молитвы единоверцы:

— Боже милостивый! Боже правый! Научи нас страдать, надеяться и прощать врагам нашим...

«Да-а, эти, пожалуй, устоят. При всех невзгодах и напастях устоят», — подумал старшина Шпатор и плотно закрыл глаза. Володя Яшкин, напившись из бутылки лекарственного настоя, все ждал, когда пройдет нить в боку и скулеж в сердце — разбередил его, разбередил этот тупой, глупый иль очень ловкий и хитрый обормот, спасающийся в тылу посредством передового идейного слова.

## Глава двенадцатая

Землянку Щуся снова посетил Скорик. Поздоровался, разделся, подошел к столу, выставил из портфеля две бутылки водки, булку хлеба, достал селедки, завернутые в пергамент, и половину вареной рыбыны.

— Вот, — сказал он, оглядывая стол. — Не люблю оставаться должником. Нож, газету, вилки давай.

— Газеты и вилок нету. Нож на. — откликнулся Щусь, наблюдая за гостем отстраненно и встревоженно.

— Садись, Алексей, садись. Я на весь вечер затесался. И прогнать ты меня не посмеешь, ибо имею новости. Важнецкие. Терпи и жди. — Скорик налил в кружку водки, посидел и спросил вдруг: — Ты креститься умеешь? Не разучился?

— Если поднатужиться... У меня тетка была...

— Из монашек, — подхватил гость, — давай креститься вместе. — Скорик сложил в щепоть пальцы и медленно, ученически аккуратно приложил пальцы ко лбу, к животу, плечам. Щусь, смущаясь и кривя недоуменно губы, сделал то же самое. — Царство Небесное невинным душам братьям Снегиревым, не успевшим пожить на этом свете, твоей тетушке, отцу и матери. Царство Небесное.

Как бы не обращая более внимания на озадаченного хозяина землянки, Скорик трудно выпил водку, всю, до капли, сделал громкий выдох, посидел с закрытыми глазами, подняв лицо к потолку.

— Ах ты, разахты! — встряхнулся он и отщипнул вареной рыбы. Пожевал без всякой охоты. — А помогли нам несчастные Снегири, помогли! И тебе, и мне.

— Как?... Чего городишь?

— Все, Алексей Донатович, все! Мой рапорт удовлетворен, в округ вызывают, замена движется, более качественная. Особняк как особняк, а что я? Сын гнилого интеллигента, пауков любившего... Н-на фронт, на фронт. В любом качестве. А ты, дважды однополчанин мой, судя по всему, со своей ротой...

— Быть не может! А Геворк? Азатьян?

— Про него не знаю. Но командир первого батальона, первой и второй рот, как не оправдавший доверия...

— Какого доверия? Ты че?

— Родной партии, родного народа.

— А, оправдаем еще, оправдаем.

— Знаю я, знаю все, даже про тетку твою.

— Этого хотя бы не трогай. Но раз все знаешь, жива она или нет?

— Вот этого как раз не знаю, но думаю, не жива. Из тех краев не возвращаются.

— Но она — святая.

— Места-то окаянные. Ну, если тебе так хочется думать, думай, что жива. Я ж думаю про маму... — Скорик потер обеими руками лоб, словно омыл его. — Ладно, на минор не сворачивай, не за тем я пришел. Налей-ка вина хмельного. Разговор будет долгий...

Поздней ночью, обнявшись, шли они по расположению двадцать первого полка, на окрик часовых и патрулей в два горла откликались:

— Свои! Че те вылезло?!

Они уже ничего не боялись.

Прощаясь возле штабного дома, Щусь долго тряс руку Скорика, растроганно бормотал:

— Ну, спасибо, Лева! Вот спасибо! Вот ребята-то... Вот обрадуются. А им нужно, нужно перед фронтом подкрепиться, в себя прийти. Вот спасибо, вот...

Скорик сообщил «тайну»: сразу после Нового года в советской армии введут погоны и реабилитируют народных и царских времен полководцев. Первый же батальон по распоряжению свыше будет брошен на хлебоуборку и останется в совхозах и колхозах до отправления на фронт. Там, на этих небывалых работах — на зимнем обмолоте хлеба, — уже находится вторая, проштрафившаяся рота. В управлении военного округа боятся, что представители действующих армий не примут истощенных, полубольных бойцов из резерва, а это трибунал, стенка — Верховный же сказал на торжественном собрании в Кремле: «У нас еще никогда не было такого надежного и крепкого тыла» — и не потерпит, чтобы его слова не оправдались, вот и нашелся выход из положения.

Щусь благодарил Скорика, тряс его руку. Тот добродушно отталкивал младшего лейтенанта:

— Да я-то при чем? Порадело руководство, самое мудрое, самое находчивое, самое любимое, самое, самое... Да ну тебя, Алексей! Не туда лезешь целоваться! Дуй-ка лучше в заветную землянку. Удачи тебе! И до встречи там где-нибудь, на войне...

Дивное диво! Уборка хлеба среди зимы. Воистину все перевернулось в этом мире. Не зря, не зря переворот был, не зря Господь отвернулся и от этих землю русскую населяющих людей, от земли этой, неизвестно почему и перед кем провинившейся. А виновата-то она лишь в долготерпении. От стыда и гнева за чад, ее населяющих, от измывательства над нею, от раздоров, свар, братоубийства пора бы ей брыкнуться, как заезженной лошади, сбросить седока с трудовой, седлами потертой, надсаженной спины.

Она и сейчас ровная, пространственно-тихая, в чем-то виноватая, девственно-чистая, после спертого, гнилого духа казармы сахарно-сладким воздухом наполненная, сияла из края в край белыми снегами, переливалась искрами, и веяло от нее покоем, отстраненностью от мирской суеты, от всех бед, стенаний и горя. Губами чмокали казахи: «Степ! Наш степ! Шыстый-шыстый!» Ребята черпали снег грязными рукавицами, пробовали его на язык, когда подана была команда на остановку, вдруг наступило замешательство, не могли они запаковать белый снег, возле казармы могли, но здесь... Нашли наконец рытвину, выбитую трактором, отлили в нее, да и загребли валенками желтые пятна.

В начале января 1943 года солдатам двадцать первого полка после торжественного митинга на плацу выдали погоны и велели пришивать их к тлелым гимнастеркам, пропотелым, грязным шинелям, сукно которых не протыкалось, ломались об него иголки. Никто почему-то не удивлялся, никто не говорил, что вот-де кляли царских белопогонников, внушали к ним отвращение, ненависть, а ныне налепляли на плечи этакую проклятую пакость.

Никакие слова, беседы, наставления комиссарского сословия на этих ребят уже не действовали. И реабилитация Суворова, Кутузова, Ушакова и Нахимова не вдохновляла их. Ладно хоть не к голому телу, не к коже велено было пришивать погоны. Мрачно шутили: теплее, мол, с погонами-то, если на выкатку леса иль на заготовку дров пошлют — не так сильно давить плечо будет, какая-никакая подкладка.

Иглой орудовали неумело, многие — неохотно. Старый вояка старшина Шпатор всем сноровисто помогал, потом утомился, из себя вышел, орать принялся:

— Где вы росли, памах? Чему вас учили, памах? Ты у меня еще одну иголку сломай, так до скончания жизни будешь меня помнить, памах!

Все осталось позади: и казарма, и старшина вместе с нею, и до осатанения обрыдлый полк с его порядками, рожам и муштрой, визгуна Яшкина в окружной госпиталь лечиться направили. Все, все уже за холмами. Ехали поездом до станции Искитим. Спали, угревшись, ничего и никого не видели. Куда едут, зачем едут, никто никому не объяснял, все та же военная тайна, все тот же секрет, люто охраняемый целой армией дармоедов, хитро, как им кажется, укрывающихся от окопов войны.

Но вышли в поле, Щусь передал по «цепи»: направляются на хлебозаготовки в совхоз имени товарища Ворошилова, можно не торопиться, курить, не придерживать строя и вообще забыть про казарму, вечером во втором отделении совхоза ждет всех сюрприз...

Щусь видел, Щусь чувствовал, как отходит на воле, млеет душой его войско. Только Петька Мусиков, засунувший руки в рукава шинеленки, рукавицы у него куда-то делись, да равнодушный к природе Васконян волоклись вдали от народа. Петька частил ногами, Васконян, втянув голову в ворот шинели, наклоняясь, будто в молитве, тащился, далеко отстав от товарищей, приободрившихся, оживленно переговаривающихся, отхаркивающих, выбивающих из себя казарменную грязь и сажу от жировых светильников, выветривающих стадную вонь.

Внезапно впереди сверкнуло и разлилось без волн, без морщин, без какого-либо даже самого малого движения и дыхания желтое беззвучное море. Скорбное молчание сковало это студеное затяжелевшее пространство. Сжалось у всех сердце, замедлился шаг — Боже, Боже, что это такое? Неужто хлебное поле, неужто со школы оплаканная несжатая полоса въяве? Смолкли, онемели, остановились. Шелестит немое поле, никаких звуков живых, никакого живого духа, одно шелестение, один предсмертный немощный выдох сломавшихся соломинок, по которым струится снежная пыль.

От толпы отделилась долговязая, неуклюжая фигура, глубоко проваливаясь в снегу, наметенном меж смешанных сломанных стеблей, громко кашляя, забрел Коля Рындин в это мертвым сном наполненное море.

— Господи! Хлеб! — Коля Рындин хватал пальцами, мял выветренные колоски, сдавливал их ладонями, пытаясь найти в них хоть зернышко, но море было не только беззвучно, оно было пустое, без зерен, без жизни, оно отшумело, отволновалось, перезрело и осыпалось — всему свой срок и время всякому делу под небесами, время не только собирать и разбрасывать камни, но и время сеять и собирать зерна!

Коля Рындин влаивал, углубляясь и углубляясь в спутанную гущу пустых желтых хлебов, быть может, впервые ощутив до самого края, до самой глубины всю гибельность того, что зовется войной. Перестоялые, перемерзлые стебли хлебов хрустели под его тяжелыми ботинками, крошились останки колосьев в его могучих, грубых руках — ни зернышка, ни следочка, все брошено, все устало от ненужности, бездоля, покинутости своей.

— Да что же это делается? Хлеба не убраны! Господи! Да как же так? Зачем тогда все? Зачем?

— Война, — раздалось с дороги.

Роту, двигавшуюся в совхоз, догнал в кошевке пожилой человек, который тут же представился директором совхоза Тебеньковым Иваном Ивановичем. Из-за поворота, скрипя санями, подбегали, громко фыркая, еще две лошади, впряженные в дровни, набитые соломой.

— Этих двух ко мне в кошевку, — показал на Петьку Мусикова и Васконяна директор. — Кто подмерз в ботиночках, в лопотине этой аховой — в дровни. Остальным — шире шаг. В столовой суп и каша — пища наша, в деревне бани топятся... Девки окна носами выдавили — кавалеров выглядывают. Да кавалеры-то... Ох-хо-хо-о-о-о. А тот, — махнул он в поле, по которому все брел, все искал зерно Коля Рындин, — крестьянин, видать? Э-эй! Товарищ боец! Идите суда! Иди! Поехали, милай! Поехали! Хлеб не воскресишь. Слезьми нашу землю не омоешь. Больно широка.

Иван Иванович увез Колю Рындина, Васконяна и Петьку Мусикова. С десятков ослабевших и подмерзших бойцов расселись в

дровни. Две молчаливые, еще молодые бабы, укутанные в шерстяные шали с таким расчетом, чтоб из-под них было видно нарядные платки и любопытные глаза, решили было поиграть с пассажирами, одна наддала бойцу плечом, боец снопом свалился из саней в снег. Вздывая его, отряхивая, устраивая в сани, бабенка жалостно всхлипнула:

— Вот и моего Гришаньку эдак же ухайдакали где-нибудь.

Хотя прошли ребята до второго отделения совхоза имени товарища Ворошилова двадцать три километра, надышались свежего морозного воздуху до головокружения, все же хватило еще духу перед деревней Осипово строй изладить, песню хватануть, пусть и на пределе сил. Не надо было и команду пять раз подавать, до надсады в горле призывать грянуть покрепче, лишь показались дома отделения совхоза, огрузшие в крутые, к вечеру посиневшие курганы снега, над которыми ровно и тихо струились дымки, небо достающие, тоже синее, лишь крикнул младший лейтенант Щусь: «Бабенко!» — как тут же зазвенело: «Чайка смело пролетела над седой волной» — и хрястнула дорога под ногами воспрянувших бойцов, и загромыхали стоптанные солдатские ботинки, взвизгнула придавленной зверушкой железно укатанная полозница, и в самом деле расплющили носы об окошки местные девчонки, за которыми бледно гляделись сивые бороды дедов и белые платочки бабок.

Ну-ка, чайка, отвечай-ка,  
Друг ты или нет?  
Ты возьми-ка, отнеси-ка  
Милому прив-ве-эт!

Ошарашивал, сотрясал усопшую в снегах деревню Осипово армейский строй, обещая ей взбудораженные, развеселые дни и всяческое жизнепробуждение.

Тебеньков Иван Иванович был, как в деревнях говорят, битый руководитель. В соседнем районе работали солдаты второй роты, он наведалься туда, посмотрел, понюхал и понял: в том виде и в той одежде, что прибыли к нему трудовые военные силы, ждать от них трудовых, тем более боевых побед не приходится; съездил в Новосибирск: прорвался в штаб военного округа, до самого главного



генерала добрался — и вот результат: ночью прибыла машина с подшитыми валенками, старыми шубенками, бушлатами, рукавицами, портянками.

Весь день устраивались солдаты в Осипове, распределялись по домам, пододевались, парились в банях, ели, много ели, без устали ели и бегали за снеговые бугры да по стайкам.

Питание солдатам было такое — половина пайка из родной военной кладовой, половина из совхоза. Крупы, горох, мясо, молоко — всего вдосталь валилось из совхоза, соль и хлеб — из полка: в Осипове ни пекарни, ни маслобойки не было.

В совхозе осталось три саманных барака под сезонный люд. Какой же советский поселок и без бараков? Один барак уже пустовал из-за нехватки жильцов, два других населяли беженцы из западных земель. Девки, присланные «на прорыв» вместо ушедших на фронт парней и мужиков, да поовдовевшие молодые бабенки из сезонниц.

В первом бараке в двух комнатах, соединенных свежепрорубленной дверью, обитала с ребенком и нянькой начальница отделения Валерия Мефодьевна Галустева, дочь бухгалтера совхоза, работавшая после сельхозтехникума по линии налаживания производства ранних овощей. Но влиятельного отца и молодого мужа отправили на фронт, как и многих трудоспособных мужиков, тылы совхоза оголились, работать на ранних овощах сделалось некому, вот Иван Иванович Тебенков своей властью и назначил Валерию Мефодьевну начальником второго отделения.

Женщина молодая, при хорошем, совсем еще не изношенном теле, характером решительная, она определила жить военную трудсилу по барачным комнатам и по избам деревни Осипово, где просторно зимоворили вдовы и старики, ладного же и складного командира, как и положено в руководящих верхах — брать себе самое сладкое и красивое, поселила во второй своей комнате, называемой горницей, сама же перебралась в переднюю, ближе к кухне, к кровати ребенка. Тут и гадать, и сомневаться нечего — порешили служивые — не допустит несправедливости командир, чтоб такая гордая и видная женщина маялась на топчане вместе с нянькой, полководец же спал бы на пуховиках, покличет он, непременно покличет хозяйку свет потушить иль сам в полночь сделает боевой бросок куда надо.

Лешка Шестаков с Гришей Хохлаком угодили жить в еще крепкую, светленькую избенку стариков Завьяловых — к Корнею Измоденовичу и Настасье Ефимовне. Солдатыкам тоже, как важным персонам, была выделена под жилье «светлая половина», но они от горницы наотрез отказались, углядев в запечье лежанку, широкую, что нары, да и полатики были крашеные под потолком — тоже заманчиво.

Участник далекой, империалистической войны с германцем, Корней Измоденович истосковался по «опчеству», по умственной беседе, велел Настасье Ефимовне наладить стол, гостей же проводил в баньку, над которой попрыгивала истомно дрожащая пластушинка жара, банная изгорелая трубенка нетерпеливо дрожала в накаленном воздухе. И когда солдатыки, исхлестав друг дружку вениками, явились из баньки неузнаваемо чистые, свежо дышащие, в хрустящем белье — от Ванечки и Максимушки, бедующих на войне, оставшееся, всплакнула Настасья Ефимовна. Старый солдат укротил ее строгим, упреждающим взглядом. Промокая лицо ушком платка, хозяйка распевно пригласила дорогих гостей за стол. Стесняясь почестей, себя, таких легких телом, стесняясь, в чужое исподнее переодетых — Корней Измоденович настоял, чтоб «амуницию» свою гости оставили на деревянных вешалах над каменкой — «потому как тварь эта не разбирацца: царский ты гусар аль сталинский енерал — ест всех».

— Старуха замочит амуницию в корыте да с мылом и золою санитарию проведет.

На столе в эмалированных мисках, керамических и фарфоровых тарелках, горой наваленная, ошеломляюще пахла горячая картошка со свининой и луком, огурцы тут были, калачи в муке, капуста, грузди и еще чего-то, и еще что-то, но картошка замечалась раньше всего. Лешка с Хохлаком и не заметили среди тарелок, в снесь эту богатую впаянную, зеленоватую бутылку под сургучом.

Старый солдат, судя по его уверенной деловитости, был когда-то большой специалист по части застолий, налил сразу по половине граненого стакана и быстренько управился б со своей нормой, но одному ж пить-гулять непривычно, он приневоливал ребят.

— Ой! — замахал руками Хохлак. — Мы схмелеем сразу! Непривычные.

— Што за русские солдаты? Што за бойцы? Как оборону держать будете?...

— Да какие они те бойцы! — Робятишки и робятишки, — потащила опять платок к глазам Ефимовна. — Извиняйте, детушки, чем богаты... Ты постопори с вином. Дорвался! Ешьте! Ешьте! — И сама накладывала в тарелки солдатикам картошку, солонину.

Они ели неторопливо, изо всех сил стараясь жадность не проявлять. Не дождавшись никаких предложений насчет дальнейших действий, Корней Измоденович, вовсе истомившийся от многотерпения, поднял свой стакан, мотнул им над столом:

— Ну, дорогие гости! — и не в силах дальше продолжать тост, чендарахнул водочку до дна, до капельки, дирижируя сам себе свободной рукой, зажмурясь посидел, вслушиваясь в себя, как там она, родимая, шляется по сложному человеческому нутру, благостно грея чрево, тряхнул все еще кудлатой с боков головою: — А-ах, хороша, блядина!

— Ты хоть при детях-то окоротись!

— При детях-ах! — передразнил Настасью Ефимовну хозяин и повел прочувствованную речь о том, что сии дети еще покажут курве Гитлеру, где раки зимуют, еще пощупают русским штыком, где у немца слабо, у немки крепко, помнут им брюхо и под жопу напинают: — Помяни мое слово, Фимовна! Помяни! На исходе немец. Быть ему биту, быть ему к позорному столбу приставлену, потому как лесурс его совсем не тот, что наш. Взять хотя бы тот же лесурс человеческий... А ну-ко, братки-солдатики, подняли, подняли — за погибель проклятущего врага, подняли!..

И подняли! Куда денешься-то? Напор хозяина был неотразим. И захмелели сразу, тоже руками замахали, заговорили про лесурс, сколько, мол, их, и сколько нас, да взять просторы наши...

— Не наливай больше! — прикрикнула Ефимовна на «самого». — Они, как вакуированные с Ленинграду, истощены. Ешьте, детушки, ешьте! Этого балабона не слушайте — он любо собранье переговорит.

Но как ни сторожилась, ни бдила Настасья Ефимовна, владеющий маневром старый солдат, «уговорив» из бутылки остальное, стоило Настасье Ефимовне отлучиться — обиходить и закрыть на ночь скотину, не глядя, уверенно сунул руку под кровать, заправленную пышными подушками, вышитым покрывалом, и выкатил из-под нее весело булькающую бутылку. Сноровисто раскрошив на поллитровке сургуч, подтянув на ладонь рукав рубахи — для «мартизации»,

хлопнул по доньшку так, что пробка чуть не выбила промерзлое окошко, водка пузырями взвихрилась в горлышке.

Безвольные, расслабленные ребята выпили «по мере души», как сказал хозяин — у него-то душа была куда как обширна! После чего Хохлак потребовал баян.

— Ты че? Играешь?! — удивился Лешка.

— Громко сказано, — махнул рукой Хохлак, — так, пилю.

— А гармошка? Гармошка не годится? — поинтересовался Корней Измоденович.

Хохлак строптиво стукнул кулаком по столу:

— Баян!

Старик покачал головой, у-у, мол, какой настырный воин-то! Посоображал маленько.

— Баян есть. У завклуба Мануйловой, но она его никому не доверяет, пятьсот рублей стоит вещь, играть на ем в Осипово никто не умеет, сама Мануйлова — тоже. Бабье! — сокрушенно потряс головой старый солдат, но тут же сорвался с места, надернул подшитые валенки, держа шапку за ухо в зубах, натягивая телогрейку, прокричал уже на ходу — Чичас, робятушки!

— Куда ты, оглашенный? Куда на ночь глядя?! — всплеснула руками возвернувшаяся в избу Настасья Ефимовна, отстраняясь с пути шустряги мужа.

Корней Измоденович по-мальшически боднул ее в грудь и был таков. Настасья Ефимовна покачала головой — вот посмотрите, дескать, люди добрые, с каким золотом я век домаиваю.

Минут через двадцать в избе Завьяловых оказались баян и сама Мануйлова, баба молодая, но крепко истертая сельской и всякой другой культурой. Пока баян «согревался» на печи, она недоверчиво оглядывала компанию, отстраняясь от стола, отпихивая граненую стопку. Потребовав полотенце, Хохлак постелил его на колени, начал бережно протирать кнопки, меха, все драгоценное тело лакового инструмента. Дом Завьяловых благоговейно притихнул. Мануйлова расстегнулась.

— Этот может! — хлопнув стопку водки, тыкая вилкой в тарелку, которая поближе, заключила она и зашарила в кармане шубы, отыскивая курево.

— В нашей избе табашников отродясь не велось, — упредила культурную даму хозяйка, — я и робят, прежде чем пустить, опросила нашшот курева.

— Наливайте тогда еще стопку, — приказала гостья.

Корней Измоденович мигом откликнулся, плеснул ей, и себя тоже не забыл. Настасья Ефимовна в это время наступила ногой на пустую бутылку-поллитру под столом, вынула ее из-под нависшей скатерти и навалилась на «самово»:

— Ты ковды это сообразил? Другу-то где добыл?

Корней Измоденович начал вертеть пятерней над головой, вспоминая, где и когда он разжился бутылочкой, и как бы он выкрутился — неведомо, но тут подоспела помощь: Хохлак, пробуя баян, извлек первые звуки, разведочно пробегая пальцами по белым перламутровым пуговкам, и хозяин отстраняюще повел рукой в сторону своей старухи, отвязись, дескать не мешай, не та минута. Сейчас тут такое начнется!.. И ждал, ждал, приоткрыв рот, не дыша, веря и не веря в приближение музыки, ноги его сами собой нервно дрыгались, перебирали одна другую под столом.

Сперва тихо, плавно, вкрадчиво, зато сразу задушевно поплыла по крестьянской светленькой избе музыка, заполняя ее от пола до потолка, от стола и до печки, от дверей и до окон, и дальше, дальше, сквозь окна с почти замерзшими на них простоватыми, полуопавшими деревенскими цветами, сквозь двойные рамы, и дальше, дальше плыла она, распространялась над сугробами, над домами, над плавными, пустынно мерцающими снегами, все шире, все полней разливалась та нечаянная, негаданная музыка. Дрогнула деревня. Кто еще не спал, замер с подушкой в руках, кто пеленал ребенка, заслушался, скомкав в горсти пеленку, кто рубаху на ночь сымал, так и остановился, не досняв ее, кто вышел нужду справить, забыл про нужду, кто с поля иль с воли шел в деревню, замедлил шаги, приостановился, кто скотине корм давал, на вилы навалился, чтоб сено не шумело, кто печь топил — у чела печи замер, глядя в огонь, кто ужинал — ложку на стол положил, кто простудой маялся, кашель в груди утишил, а кто уже спал, тот думал, что ему снится что-то давно-давно слышанное, такое сердцу близкое, нежное... И не один, не два человека, притихнув в себе, горько плакали про себя от занявшейся в груди сладкой боли, вроде бы давно и навсегда забытой, непонятной печали. В избе же

Завьяловых, утирая слезы, Настасья Ефимовна повторяла и повторяла, глядя на портреты приемных сыновей:

— Ванечка! Максимушка! Че у нас в избе-то деется...

Сжав до боли виски пальцами, трудную вел умственную работу Корней Измоденович, воскрешая в памяти то, что играл молодой гость. Слышал же, слышал он где-то, когда-то мелодию эту, помнил и слова к ней. Давно, правда, это было, в окопах, в госпитале ль, в каком-то исходном месте жизни, среди степу, под самыми ль звездами...

Спи-ишь, ты спишь, моя родная,  
Спи-ишь в земле сы-ы-ыро-ой...

Прошептал Корней Измоденович и вопросительно глянул на Хохлака. Тот кивком головы подтвердил — правильно, давай дальше, и, обретая уверенность, старый воин повел:

Я-а пришел к тебе, родная,  
С горем и тоской...

Тут уж Настасья Ефимовна совсем улилась слезами. Мануйлова наливала себе сама, стукалась стопкой о стакан Лешки Шестакова и почему-то гнусаво требовала:

— Солда-ат! Пожалей одинокую женщину!

Лешка не хотел ее жалеть — разлохмаченная, сырая с головы, была она, однако, с сохлыми морщинами у рта, бледно-синяя, шибко она ему напоминала шурышкарских брошенок, курящих, пьющих, меры ни в чем не знающих. Ответно стукнувшись стаканом о стопку гостыи, Лешка отставлял посудину в сторону — баян он любил. Эх, как разведет его, бывало, отчим Герка-горный бедняк... И зачем он на него сердился, зачем уши затыкал, на мать с кулаками кидался, требовал выдворить гулевого и ветреного мужа из дому. Глупое мальчишество, неразумная юность, дурная молодость... Стоп! А где она, молодость-то? Когда была? Да вся с собой, вся в изнурительной муштре, вся в промысле, в битве за драгву, за место ни верхних нарах, за...

Но тут началось!

Разогретый застольем, не останавливая музыки, как это умеют делать лишь гармонисты, распаленный баянист хватанул водки и бодрым голосом выкрикнул:

Даль-леки от нас огни кремлевские...

Корней Измоденович радостно подхватил:

А впереди бескрайные расейские снега...

Дальше пошла, как потом объяснял старый солдат, «разножопица». Хохлак пел; «В бой идут полки могучие, советские», — старый солдат кричал: «В бой идут полки гусарские, московские...» И когда дело дошло до припева, оба певца уже ехали в одной упряжке в разные стороны:

С нашим знаменем, с нашим Сталиным  
До конца мы врага разобье-оо-ом!  
С царем-батюшкой, за отечество,  
Как один, живо-оты покладе-о-ом!

— Старик, ты больше не прймай! — заметив, как подбила мокрые губы и насторожилась Мануйлова при словах — «с царем-батюшкой, за отечество», — упредила Настасья Ефимовна и дала распоряжение: — Всей команде отдыхать! С дороги робятки. Самому на печь — плясать чичас вскочит, ночью ему ноги в обруч вязать начнет. Натирай его. Тебе, дорогая гостья, за музыку спасибо. Натапливай клуб шибчее, завтра солдатики те таку музыку дадут, что все девчонки в клуб слетятся.

Уже погасив лампу, в потемках, с печи, до которой едва добрался хозяин и ублаженно засвистел носом, устраиваясь рядом с ним, Настасья Ефимовна дала последнее распоряжение:

— По малой нужде, робятушки, можно в таз, под рукомойник. Пили всеш-ки. По большой прижмет — в огород не бегайте —

испростынете. Борьке в свинарник цельте — у его тепло, и он не кусатца.

«Господи! — засыпая, умилился Лешка Шестаков. — Вот что это такое».

— Ты спишь? — ткнул его в бок Хохлак. — Давай завтра дрова им исколем, по двору поможем.

— Давай. — Лешка помолчал, послушал и сонно зевнул: — Повезло нам с избой...

— Да уж, не у всякой мамы так.

— Это верно, — еще успел вслух подумать Лешка, — у моей мамы тоже весело, да не собрано... — И на этом всякие мысли его иссякли, чистый сон сошел на него.

Утром, пряча глаза от Настасьи Ефимовны, служивые вяло позавтракали, промыли нутро чайком. Корней Измоденович кротким взглядом вопрошал супругу о дальнейшем существовании. Она не сострадала болезному человеку, отсекала его поползновения:

— Чего глядишь, как петух на вешнюю курку? Оттоптал, оттоптал! Помощница по клубу не привыкла че-то на завтра оставлять. Ох, ох, робятки, молочка бы вам, сметанки, творожку. Корова в растеле. Постимся.

Хозяин бунтующе изругался, плюнул, вышел из-за стола, опоясался, прибил рукавицей шапку на голове и, хрястнув дверью так, что из трубы на шесток русской печи потекла сажа, в рамах задребезжали стекла, удалился.

— Эко его ломат, эко его гнет! — проворчала Настасья Ефимовна. Лешка и Хохлак потянулись за хозяином.

Чистое, морозное утро простерлось над белой степью и над деревушкой Осипово, затерявшейся в снежном пространстве, осяянном ослепительным солнцем. Небо было высоко и не по-зимнему прозрачно, даже столуба. Даль казалась бескрайней, и снова желтела, плыла в бесконечность золотистая полоса выветренных, но стойких хлебов, за которыми рябили березовые колки и стригучие перелески. Над желтыми полями кружилась воронье, грузно опадая в поруганное поле, на прогнутые спины стогов, беспризорно плывущих по степи.

В деревне заливались собачонки, где-то брякнуло, звякнуло, от двора ко двору стреляли девчонки, каркало воронье, трещали сороки у



колодца, плескалась вода в бадье, возле колоды отфыркивались мокрыми губами лошади, молитвенно-тихо, неуголимо сосали воду изнуренные работой быки и, налив брюхо, равнодушно стояли, глядя в пустоту. Над бараками, как над многотрубными крейсерами, дымило бойко и густо, глуша мирно струящиеся сизыми дымками низенькие избы. Все было вроде как было, и все же брожение, беспокойство, знобящее ожидание жутких перемен, охватившее Осипово, витало над ним и тревожило его.

Корней Измоденович бродил по колено в снегу подле ломкой березовой городьбы, гнутым ломиком выворачивал из сугроба пестрые хлысты с лохмато растопорщившейся драной корой. Парни выволокли из-под навеса козлину, сняли пилу со стены и начали в охотку пилить дрова, отваливая в снег чурку за чуркой.

Вышла Настасья Ефимовна, постояла, покачала головой и, ничего не сказав, выпустила во двор пеструю, осторожно ступающую корову, вытолкала ядреного подсвинка Борьку, который, осмотревшись на воле, взвизгнул от радости, принялся бегать по двору, взбрыкивая розовеньким задом.

— Весь в хозяина! — заметила Настасья Ефимовна и принялась вилами вычищать навоз из стайки. Корова стояла неподвижно, клубила пар из теплых ноздрей, смотрела на Божий мир, о чем-то грустно думая, вслушиваясь в себя. Настасья Ефимовна погладила ее, легонько похлопывая по боку, направила обратно в теплую, всю внутри окуржавелую стайку.

Борька бегал, бегал по двору, вдруг притормозил возле пильщиков, уперся в них взглядом школьного хулигана, завинтив аж в два кольца веревочку хвоста, хрюкнул. Бросив пилу, Лешка и Хохлак начали гоняться за подсвинком, имали его за ноги, свалили наконец, опрокинули на спину и начали почесывать ему брюхо. Борька-бунтарь, только что, словно пьяный мужик, валявшийся в снегу, дергавший ногами, умиротворенно захуркал, отдаваясь блаженству.

— Вот бухгалтер! Разнежился! Распустил брюхо. Теперь его в стайку не загнать.

Настасья Ефимовна, выскребавшая лопатой в Борькином хлеву и вдосталь нахохотавшаяся над расшалившимися парнями да над Борькой, со вздохом сказала, уходя в избу:

— Дети. Совсем еще дети, — и наказала «самому»: — Ты долго парней не сплатируй. Наволохаются еще за жись-то свою.

В русских селах не принято говорить о смерти, другое дело — оплакивать мертвого, помолиться за него. Некогда. Умирать собирайся, а жито сей, вот и Настасья Ефимовна не понимала и понимать не захотела, что может оборваться жизнь этих парней на войне.

До обеда парней не тревожили. В обед собрали роту в столовой. Посветлевший взглядом и без того прозрачных глаз, чисто выбритый, подтянутый, исторгающий благодушие, струящийся ароматами одеколона, командир роты провел собрание с личным составом, к поре подоспевший Тебеньков Иван Иванович произнес короткую речь, из которой следовало, что патриотизм советского народа все нарастает и нарастает. О грани этого патриотизма не может не разбиться фашистский дреднот, вся фашистская нечисть в конце-концов пойдет ко дну, найдет могилу в российских пространствах. Труженики совхоза имени товарища Ворошилова приветствуют молодых патриотов, прибывших на прорыв, питание обеспечено, одежонка какая-никакая выдана.

— Ну а девчата наши, — заключил речь директор совхоза, — не дадут скучать молодым бойцам, бойцы же не поранят сердца наших девчат, а если и поранят, дак только любовным орудьем, но не до смерти.

Хорошо, речисто говорил Иван Иванович.

Вечером в осиповском клубе скрипели половицы, ломились скамейки. Отмытая в банях, приободрившаяся армия грудилась, пошучивала, уже и анекдоты пошли, хохоток местами всплескивался.

Все напряженно ждали Мануйлову. Она пришла расфуфыренная, накрашенная, в цветном платке, в коротеньком полушубке, отороченном на рукавах и по отворотам бортов. Посмотрела на народ критически, постучала ключом по ладошке и, махнув рукой, куда, дескать, вас денешь, открыла красный уголок, выдала баян.

В кладовку, увидев там газеты, брошюры и книги, просочились Васконян и Боярчик. Заметив, как бережно относятся они ко всякой бумаге, как трепетно берет Васконян в руки книгу, Мануйлова сунула ему ключ и сказала, что вот он и будет ответственный за красный уголок, сама же поспешила на голос баяна, на ходу ему подпевая: «ляй-ляй-ля-ля-аа, ляй-ляй-ля-а-а!» На лету же подхватила какого-то

красноармейца, мотанула его в вальсе. Кто умел танцевать, тоже начали распределяться попарно, со смешками, с подковыром, неуверенно пробуя переступить, кружиться невпопад.

Но затаенные ожидания ребят не оправдывались, буйного веселья не наступало. В давно не топленном, запущенном клубе села Осипово было и холодно, и серо, и сыро — для подогрева всеобщего тепла, бодрости и веселья здесь не доставало главного двигателя — девчат.

Феля Боярчик тренированной рукой мигом нарисовал цветными карандашами на обороте старого плаката портрет Сталина и еще жизнерадостного, упитанного красноармейца со знаменем в руке среди колосющихся хлебов да зелени шумящих берез. Отозвав в сторону тенора Бабенко под видом помочь прибить свои творения к бревнам, пошептал ему что-то, кивая головой на неплотно прикрытую, холод и пар струящую дверь клуба.

Бабенко был да не был в клубе.

Смело черпая снег загнутыми для форса голенищами валенок, ротный запевала обошел клуб и обнаружил стайку девчат, жмущихся к стене, внимающих музыке. Две или три при появлении тенора Бабенко с визгом сыпанулись сверху, в снег; девчонки, которые повыше и покрупнее, подсаживали подружек на плечи, те заглядывали в окно в чуть вытаявшую дырку, с замиранием сердца сообщали, что делается в клубе, какое там коловращение военных кавалеров происходит.

— Дэ-вчатку-у! — запел тенор Бабенко. — Милы вы наши дивчатку! Мы шукаем, томымсь, а вас нема и нема! Та що ж вы в окно заглядываете? Ласкаво просимо! — не очень-то длиннорукий, не очень-то крупный собою Бабенко сгреб, однако, целую охапку девчат, вежливо поволок их в клуб. За короткий путь он выяснил, что есть среди девчат его землячки, и пел, пел им соловьиным голосом, называя няньками, коханенькими, душечками, даже разглядел у одной вочи и выдал: «Темные вочи, чернии бровы, век бы дывытись тильки на вас». Бабенко до Сибири доставлен был еще в малом возрасте, ридну мову знал худенько, однако ж и того было достаточно, чтоб снять напряжение с девчат.

Одна из дивчин, в новых валенках, в белом кожухе, была круглолица, глазами быстра. Ее-то и выделил Бабенко, наудалую назвав Оксаной.

«Ба-а, дывысь! — изумлялась дивчина. — Як же ж ты?!»

«Сорочьи яйца ив, сорочьи яйца пыв!» — затрещал Бабенко и подцепил дивчину под руку. Она ему за находчивость тайну выдала, указав на барачные, слишком ярко сверкающие окна: «Там дуже много гарных дивчин, горилка е, но воны стесняются...»

Затащив первую партию девчат в клуб, рассадив их по скамейкам, среди кавалеров, напрягшихся лицом и телом, Бабенко, подмигнув, взмахнул рукою, что дирижер, грянул удалую, в лихо распахантой шинели пошел на призывно светящееся окно, ведя за собой наиболее активных бойцов, для затравки, под баян выдавал совершенно приличные частушки с любовным уклоном: «Милочка-картиночка, дорогая Зиночка, я иду из-за реки попросить твоей руки!», «Эх, сад-виноград, зеленая роща, у меня была жена, значит, была теща». Услышав про тещу, кто-то из эвакуированных в Сибирь «курских соловьев», вдруг не к разу и невпопад, дурным голосом проорал совсем дурное: «Хорошая теща, на себя затаще, а плохая и с жены сопхае...»

Компания с нарочитым изумлением, смехом, топотом и гомоном ввалилась в барак, где навстречу была уже распаханута дверь, чтоб, Боже упаси, гости в темноте не убились. «Сюда! Сюда! Пожалуйте!..»

Хохлак рванул баян, Бабенко из себя выходил, демонстрируя культуру, затопало, захлопало, завертелось, где-то залился перепуганный ребенок, — лейтенант Щусь ушам своим и глазам своим не верил: неужели это те самые солдаты, еще вчера за крошку хлеба готовые вырвать глаз у сотоварища, трясущиеся, едва живые в строю, парни так преобразились, так взорлили?! Поносом белые снега пятнают, кашляют, сморкаются, плачут, дерутся — эти, что ли? Да не-эт, то отдельные симулянты и доходяги, остальная ж рота — орлы! Музыкой вон село будоражат, девчат в трепет вбивают, к себе зовут. Молодость, во веки непобедимая, непоборимая молодость напоминает о себе. Значит, повоюем. Дадим фрицу жару! Заломал он нас? Нет. Смял?! А ты на моих орлов подивуйся!.. Погляди на них!

Приняв по чарочке, скромно куснув от огурца, посланники повели за собой целую толпу визжащих, взбудораженных, разом взвинтившихся девчат, толкающих друг дружку в сугробы, где парней зацепят, в свалку вовлекут, не без этого. Из дворов, из ворот выскакивают, на ходу застегиваясь, девчонки-школьницы и тоже взвизгивают, обморочно вопят, к старшим девчатам льнут. Гурьбой

веселой и бесшабашной ввалилась компания в клуб. Сразу в нем сделалось шумно, тесно, весело, и уже случилась общая для военной поры нехватка всем девчатам кавалеров в пару на танцы, да многие из вояк и танцевать не умели. Тут же с ходу, конфузясь, краснея, отшучиваясь, учились тонкому искусству парни, притирались в танцах друг к дружке. За вечер и распределились дамы и кавалеры сообразно своим вкусам, кто и по велению сердца. Посообразительней и поазартней бойцы, имеющие пусть и малый опыт в сердечных делах, правились провожать напарниц, но держались пока сдержанно и даже чопорно, имея в виду дальнейшее развитие отношений более тесное и активное.

Вынув руку из-под шеи нежно и ублаженно дышащей Валерии Мефодьевны, командир роты глянул на именные, на Дальнем Востоке заработанные часы, висевшие на гвоздике, — был первый час, но в ночи еще звучал баян. Щусь быстро оделся, осторожно задернул занавеску на двери горницы, однако Валерия Мефодьевна шевельнулась, встревоженно спросила: «Куда?» — «Ч-шш! — Приложил палец к губам младший лейтенант. — Спи. Я скоро...»

В клубе совсем мало осталось народу, Хохлак на исходе сил перебирал пальцами по баяну, подвыпившие парни и девчата сидели в обнимку, однако пьяных не было. «Не дай Бог поддаться этой заразе...» — подумал командир и негромко сказал:

— Хлопцы! Завтра, нет, уже сегодня рано вставать. На работу. По домам, по домам, ребята, — и пообещал притихшим девчонкам: — Они никуда от вас не денутся. Завтра здесь будут, и послезавтра.

Смолк баян в клубе, и тут же начали гаснуть одно за другим окна в деревушке Осипово. Лишь одно окно, в первом бараке, горело еще настойчиво и долго. За тем негасимым окном сидел возле детской качалки Васконян, байкал ребенка Аньки-поварихи, читал, время от времени, бережно положив книгу, срывался в бег, к дощаному сооружению за баракком.

Чутко, как и всякая кормящая мать, спавшая и чего-то напряженно ждавшая молодая хозяйка, разочарованно вздыхала, постепенно доходя умом, что такому увлеченному читателю все мирское ни к чему, баловство всякое тем более, и надо как-то вытеснить книгочея из барачной комнаты, а заселить сюда пусть и малограмотного, отсталого, но практически подкованного, строевого бойца.

## Глава тринадцатая

Вблизи степь не выглядела так сказочно красиво, как с первого, мимоходного пригляда. Да, там, возле мглистого березового колка, где из белой мякоти выпутывалось заспанное солнце, золотело, пробужденно отливало, сверкало под солнцем, волнами перекатывалось бесконечное желтое поле. Но возле покинуто стоящих комбайнов, завязившихся в снегу, в смятой кошенине, все было в лишайных проплешинах, все прибито, разворошено, от всего веяло тленом, и комбайны походили на допотопных животных, которые брели, брели по сниклым хлебным волнам, но нет нигде берегов, нет на земле никакой пристани, никуда им не добрести, и остановились они, удрученно опустив хоботы.

Хлебное поле, недокошенное, недоубранное, долго сопротивлялось ветру и холоду, ждало своего сеятеля и пахаря до снегов. Ветер делался все пронзительней, все злее, безжалостно трепал он нескошенные стебли с поникшими колосьями, и завейло занозистой остью в воздухе, серой пылью покрыло пашенное пространство, заструилось из колосьев зерно на стылую землю. Однажды налетел вихрь с дождем, со снегом, доделал гибельную работу, опустошил хлебные колосья, покрыл подножья стеблей мокрым снегом, захоронил под ними плотно слипшееся зерно, растрепал, пригнул, спутал меж собой облегченные стебли. Соломинки, что посуше, хрупко сломались, что погибче, полегли возле дороги вразнохлест, каждая сломанная трубочка стебля, налитая дождем, держала в узеньком отверстии застывшую каплю, и словно бы тлели день и ночь поминальные свечки над усопшим хлебным полем, уже отплакавшим слезами зерен. Бисерные, негасимые огонечки, сольясь вместе, сияли тихим, Божьим светом из края в край, и совсем почти неслышный стеклянный шелест, невнятный звон землеумирания звучал над полем прощальным молитвенным стоном.

О, поле, поле, хлебное поле, самое дивное творение человеческих рук! Тысячи, может быть, миллионы лет прошло, прежде чем нашла себе щелку на берегу моря-океана, комочек остывшей лавы меж скал и пронзила его корешком живая травинка на планете, все еще с высот

сорящей пеплом, охваченной огнем и дымом на грозно опаленных вершинах.

И еще много, много лет и зим минуло, покуда вырастила травинка в пазушке стебелька махонькое зернышко, а из него возникло невиданное творение природы: хлебный, рисовый, маисовый колосок или кукурузный початок. Будут еще и еще произрастать под солнцем плоды земные, и кусты бобов, и клубни картофеля, и кисточки проса, и хлебное дерево, и всякие другие чудеса, но колосок, сам по себе являющий такую красоту, такое совершенство природы, матери-земле удалось сотворить только раз. Извергнувшись огнем и смерчем, приуготовливаясь к жизни, природа должна была сотворить чудо, и она сотворила его, выполнив предназначение судьбы, веление Бога, для жизни на земле. Будет еще и пламень, ее изжигающий, и лед, ее сковывающий, и смерч, ее разметающий. Но снова и снова воскресало на ней не смытое морской волной, диким камнем не раздавленное, холодом не умертвленное зернышко. Цеплялось корешком за сушу, исторгалось оно долгожданным колоском, чтобы кормить тех, кто возникнет на земле и прозреет для жизни. Пшеница та была невзрачная на вид и звалась полбой.

Много раз пройдет по кругу своему Земля, много раз повернется боком к живительному солнцу, покуда существо под названием человек, размножаясь и расселяясь по земле в поисках хлеба насущного, наткнется на тот колосок, выделит его из многочисленных уже трав и растений, разотрет клыками и почувствует в малом зернышке такое могущество, которое способно вскормить не только род человеческий, но и скот, и птиц, и малых зверушек. Однажды, зажав в когтистой темной горсти зернышко земного злака, человек попытается понять его назначение. Глядя на осыпающиеся пылинки трав, на кружащиеся в воздухе крылатые семена, на прорастающее новой травой, новым колосом с наливающимися в нем зернами цветение, человек поковыряет сучком землю, высыплет из горсти в черную ранку дикий злак.

И восстанет перед двуногим существом маленькое поле колосьев. И с того околышка-пашни начнет совершаться по планете под названием Земля победное шествие пшеничного, просяного, ржаного, рисового семечка и многих-многих растений, не дошедших до нас из утренних времен Земли. Организуясь в хлебное поле, прорастающее

зернами ржи, овса, ячменя, риса, кукурузы, гречки, неряшливо-хламная, где болотистая, где огнем оплавленная планета начнет приобретать обжитой, домашний вид, росточком прикрепит человека к земле, а каждый год спелыми хлебами шумящая пашня наградит его непобедимой любовью к хлебному полю, ко всякому земному растению, ко всякой живой душе. Пробудит в нем потребность перенять из природы звуки, превратить их в музыку, зачерпнуть краски земные и небесные и перенести на доску, на камень, выткать узоры на холсте — так создавалась душа человеческая.

Творя хлебное поле, человек сотворил самого себя.

Век за веком, склонившись над землей, хлебороб вел свою борозду, думал свою думу о земле, о Боге, тем временем воспрянул на земле стыда не знающий дармоед, рядясь в рыцарские доспехи, в религиозные сутаны, в мундиры гвардейцев, прикрываясь то крестом, то дьявольским знаком, дармоед ловчился отнять у крестьянина главное его достояние — хлеб. Какую наглость, какое бесстыдство надо иметь, чтобы отрывать крестьянина от плуга, плевать в руку, дающую хлеб. Крестьянам сказать бы: «Хочешь хлеба — иди и сей», да замутился их разум, осатанели и они, уйдя вослед за галифастыми пьяными комиссарами от земли в расхристанные банды, к веселой, шептливой жизни, присоединились ко всеобщему равноправному хору бездельников, орущих о мировом пролетарском равенстве и счастье.

Выродок из выродков, вылупившийся из семьи чужеродных шляпников и цареубийц, до второго распятия Бога и детоубийства дошедший, будучи наказан Господом за тяжкие грехи бесплодием, мстя за это всему миру, принес бесплодие самой рожалой земле — русской, погасил смиренность в сознании самого добродушного народа, оставив за собой тучи болтливых лодырей, не понимающих, что такое труд, что за ценность — каждая человеческая жизнь, что за бесценное создание — хлебное поле.

Какой же излом, какое уродство, какие извращения, какие чудовищные изменения произошли в человеческом сознании, когда пахарь и сеятель начал терять уважение к хлебному полю, перестал ему молиться, почитать его, дошел до того, что начал предавать его огню, той самой силе, которая до него не раз уже разрывала и испепеляла земную плоть.



Начавши завоевательный поход, степняки-кочевники, дикие и полудикие племена, пускали впереди себя пал, двигались, укрытые дымными тучами, вослед ревущему, все пожирающему огню.

И все современные походы, все современные революции, затеянные провозглашателями передовых идей, начаты с того же, с чего начинали войны полудикие косматые орды, — с огня, уничтожающего труд человеческий. На Руси великой всякого рода борцы за правду и свободу, унижая историю и разум человеческий, называли это дело с издевкой — пустить петуха. Революция и революционеры зажгли русскую землю со всех сторон, и до сих пор она горит с запада на восток, и нет сил у ослабевшего народа погасить тот дикий огонь, вот снова катится огненным валом по русской земле, по русским полям, бушует по всей Европе, перехлестываясь аж за океан, дикое пламя войны.

Тот, кто не бывал в огне, не бежал от огня, пожирающего хлеб, настоящего страха не знал.

Над полем выгорает воздух, удушливым смрадом исходит чадающий хлеб. Зерно накаляется, могучая плоть струит сине-сизый дым, прежде чем взорваться и затмить огнем и смрадом все вокруг. Рвет кашлем грудь пораженного ужасом человека, слезятся его глаза, останавливается удушенное дыхание — то силы небесные карают чадо Божье за самый тяжкий грех: предание огню и гибели хлеба насущного.

Выронив или выбросив из горсти колосок, взрастивший его крестьянин потерял связь с пашней и утратил смысл своего существования. Перестал уважать и всякий другой труд, отбросил себя на миллионы лет назад, обрек на очередное умирание, на многомиллионнолетнее забвение. Как мать, убившая свое дитя, не смеет называть себя матерью, так человек, убивший хлеб, значит, и жизнь на земле, не смеет называть себя человеком...

Осиповское хлебное поле, разоренное, убитое, — как оно похоже сейчас на смуту охваченную отчизну свою, захиревшую от революционных бурь, от преобразований, от братоубийства, от холостого разума самоуверенных вождей, так и не вырастивших ни идейного, ни хлебного зерна, потому как на крови, на слезах ничего не растет — хлебу нужны незапятнанные руки, любовно ухоженная

земля, чистый снег, чистый дождь, чистая Божья молитва, даже слеза чистая.

Хлебное поле едино в своем бедствии и величии, оно земной бороздой соединено со всеми полями Земли, и воспрянет, воспрянет, засияет хлебное поле на западе и на востоке, и в искитимской стороне, на сибирском приволье воспрянет. Земле-страдалице не привыкать закрывать зелеными и деревьями гари, раны, воронки — война временна, поле вечно, и во вражьем стане, на чужой стороне оно отпразднует весну нежными всходами хлебов, после огня и разрухи озарится земля солнечным светом спелого поля, зазвучит музыкой зрелого колоса, зазвенит золотым зерном. И пока есть хлебное поле, пока зреют на нем колосья — жив человек и да воскреснет человеческая душа, распаханная Богом для посевов добра, для созревания зерен созидательного разума.

И осиповское поле воскреснет. Сеятель, вернувшись к нему из огня войны, воспрянет для труда и проклянет тех, кто хотел приручить его с помощью оружия да словесного блуда отнимать хлеб у ближнего брата своего. И когда нажует жница по имени Анна или Валерия в тряпочку мякиша из свежемолотого хлеба, сунет его в розовый зев дитя, и, надавив его ребристым небышком, ребенок почувствует хлебную сладость, и пронзит его тело живительным соком, и каждая кровинка наполнится могущественной силой жизневоскресения — тогда вот только и кончится война.

Комбайны были откопаны из снега, под ними горел огонь, и в где-то отысканных комбине зонах на брошенных старых телогрейках под комбайнами лежали, подвинчивали гайки, стучали по болтам, натягивали шкивы и широкие ремни Вася Шевелев и Костя Уваров. С детства лепившиеся рядом с отцами на тракторных и комбайновых сиденьях, в школьные еще годы обучившиеся нелегкому машинному делу, привыкшие чинить и вдохновлять на непосильный труд аховую колхозную технику, парни вдыхали жизнь в остывшие железные груди машин, и, кроме них, никто не верил, что этакое может сотвориться, что поседелые от пыли и снега, унылые машины могут согреться и начать работать.

Комбайны должны были использоваться как молотилки: две скирды скошенного хлеба, задавленные толстым слоем снега, уже

раскопали и растеребили веселые вояки с не менее веселыми девочками.

Прямо от деревни Осипово по ту и другую сторону слабо прикатанного зимника аж до горизонта белели две широкие полосы. Сплошь они были в бугорках, и если б не белехонький, нежностью исходящий снег, поле было бы похоже на сухое болото, покрытое снежными кочками, но вместо кочек под снегом таились копны скошенного хлеба. Примерзшие к земле сысподу, слежавшиеся, они трудно давались вилам, и, пока подъехало начальство в поле — Иван Иванович Тебеньков, Валерия Мефодьевна Галустева и Щусь Алексей Донатович, — охваченные трудовым энтузиазмом бойцы переломали большую часть черенковвил и лопат, жгли возле скирды костер из обломков сельскохозяйственного инструмента и соломы, грелись, заигрывали с девочками.

— Ах вы, так вашу мать! — захлопал себя рукавицами Иван Иванович Тебеньков. — Из таежных мест, видать. Руби, не береги! Да здесь дерево-то на вес золота...

В это время хакнул густым дымом комбайн, хлопнул винтовочным выстрелом патрубков, содрогнулся всем неуклюжим телом полевой истукан и, чихая, охая, всасывая воздух, набирая чадного дыхания, согреваясь изнутри, как бы не совсем веря себе, пробно зарокотал, зашумел самоваром комбайн, шлепая еще сырым, к железу прилипающим ремнем, важно называемым трансмиссией. Костя Уваров прибавил газу, маховик закружился резвее, громоздкая машина закачалась утицей, окуталась осенней, пахотной пылью и мякиной, легкая хлебная ость запорхала над комбайном, откуда-то из недр его, из самой утробы, высыпались на снег горсть-другая стылой, на залежалое золото похожей пшеницы.

Народ, затаив дыхание, все еще не верящий в жизненные возможности остылой машины, опустил выдохом грудь, загалдел возбужденно, кто-то пробовал на зуб зерно, механики паклей чего-то подтирали в машине, гладили ее черными руками, подлаживали, подвинчивали, подстраивали, и не было сейчас на поле людей важнее и главнее их.

— Ах ты, ах ты! — забежал, засеменял вокруг машины Тебеньков Иван Иванович. — Живой! Живой! — И, шумя, гладил комбайн, не веря еще, что заработал орел степной, хотя и кашлял от пыли и застоя

непрочищенным нутром, давился остью, захлебывался дымом, но рокотал уже ровнее.

Иван Иванович Тебеньков пробовал перекричать гром машины, команды подавал, указующим перстом тыкал туда-сюда. Вася Шевелев и Костя Уваров — работяги-молодцы, механики-удальцы — лишь снисходительно улыбались, оголяя белые зубы на чумазных лицах: они без начальника знали, что надо делать, куда чего лить, где чего подмаслить и как действовать дальше. Переведя машину на медленный ход, чтобы не рвались мерзлые ремни трансмиссии, они спустились на землю, сказали Ивану Ивановичу: «С тебя пол-литра, товарищ начальник!» — «Будет, будет, — радостно откликнулся директор, — и пол-литра, и закуска. Как же без разгонной-то дело начинать?» Понимали даже те, кто вином не баловался: механики должны требовать то, что другим заказано, на то они и механики — отдельно и высоко существующий народ, рано для взрослой жизни созревший, к ним и девки смелее льнут. Где остальным до них!

«Ах, если бы мне в совхоз пару таких орлов, — тараторил и в то же время грустно думал Иван Иванович. — Что я с бабьем-то?» Но чтобы просто так, без напоминаний о власти от народа не уйти, на всякий случай погрозил механикам пальцем:

— У меня не балуй!

— Лан, лан, не пыли, начальник! Дак про поллитру-то не забудь!

Щусь подозвал к себе Шестакова, Рындина, умеющих запрягать лошадь, велел вернуться в Осипово, брать подводы и ехать в дальний лес за черенками для вил и лопат.

— Это вам не подошвы отрывать у казенных ботинок. Здесь симулянтов не будет. Я даже вояке Мусикову работу по душе найду! — спокойно высказался он.

Мусиков в тот же день был определен на зерновые склады — провеивать зерно. Но пока зерна не было, он лежал на горячей русской печи, надеясь, что все время такая лафа и будет ему, про него, может, забудут. Хорошо бы и всю войну на печке пролежать — сходил в столовку, поел и обратно на печь, ну уж если совсем невмочь, до ветру еще сбегал, и вся тут тебе война и работа.

Из деревни потянулись быки с телегами и березовыми волокушами. Пару медленных, на ходу спящих быков вел Васконян.

Взяв веревочный повод под мышку, он вяло плелся впереди тягловой силы, засунув руки с рукавицами в карманы, и время от времени дергал плечом, понукая быков:

— Н-ну, несчастные животные! Идите! Или же я вас удадю.

Подремывая на ходу, Васконян не видел, как, взявшись за животы, хохочут ребята, девчата, Иван Иванович, Валерия Мефодьевна, а командир войска устыженно хмурится. Мимо поля, мимо комбайнов, мимо всего народа проследовал Васконян с быками. Его окликнули — далеко ли? Уж не на врага ли походом двинулся?

— Вот именно! — состывшимися губами отвечивал Васконян и, свернув в поле, бросил быков, подлез к огню, весь в нем растопорщился, распластался над пламенем, будто северный шаман. Огонь был соломенный, дикий, вспыхивал и тут же гас, шевелил темные былки в прогорелом снегу. Васконян опалил в огне свои черные, сросшиеся на переносице брови, на нем затлела шинель, с криками свалили его в снег, гасили загоревшиеся полы шинели, рукава. Даже шлем со звездой вояка умудрился подпалить. Хорошо хоть нашлись валенки по нему. Коле Рындины валенок по размеру не сыскалось, выдали вояке из клубного уголка обороны противоипритные мокроступы. Привычный к кожаным ичигам, Коля Рындин надел диковинные бахилы поверх ботинок, обмоток, умело подвязал их и чувствовал себя куда с добром, и вообще старообрядец, попав в сельскую местность, разом воспрянул духом и до такого дошел уровня бодрости, что даже пихнул плечом девчонок, те кучей свалились в снег.

— У-у, дубина стоеросовая! — ругались девчонки.

Коля поднимал девчат из снега по одной, галантно их отряхивал и каждой напоследок отвешивал по заду громкий шлепок. Девчонки взвизгивали, ойкали, но с этих же пор и выделили воина, прониклись к нему свойскими чувствами.

К вечеру Коля Рындин с Лешкой Шестаковым привезли воз черенков. В совсем уж заглохшем, снегом захороненном сельце Прошихе честно заработали они себе обед и полную аптечную бутылку самогонки. Лешка Шестаков проявил пролетарскую смекалку, подвез бабенкам соломы с поля и дровишек из лесу. Коля Рындин смотрел на своего разворотливого, мозговитого связчика с уважением — так в деревне на десятника смотрят, — но выпивать не стал, зато, прежде

чем сесть за стол, размашисто перекрестился двумя перстами на какого-то сумрачного угодника с копьем. То копьё напоминало макет винтовки из родимой бердской казармы, и ребятам грустно подумалось об оставшихся там сотоварищах — казахах, Алехе Булдакове, того вместе с начальником «хана» Яшкиным отправили в новосибирский госпиталь: Яшкина лечиться взаправду, ну а Леху придуриваться.

За столом парни еще раз переспросили название села — Прошиха и, затихнув в себе, поинтересовались: не отсюда ли родом братья Снегиревы? Им ответили, что в Прошихе Снегиревых половина селения, что касаясь братьев Снегиревых, близнецов, то семья эта разом вся загинула, изба Леокадии Саввишны была заколочена, нынче ж ее расколотили, заселили туда эвакуированных.

Ребята тяжело затихли, пряча виновато глаза, поели и после обеда, уже в лесу, спросили у дедка, их провожавшего:

— А куда же саму Снегиреву-то?

— А увезли. На подводе. Че-то сынки ее натворили. Покатила беда — открывай ворота, уж после отбытия хозяйки похоронка на хозяина пришла. Сама-то Леокадия Саввишна, слышно, в тюрьме умом тронулась.

Вроде бы по волосу и голосу старенький, но еще крепенький, ловко управляющийся с подводой житель деревни Прошиха, назначенный бабами в помощь солдатикам, сообщив все эти новости, для многих в селе уже сделавшиеся привычными, раскурил трубку, надев рукавицы и хлопая вожжами по бокам лошаденки, горестно вздохнул:

— Вот так вот. Была расейская хрестьянская семья, от веку трудовая, и не стало ее. Без дыму сгорела.

Местность свою прошихинскую помощник знал хорошо, завел сани в смешанный лес, где было густо елового подлеска. Коля Рындин выбрал и срубил себе черенок с оглоблю толщиной. Лешка Шестаков с дедом быстро навалили, обрубали елушек — потому что береза на морозе хрустка, пояснил дед, — и, пока кони, топтавшие снежный целик, отдыхали над охапкой сена, служивые успели еще и у костерка посидеть, картошек напекли, мерзлой рябиной полакомились. Продолжая наставления — на то он и дед, чтобы малых наставлять, да не на кого, видать, знание было обратить, — заключил:

— В печи жарче березы нету дров. На черенок, на шест, на очеп для зыбки руби молодую елку — гибкая лесина и вечная. Желательно на всякое изделие, на избу, на баню, робята, всякое дерево валить в декабре, коды в дереве сок замрет, вся сила в ем для борьбы с морозом соберется под корой.

На обратном пути, когда топтали дорогу, прямо из-под ног, взрываясь белыми ворохами снега, вылетали косачи. Затрещит, захлопается птица в одном месте, застреляло вокруг: которые птицы мчатся дуром сквозь лес, которые щелкают о мерзлые ветки крыльями, которые тут же и усядутся на березы, головой дергают оконтуженно, тарашатся на людей.

— Эк обсяли лес-то! Эк выставились! Ровно ведают, что охотников нету. А вы че, робятишки, приуныли-то? Че носы повесили?

— Да так...

Тихим миром веяло от леса, от работы в лесу, от дедовых поучений на жизнь, на знание жизни, а в сердце томливо, виной сердце угнетено, видно, на все оставшиеся дни та вина за убиенных братьев Снегиревых, мать их и отца, за всех невинно погубленных людей.

Коле и Лешке, раз они черенки привезли, велено было и насаживать их на вилы и лопаты. Провозились до глухого вечера. Тут уж сноровка была за Колей Рындиным, ловко он орудовал топором, рубанком, но и Лешка лишним в деле не был, тоже в свои года кой-какую работу испытывал, и связчик одобрителен к нему был, словоохотливо рассказывал про деревню Верхний Кужебар, про бабушку Секлетинью и вообще про все, что было ему памятно и казалось достойно воспоминаний. Поздним вечером ввалились в барачную комнату, где Васконян читал книгу, все продолжая байкать сморенного, на маму характером вовсе непохожего ребенка в качалке. Хозяйка квартиры, повариха Анька, побрасывала кастрюли, пнула кошку, бросила дрова на пол с артиллерийским громом.

Колю Рындина Анька усмотрела вчера вечером, когда он по своей воле остался замывать котел, они хорошо повечеровали. Анька порешила заменить квартиранта, но днем это дело провернуть не успела из-за большой занятости, от этого сердилась.

Анька и Валерия Мефодьевна жили через стенку, на двоих содержали одну няньку, войной поврежденную девчонку из эвакуированных, за еду, угол и обноски. Наголодавшаяся, что курица,

дергающая шей от военного испуга, девчонка такой должности и сытому столу была рада, но боялась разговаривать с людьми, старалась никому ничем не мешать, на глаза хозяйке не попадаться.

Увидев Колю Рындина и Лешку, Анька оживилась, захлопотала, забегала, защебетала:

— Ах, работники! Ах, ударники! Намерзлись, сердечные. Счас... счас... — И в совершенный пришла восторг, когда со словами: «Вот, заработали!» — Лешка выставил тяжелую, на крупнокалиберный снаряд похожую бутыл. — Вот парни трудятся, промышляют, — застрожилась Анька, глядя в сторону Васконяна, впившегося в книжку. — А некоторым курорт.

Васконян швыркал огромным носом с давно обмороженным и уже незаживающим кончиком, на слова хозяйки никак не реагировал, будто и не слыша их.

— Людям некогда книжечки читать. — И вздохнула как о человеке конченом или Божьем: — Он, видать, и в военном окопе читать способен. А че, в политотдел угодит, дак...

— Я не ужоу в политотдеу, — на минуту оторвавшись от книжки, перестав качать ребенка, заявил Васконян. — Я слишком честен для политотдеа. — И как ни в чем не бывало продолжал свою работу — качал ребенка, снова впившись в книжку, на обложке которой виднелись слова «Былое и думы».

— Тошно мне, тошнехонько, че говорит-то? Че он говорит?

— Ашот, иди за стол. Потом со мной к старикам Завьяловым потопаешь. Мы там с Хохлаковым квартируем, изба теплая, старики мировые. А тут, как мой отчим говорит, альянц. — Лешка развел руками, усмехаясь.

Коля смутился, опустил голову, чего-то пробовал бубнить оправдательное. Анька, видя такое состояние бойца, готовое перейти в раскаяние, прикрикнула:

— Лан, лан те альянц! У нас в Осипове это дело по-другому называется.

Лешка налил самогона в четыре посудыны. На «не пью» Васконяна и на «не могу» Коли Рындина, твердея смуглыми северными скулами, отстраненно молвил:

— Мы ведь в Прошиху попали, Ашот. Погибла семья Снегиревых. Выкорчевали благодетели еще одно русское гнездо. Под корень.



Васконян подошел к столу, сделал глоток, утерся рукавом и вернулся к кровати, поник с зажмуренными глазами над ребенком. Коля Рындин, отвернувшись, истово перекрестился на мерзлое окно, прошептал какое-то молебство, разобралось лишь «и милосердия двери отверзи», но и этого достало, чтобы Аньке оробеть.

— Че дальше-то будет? Когда эта война клятая кончится? — попробовала она запричитать.

— Когда чевовечество измогдует себя, устанет от гога, нахлебается кгови... — не открывая глаз, раскачиваясь в лад люльке, непривычно зло и громко произнес Васконян и внезапно в пустоту, во мрак изрек страшное: — Смоют ли когда-нибудь дочиста слезы всего чевовечества кговь со всего чевовечества? Вот что узнать мне хочется.

Парни испуганно открыли рты, Анька, видя, что весь план ее нарушается, встряхнулась первая:

— Ой, ребятушки, уже поздно. Скоро Гринька проснется. Спокойной вам ночи. Бежите, бежите, я самогонку спрячу...

Коля Рындин, оробев от возникшей ситуации, начал искать рукавицы.

— Дак, ребята, я, это... стало быть... утресь на работу...

— Я разбужу, — решительно снимая с Коли шапку, заявил верный связчик его Лешка Шестаков.

— Все ж таки неловко как-то, — вытащившись в коридор, оправдывался Коля Рындин, видя, как непривычно напряглась хозяйка.

— Я тебе, помнишь, говорил, что неловко? — посуровел Лешка. — Говорил?

Коля Рындин напрягся памятью:

— Ковды?

— Ковды, ковды! Когда бабушка твоя Секлетинья в невестах ходила. Завтра напомним че да ковды. — И, круто повернув Колю Рындина, Лешка поддал ему коленкой в зад, провожая по направлению Анькиной комнаты, да так ловко поддал, что Коля свалился на руки хозяйки, и та подморгнула Лешке благодарно.

«Знает только ночь глубока-а-а-ая, ка-ак поладили они, р-расступи-ы-ысь ты, рожь высокая, та-айну свя-то сохра-ани-ы-ы-ы», — пел теперь на всю деревню Осипово народ, потому как Анька-повариха убыстрила ход, нарядная, бегала к ребенку из кухни и от ребенка в кухню, громко на все село хохотала, но главное достижение

было в том, что качество блюд улучшилось, кормежка доведена была до такой калории, что даже самые застенчивые парни на девок начали поглядывать тенденциозно.

— Спасибо тебе, Коля, дорогой, порадел! — вставая из-за столов, накрытых чистыми клеенками, кланялись Коле Рындину сыто порыгивающие работники.

— Да мне-то за што? — недоумевал Коля Рындин, но, разгадав тонкий намек, самодовольно реготал: — У-у, фулюганы!

На работе мало-помалу все определилось и выстроилось. Парни выковыривали копешки из-под снега, свозили их к комбайну, машина, захлебываясь всем железом, почти замолкая от смерзшихся хлебных пластов иль бодро попукивая, пускала синие кольца дыма, пожирала навильники сухого, из середины копны валимого, мало осыпавшегося хлеба, неумоимо бросала и бросала мятую, на морозе крошащуюся солому за спину себе, под ноги отгребальщиков с вилами. Шустрые служивые волокли солому на вилах и в беремени к огню и почти всю сжигали, грея себя и девчонок, сплошь почти уже распределившихся на работе по зову сердца.

Коля Рындин, волохавший за ползвода, изладил себе противень из ржавого железа, отжег его и на том противне жарил пшеницу, щедро угощал «товаришшэв». Закинувшись назад, пригоршней сыпал он в рот горячее зерно, хрустел так, что иногда молотильщики-комбайнеры озирались на машину — уж не искрошились ли железные шестеренки. Подкормившись на совхозном и Анькином харче, жуя горячую пшеницу, Коля Рындин, притопывая, орал частушки:

Все татары, все татары, а я русской человек.

Всем по паре, всем по паре, а мне парочки-то нет!..

Коля Рындин прокатывался насчет Васконяна, который так и не обзавелся дамой сердца, так и маялся с двумя волами, которые, волоча кучу копен, вдруг останавливались, глубоко о чем-то задумавшись. Васконян дергал повод, требовал движения. Стронувшись наконец с места по своей воле и охоте, быки роняли своего поводыря в снег низко опущенными головами, протаскивали по нему охвостье березовой волокуши.

— Да они ж его изувечат, насмерть затопчут! — ахнул Иван Иванович Тебеньков. — Нарядите человека на другую работу.

Щусь отрядил быков с Васконяном, помощником ему бывалого лесоруба Лешку Шестакова, в березовый лесок, щеточкой выступающий за желтым полем в ясную погоду, по дрова. Всю солому труженики полей сжигают, на совхоз же, кроме всех бед, надвигается бескормица, весной солома понадобится как спасительница скота, да и с топливом в деревне, особенно в семьях эвакуированных, плохо, в бараках люди мерзли и бедствовали, везде нужда, везде нужна помощь, а рабочих рук на селе все меньше и меньше.

Тем временем подошла пора везть намолоченный хлеб, и утром, приворотив воз березника к конторе, где его пилили на дрова распоясанные вояки, Васконян и Лешка определились в совхозный амбар, там на вейлке работал редкостного усердия труженик Петька Мусиков да четыре женщины — две молодые, но уже смертельно усталые детные вдовы и две егозистые, недавно окончившие школу сибирские девки. Эти, не глядя на военную беду, по зову природы и возраста все норовили потолкаться, поиграть, в уголках пошущукаться, не было игры у них заманчивей, как, сваливши служивого на ворох хлеба, насыпать ему в штаны холодного зерна.

— Да что вы, девочки, мивые! — взмолился Васконян, без того весь околевший, мерзлые сопли на рукавицу размазавший, выгребая через ширинку пшеницу из штанов.

Петька Мусиков матерился, кусался, отбиваясь от неистовых сибирячек.

Игруньи от него и от Васконяна отступились. Неперспективные. Лешке ж доставалось. Он едва справлялся с двумя матерееющими халдами, как их называли бабенки-вдовы, наставляя Лешку им самим насыпать пшеницы под резинку трусов, что он в конце концов и сделал. Визг поднялся, беготня по риге. Бабы, поддавая жару, кричали поощрительное. Весело сделалось, даже Васконян сморщил рот в улыбке.

На этот трудовой шум явилась Валерия Мефодьевна.

— Весело у вас тут, — сказала и увела с собой одну бабенку.

— Вот, доигрался! — сверкая глазищами, укорили Лешку девки-предательницы.

Тем временем в поле нарастал трудовой напор.

— Десять копен на брата, — определил упряг командир, — и как сделаете норму, хоть до обеда, хоть до ночи прокопаетесь, — так и домой, в тепло.

Никакой еще хитрой тактики в молодых беспечных головах не велось, навалятся дружно, пошел, пошел молотить, чтоб побыстрее домой, под крышу, затем в клуб. Девки тоже ударно трудятся, пластаются, сгребая снег с копен, тоже в клуб поскорее охота.

Коля Рындин обходился без волокуш — наворочает на свои вилицы две копны (три не выдерживали навильники), взвалит на загривок и, двигаясь под этим возом к комбайну, орет что-то героическое, ведет себя, словно отчаянный таежный ушкуйник, весь осыпанный крошечкой грязной соломы, землю, снегом. Отряхнется у костра труженик, всыпет горстицей в рот поджаренной пшеницы, наденет рукавицы — и снова за дело.

«Мне бы такого работника в совхоз», — снова и снова вздыхал Иван Иванович Тебеньков, наблюдая, как игрушечки управляется с тяжелой ношей могучий чалдон, да и все труженики из красного войска сплошь управлялись с нормой до обеда, еще и в свежей, холодной соломе успевали с девчатами поваляться, потискать их, повеселить. Всем на все хватало сил. Шагая по селу Осипово с вилами через плечо, молодые, хваткие работники и песню совместно деранут, да не строевую обрыдлую песню, а свою, деревенскую, но не по понуждению старшины, по доброй воле и охоте споют.

«Рано пташечка запела, кабы кошечка не съела!» — съязвила однажды Анька-повариха. Волохая на кухне с темна до темна да неутомно ночью с Колей Рындиным трудясь, она до того уставала, что ноги у нее дрожали и подсекались. И накаркала, накаркала ведь, нечистая сила, усек полководец свою промашку и, вспомнив еще в Тобольске слышанную пословицу: «Это не служба, а службишка. Служба будет впереди», молвил войску: «Э-э, орлы! Пользуетесь моей хозяйственной безграмотностью. Шаляй-валяй норму делаете!..» — да и добавил сперва по две, потом по пять копен на брата. Норму осиливали уже тяжелее. Вечером возвращались домой без песен, длинно растянувшись по сумеречной пустынной дороге.

В риге на веянье зерна начали работать две машины. Работы прибыло. Лешка уже не мог отпускать Васконяна домой «на часок» — погреться. Тот, схватившись за ручки веялки, мотался, мотался — не понять было: он ли машину крутит, она ли его. И девчонкам уже совсем не до игр сделалось.

Высушенное зерно ссыпали в мешки, буртовали их возле стен. Тут уж подставляли спину Лешка и молодая, но заезженная жизнью вдова — девок под мешки не поставишь, Мусиков-трудяга падал под мешком. Девчонки сердешные вкалывали, отгребая навеянное зерно от веялок, стаскивая его на носилках вверх в сушильное отделение, рассыпая по полатям. У Лешки руки отламывало, кости на спине, в плечах саднило, думал: придет домой, сунется на лежак за печку и не пошевелится. Но, полежав после ужина на топчане, он разламывался, иссиливался, спешил в клуб и, к удивлению своему, заставал там своих юных веяльщиц — они из другой деревни родом, но вместе росли, в школе сидели за одной партой, привыкли все делить пополам и ныне ревниво следили друг за дружкой, натанцевавшись, неразъемной парой волоклись домой, ведя Лешку, будто больного, под ручки. С обеих сторон подцепившись, в теплой серединке держа его, девки незаметно то слева, то справа прижимались к нему. Потоптавшись возле ворот, одна из подруг наконец роняла: «Ну, я пошла» — и стояла, стояла, переминаясь с ноги на ногу, тогда и вторая со вздохом объявляла: «И я пошла» — и раскатом во двор. Из-за ворот раздавался приглушенный смех, стучала дверь в сенках, скрежетал в петлях железный засов, затем отодвигалась занавеска на окне, сквозь мутное стекло Лешке видно — машут ему вослед, если бы виднее было, так кавалер разглядел бы: ему еще и язык показывают, толстущий, бабий.

У одной юной труженицы по имени Дора в Осипове жила тетка, и брошенные на прорыв с центральной усадьбы девки у нее и квартировали. Тетка не держала квартиранток строго. Она и сама в молодости удалой считалась, повольничала, набегалась с парнями вдосталь, потому и понимание жизни имела, потребности молодого сердца ведала.

— Че парня на улке морозите? Созовите домой, да не одного, а двух, чтоб по-человечески было. Может статья, Бог послал вам первых и последних кавалеров...

«Все! Пускай сами с собой танцуют и сами себя провожают! Зачем мне дрыгать на холоду? — негодовал Лешка Шестаков. — Нашли громоотвод!..»

Отступили морозы. Пригрело не пригрело, но метели тут как тут из-за дальних перелесков на рысях вынеслись, зашумели, закружили снег, засвистели в проводах, загудели в трубах.

У Завьяловых в одну из метельных ночей благополучно отелилась корова. Как положено суеверным чалдонам, хозяева потаились два дня, после чего хозяйка размякшим голосом пропела:

— Н-ну, робятушки! Лехкое у вас сердце, глаз неурочлив. Телочку Бог дал! И раз вы квартировали у нас при ее явлении, быть вам и крестными.

— Как это?

— А именем телочку нареките.

Дед Завьялов тут как тут с поллитровкой, с законной по случаю благополучного исхода в хозяйстве, хозяйкой выданной, — дело-то ответственное, как его без градуса обмозгуешь? И приговорка у хозяина к разу и к месту готова: «За Богом молитва, за царем служба не пропадет».

Имя телке придумал Васконян, да такое, что уж красивей и выдумать невозможно, — Снежана. Впрочем, хозяин с хозяйкой имя то распрекрасное тут же переиначили в Снежицу, потому как во дворе мело-порошило, снегом в окно бросало, сугробы на дворе намело, да и привычней крестьянскому языку и двору этакое подлаженное корове прозвище-имя.

Несмотря на метель и ветер, к Завьяловым, черпая катанками снег, следовали и следовали из клуба посыльные — нужен был Григорий Хохлак, без него остановилась культурная жизнь. Пилит, правда, на басах Мануйлова, которая за два года учебы в областном культпросветучилище успела занять двух мужиков, сделала от них два аборта, но больше никакой другой культуре и искусству не научилась.

— Неча, неча, — махали на посыльных руками Завьяловы. — Пущай хоть раз робята выспятся, вон уж поосунулись от работы на ветру да от ваших танцев-шманцев.

Было явление двух юных веяльщиц. Лешка на них ноль внимания. Надо Хохлака, зовите Хохлака, вожжаться же с вами попусту — дураков поищите в другом месте.

— Ладно уж, жалко уж! — заныли от порога девчонки. — А еще солда-аты: народа защитники! И ты, дед, хорош, и ты, баба! Завладели-иы-ы-ы...

Васконян, человек, культуре обученный, смущенно пригласил напарниц по веялке раздеваться, составить компанию.

— Че нам ваша компания? Мы другу соберем!

Но ничего у плакальщиц не выревелось, не собрали они компанию на этот раз, поздно хватились, и шибко метельно было. Назавтра в клубе ничего не происходило из-за отсутствия дров — убродно, метельно, подводы к лесу не пробились. Мануйлова куда-то уехала или спряталась, заперев баян под замок.

День в томлении и скуке прошел. Опустив глаза, девчонки-вязальщицы, виноватые во всем, Шура и Дора, вежливо, даже церемонно пригласили Лешку с друзьями посидеть у тетки Марьи, попить чаю, поскольку клуб снова не топлён. Вызнав про компанию и про чай, сердитая оттого, что ее не позвали, Мануйлова самоглавнейший предмет местного искусства — баян — унесла домой и заперла в ящик.

Ходили посыльные на квартиру главной начальницы, Валерии Мефодьевны, жаловались на руководителя культуры.

— Она, эта министерша, бездельница эта, добьется у меня! — взвилась начальница и вопросительно поглядела на еще более высокую власть.

Щусь решительно, как командир орудия перед выстрелом, махнул рукой:

— Ломайте замок на сундуку. Гуляйте. Но не до утра. Метель утихнет, наверстывать будем упущенное.

— Будем, будем! — сулились военные весело и стремглав бросились на штурм сундука Мануйловой.

Но Дора и Шура до штурма дело не допустили, они под ручку привели в дом завклубом и баян, завернутый в половичок, принесли, на колени его Грише Хохлаку поставили со словами: «Вот, владей! Все!..»

Хоть и набилось народу к тетке Марье полный дом, Шура и Дора стойко держались «своих»: Шура танцевала и сидела только с Лешкой, Дора, не зная, с какого боку подступиться к музыканту, подносила выпить и закусить, накоротке обнадеживающе мяла грудь о его плечо, ласково теребя за ухо, поскольку волосы на голове воина еще не отросли.

Хохлак так играл, как никогда в жизни еще не играл. Дорина тетка и хозяйка избы Марья, до глубины души пронзенная страстной и зовущей музыкой, напелась, наревелась, но, понимая ситуацию, вовремя удалилась ночевать к куме, чтоб не стеснять собою молодежь.

— Ну, девки, хозяййте тут, распорядитесь, я с ног валюсь, — пропела тетка Марья, промазывая ногой мимо валенка, и, снаряжаясь, наказывала: — Карасин долго не жгите, карасин ноне кусатца. А ухажер, он что охотник, нюхом должен дичь чують, в потемках ее имать беспромашно.

Во сколько часов, как разошлись гости — неизвестно, потому что Шура наладилась утягивать Лешку в боковушку, где они обитали с Дорой, обнимала его там, целовала неумело, но так яростно, что кавалер почувствовал на губах соленое, догадался — кровь, и, поверженный напором женской страсти, оторопело слизывал ее. Шура нежно сцеловывала кровь с Лешкиных губ, захмелело, сонно воркуя: «Милый солдатик. Раненый мой солдатик», — и тянула его на довольно пышную, совсем не по-квартирантски заправленную кровать, уверяя, что никто не зайдет, что Дора — подруга верная, все соображает, все как надо сделает. Задушенный поцелуями Лешка спрашивал: что же ты так-то, зачем же за нос человека водить? Да еще и насмеяться?

— А как же? Сразу и в дамки? Пусть и война, пусть и томленье. Но надо честь девчоночью блюсти...

— Ну и блюда. Я домой пойду! — ворохнулся Лешка. Шура попридержала кавалера, мечтательно глядя вдаль, попророчествовала и вздохнула.

— Мы будем вместе, будем. Только не сейчас. — И вдруг всхлипнула. — Ты хоть обними меня, скажи хоть: жди, мол, Шура, жди после победы...

Лешка сжался в себе, примолк: он слишком много знал на Крайнем Севере, в родных Шурышкарах обманутых и покинутых не



только женщин, но и детей. В память навсегда вклеилась привычная шурышкарская картина — в мужицкое одетая, мужиковато шагающая, курящая, пьющая баба, ведущая дом и хозяйство, в доме у нее выводок детей недогляженных, растущих, что в поле трава, куда-то потом навсегда исчезающих, словно в бездонный человеческий омут занырывающих. Он выпростал руку из-под головы подруги, погладил ее по раскосмаченным волосам. Она выловила его руку во тьме, прижалась к ней губами.

— Вот и хорошо! Вот и хорошо!.. Спи теперь, спи. Скоро утро. Скоро нам на работу.

Лешка лежал неподвижно. За окном все еще шумело, шуршало, что-то подрагивало на крыше или во дворе. Шура разом ослабела, напряженное тело ее распустилось, по-детски протяжно, со всхлипом вздохнув, она опала в сон, Лешка незаметно для себя отдалился от нее и от всего на свете, перестал слышать ветер за окном и тоже с протяжным вздохом, которого не почувствовал, усталый, измотанный, заснул с тяжестью в растревоженном теле, с шумом в хмельной голове, успев еще подумать о Тамаре, как с той было хорошо, просто — э-эх!..

## Глава четырнадцатая

Унялась, залегла в снегах степная просторная метель. Лишь слабеющие порывы ветра, занявшись за околицей села, завихрят, завертят ворох снега, донесут белую полосу до деревушки и расстелют ее на низком плетне огородов, рассыпят по сугробам белую сечку, а коли прорвется вихорек по совсем уж заметной дороге в улицу деревушки, завертится на ней, поскачет белым петушком, вскрикнет, взвизгнет и присядет на жердочку иль на доски крылечка, сронит горстку пера в палисадник — не ко времени прилетел, но в самую пору отгостился.

Лениво поднималось, раскачивалось, валило в степь трудовое войско с лопатами, вилами на плечах. За служивыми, по свежетоптанной тропке покорным выводком тащились, попрыгивали подчембаренные, как в Сибири говорят, стало быть, в длинные штаны под юбками сряженные, девчата. До бровей закутанные, все слова, всю, учено говоря, энергию истратившие за время простоя, они не разговаривали меж собой, лишь зевали протяжно, даже не вскрикивали, если в дреме оступались со следа, проложенного тоже изнуренным войском, с досадой пурхались в снегу. Предстояло им разламываться в труде, преодолевая оплетающую тело усталость.

Комбайн захоронило в снежном кургане, копешки совсем завеяло, замело, где, как искать их — неизвестно. Коля Рындин развел костер, нажарил пшеницы, похрустел, погрелся, подтянул пояс на шинели и пошел ворочать копны. За ним потянулась в поле вся армия. Девчонки, обсевшие костерок, неохотно, с трудом отлипали от огонька и, настигнув Колю Рындина, тыкали в его несокрушимую спину, в загривок, считая, что, если б он не вылез из со своим трудовым примером, не высовывался поперед всех, так и сидели бы, подремывали люди у костерка.

Механики отогревали и заводили двигатель комбайна, возчики широко обложили машину охапками соломы, в которой негусто темнели, где и светились желтенько сплюсненные колоски.

Щусь тащился верхом на коне по убродному снегу и видел, что войско его не спит, не простаивает, барахтаясь в сугробах, в наметах,

расковыривает, таскает и возит навильники хлеба к комбайну. Он слез с лошади и, ведя ее за повод, думал о том, что надо просить у директора совхоза Тебенькова трактор и перетаскивать комбайн дальше в поля — сделалось далеко доставлять копны на обмолот. Второй комбайн, как ни старались собрать и завести, — не получилось: не было запчастей в совхозе. Но главное: забрали из совхоза на войну самого нужного человека — кузнеца, и тогда смекалистые механики начали разбирать второй комбайн на запчасти: снимали с него шкивы, ремни, отвинчивали гайки, вынимали шестеренки, словом, подзаряжали, подлаживали машину, чтобы не рассыпалась она вовсе, и думали не только механики, не только директор и начальница Валерия Мефодьевна, но и весь еще не совсем разучившийся шевелить мозгами трудовой народ: что же будет тут весной? На чем пахать? На чем и что сеять? Ведь уже сейчас, чтобы держать вживе хоть один комбайн, на него кроме деловых механиков отряжают порой целую бригаду ремонтников.

Бойцы-молодцы, такие жалкие, вредные, заторможенные умом в казарме, на плацу, здесь, на сельском поле, распоряжений не ждали, команд тем более, пинков и подзатыльников не выхлопатывали, и ладно, и хорошо, что Яшкин не попал на хлебоуборку. Визгу от него много, толку мало. Но откуда, где взять совхозу такую бригаду потом, ведь подметают по России последних боеспособных мужиков, а враг на Волге, а конца войне не видать.

Необъяснимая тоска томила младшего лейтенанта Щуся, тревога доставала сердце. Во время метели он просмотрел газеты, прослушал радио: Сталинград изнемогал, но держался; на других фронтах кое-где остановили и даже чуть попятити немца. Но отдали-то, но провоевали такие просторы.

«На фронт скоро, вот в чем дело», — решил Щусь, и когда случалось быть вместе с Валерией Мефодьевной, а случалось это нечасто — занятой она человек, — смотрел на нее пристальным, тревожным взглядом. Немало знал он женщин, похороводился с ними, но эта вот, с продолговатыми скулами, с оттесненными от переносицы спокойными глазами, всегда ясными, всегда со вниманием распахнутыми навстречу другому взгляду, женщина с крепко сидящей на совсем некрепкой шее головой, увенчанной забранными с висков и от затылка густыми волосами, которые держал со лба роговой ободок,

на затылке гребенка и множество заколок, заняла в его сердце и сознании вроде бы отдельное место. Он долго не мог найти объяснения влечению своему, и вдруг как удар! — тетушка! Вечная его мать, веноч с названием — женщина, она, она предстала ему во плоти и лике здесь, в сибирском глухом краю. Вечная по тетушке-матери тоска, любовь и нежность, ни с чем не соизмеримые, должны же были найти где-то свое воплощение, свой образ, свой источник, всеутоляющий жажду любви.

Именно отсюда, из Осипова, он написал в Тобольск письмо и попросил художника Обдернова, ученика Доната Аркадьевича, схоронившего своего учителя, доглядевшего одинокую старость Татьяны Илларионовны, по праву занявшего дом Щусевых со всем имуществом и картинами, прислать копию с фотографии своей тетушки, выкорив себя за черствость, попутно попросил фотографию своих родителей, повелел распорядиться имуществом по своему усмотрению, сам он, Щусь, уже представлял, что такое нынешняя война, при вбитой в него военной добросовестности выжить на ней не надеялся. Если б не офицерский, не мужской кураж, какая буря чувств обрушилась бы на нечаянно и негаданно встреченную в Осипове женщину. Но умение владеть собой, стойкость походного сердцеда, ответственность, наконец, за свои поступки, но главное — пример родителей Доната Аркадьевича, Татьяны Илларионовны, пример святого отношения мужчины к женщине, верный до гроба их союз должен же был когда-то и где-то отозваться. А тут что же? Завтра покличут в полк, снарядят на фронт. Зачем рассиропливаться? Зачем втягивать женщину, которой и без того тоже живется сложно и трудно, в какие-то многообязывающие отношения, обманывать надеждами...

Валерия Мефодьевна перед сном неторопливо вынимала из волос гребешок, заколки, складывала на столик перед зеркалом все эти принадлежности и, трянув головой, сбрасывала на спину волну волос. Почувствовав облегчение от этой вольности, какое-то время сидела перед зеркалом, не видя в нем себя и не веря наступившему покою. На Щусю накатывала такая волна чувств, что он, не выдержав, обнимал ее сзади, целовал в шею, и, чувствуя нежное тепло тонкой кожи, казалось, сейчас утонет, умрет в ней. Валерия Мефодьевна, очнувшись, прижималась подбородком к его рукам и какое-то время не двигалась, не открывала глаз. Наконец, коснувшись губами его руки,

шептала: «Пора! Отдыхать пора» — и еще какое-то время сидела не шевелясь, не произнося слов.

Щусь с каждым днем все острее чувствовал смущение оттого, что в первый раз он обошелся с ней по-военному просто и грубо, толкнул на кровать, разнял руки, придавил...

«Ну что, укротитель, ладно тебе?» — спросила она затем в темноте. Не зная, что ответить, он припал губами к ее губам, обращая всю свою растроганность в мужскую грубую страсть.

Щусь побывал у Валерии дома, на центральной усадьбе. Дом этот был не только крепко и просторно рублен, но и обихожен заботливо, обшит в елочку кедровой дощечкой, наличники и ставни крашены, ворота с точеной рамой. На верху крыши излажен боевой петух с хвостом-флюгером. В самой избе обиход на полпути к городскому: прихожая, куть по обиходу деревенские, зато горница с коврами над кроватями, со шкафом, с круглым столом посередине, патефон на угловике, радио на стене, зеркало, флакончики. В ребячьей, как вскоре уяснил гость — комнате Валерии, есть полка с книгами, и стол отдельный, и тумбочка у кровати со светильником — все-все городское.

Старший брат Валерии, сестра и мать держались к гостю почтительно и сдержанно, сразу же разгадав нехитрую ситуацию, возникшую меж женщиной и мужчиной, не уяснив, впрочем, до конца, почему он, форсистый, ладненький офицерик, так быстро оказался при ней, при Валерии, — всякого-то якова она и не приблизит, и в дом родной не привезет, хоть и нету с прошлой осени вестей от мужа, однако же это не значит, что можно уже и другого заводить, по родне напоказ возить. Подождать бы вестей с фронта, потерпеть, пострадать...

Брат Валерии затеял стол и разговор. Мать с удовольствием отметила, что гость на вино не жаден, хотя и управляется с водкой лихо. Но вот ест как-то без интереса, не выбирая, чего повкуснее. Спросила младшего лейтенанта, чего это он такой. Валерия, скосив глазищи, ждала, что скажет Щусь, чуть заметная усмешка шевельнула пушок на ее губе.

— А я, Домна Михайловна, ничего не понимаю в еде. К военной столовке смолоду привык. — И тише добавил, уводя глаза: — Да к

бродячей жизни.

— Знаю, военная жизнь — ненадежная жизнь, — сказала мать, твердо глядя на дочь и как бы говоря это для нее отдельно, однако ж и гость чтобы разумел глубокий смысл ею сказанного.

Брат Валерии, рассеивая возникшую неловкость, спросил насчет ордена, где, мол, и как заработан. Когда узнал, что еще на Хасане, предложил выпить за это дело. Разговор ушел в сторону, заколесил по окрестностям военных полей, по крутым горам жизни, а Домна Михайловна все более тревожилась, поглядывая на дочь да на гостя. «Ой, Царица Небесная, кажется, у них сурьезные дела-то! Ой, че будет? Война кругом...»

После обеда Валерия Мефодьевна засобиралась по делам в контору, спутнику своему предложила на выбор три удовольствия: поспать на печи, почитать — отец был большой книгочей, когда попадал в город, непременно покупал книги, Щусь уже отметил: в доме этом обитал сельский интеллигент, знавший городской обиход, устройство городское и не желавший отставать от передовой культуры, — либо посмотреть альбом с фотографиями.

Гость листал альбом и видел, что Валерия была с детства в семье выделена: красивая, уже в подростках независимая, на карточках смотрелась она как-то на отшибе, вроде бы городская особь, случайно затесавшаяся в деревенский круг. Щусь не без улыбки предположил, что Валерия была в школе отличницей.

— Круглой, круглой. С первого по десятый класс. — Подтвердила Домна Михайловна и, словно удивляясь самой себе, подсев к гостю, заглянула в альбом, в который давно не было поры заглянуть, продолжала: — Шестеро их у нас. Трое парней и девок три. Два парня на войне, во флоте. Дочка середняя по мобилизации на военном летчицком заводе в Новосибирске. Все оне люди как люди. Учились кто как, помогали по дому и двору, в лес бродили, дрались, фулюганничали, погуливали, по огородишкам лазили, из речки летом не вылезали, ни один, кроме нее, десятилетку не вытянул. А она, милый ты мой, и шпарит, и погонять ее никто в учебе-то не погонял. Накинет мою старую шаленку на плечи, сядет за стол за отцовский в горнице, не позови поесть, так и засохнет над книжкой. Да это еще чего-о! — Домна Михайловна, существо все же деревенское больше, хотя хозяин, поди-ко, изо всех сил тянул ее на городской обиход,

суеверно перекрестилась на окно — сам икон в доме не держал. — Она и в жите-то блаженная была. Надо идти на улицу, ко мне в куть: «Мама, разрешите мне сходить поиграть...» Меня аж оторопь возьмет: Го-осподи, откуль че? Что за порча на ребенка напущена? К родителям на «вы». В городе, в техникуме-то, из общежития не выходила, все книжечки, все книжечки... На практике в поле перед самой войной познакомилась с одним, да тот тоже ее стеснялся, тоже с нею на «вы». Отец уж перед отъездом на войну, лезервист он, уговорил уважить его, чтоб союз семейный у дочери завелся, мол, на душе спокойней будет. Все дети при месте, и ты, мое самое дорогое дитя, тоже устроена.

Домна Михайловна вздохнула, побросала мелкие крестики на грудь, тут же испуганно убрала руку.

— Сам-то запрещал молиться. Все партия, все партия... Вот те и партия! Где она? Где он? Ты уж не обессудь меня, молюсь потихонечку нонче за всех за вас, и за него, безбожника, тоже. Скажу те по секрету — он меня за отсталость чуть не бросил с детьми. Городску атеистку подцепил, и если бы не Валерия... Ох-хо-хо-о-о-о, грехи наши тяжкие!.. Ну вот, слушай дальше... Уважила наша барыня отца, пожила сколько-то с мужем в Новосибирске. Того призвали в первую же неделю войны. Она домой в тягости. Худая, зеленая, глазишшы светятся попреком: «Ну што, довольны теперь?» Боже мой, Боже мой! Што за человек?! Токо-токо родила, ребенка под бок и в другу деревню, на самостоятельный хлеб. Будто в родной избе места нету, будто бабушке внученька не в радость. Сама мается и ребенка мает... Тепло ли в комнатенке-то? Молоко-то хоть есть?

— Тепло, тепло, Домна Михайловна, и молоко приносят, и нянька — девочка славная.

— Нянька! — всхлипнула Домна Михайловна. — Чужой человек... Я бы и съездила другой раз, Иван Иваныч в подводе не откажет, да боюсь. Все мы ее чтим, но боимся. А вы-то как? Временно это у вас?

— Война, Домна Михайловна.

— Во-ойна-а-а, — подхватила Домна Михайловна. — И как она вас к себе подпустила? Вот в чем мое недоуменье.

«Как? Как? Обыкновенно. — Щусь смотрел на семейную, может, и свадебную фотографию. Нездешнего, не деревенского вида деваха, неброско, но ладно одетая, с косой, кинутая на грудь. К девахе приник,

прилепился совершенно смиренный, блеклый парень с пролетарской осанкой, большеносый, широколицый, аккуратно причесанный перед съемкой, в галстук, явно его задушившем. — А вот так! И вам, и ему, да и мне, пожалуй, Валерия за что-то выдает...»

— Клопов-то хоть нету?

— Что вы сказали, Домна Михайловна?

— Клопов-то, говорю, в бараке хоть нету? А то съедят ребенчишка... Сам-то в каждом письме только об ней да о внучке спрашивает, будто других детей и внуков у него нету.

— Клопов нет...

— Ну-ну, — не поверила Домна Михайловна и, поджав губы, спросила еще: — Вы с ночевой или как?

— Это уж как Валерия Мефодьевна решит.

— Во-во, и ты туда же: «Как Валерия Мефодьевна решит». Всю жизнь этак, все в доме по ней равняйтесь, по ее будь. Ей бы мужиком родиться — в генералы б вышла, дак того фашиста в его огороде, как Ворошилов сулился, и доконала бы...

Валерия вернулась домой поздно. Приторочила лошадь к воротам, бросила ей охапку сена, дома, не раздеваясь, налила в кружку молока, отрезала ломоть хлеба и, приспустив шаль с чуть сбившихся волос, под села в кути к столу.

— Куда это на ночь глядя? — насторожилась Домна Михайловна. — Ночуйте. — И, отвернувшись, тише добавила: — Я в горнице постелю, никто не помешает, с рассветом разбужу.

— Дела, мама, дела. Завтра с утра хлеб сдавать. Намолотили зерна солдатики.

— Дак и сдавай, кто мешает? Девок, говорят, у ты полно отделение, солдатики намолотят, детский сад в Осипове понадобится...

— Хорошо бы, — устало улыбнулась Валерия Мефодьевна и сомлело потянулась. — Везде закрываются детсады да ясли — детей нет, а я бы с радостью открыла.

— А волки! — не сдавалась мать. — Говорят, дороги кишат ими. Ниче не боятся. Война. Мужиков нету. Подводы и коновозчиков дерут...

— Да мало ли чего у вас тут говорят. У нас вот поют! — и, словно стряхивая с себя что-то, повела плечами, подмигнула младшему



лейтенанту.

«А-а, беэ-эс, баба-а-а, затейница, а-а, ведьма, сибирская!» — восхитился Щусь и сейчас только понял, что не знает ее, нисколько не постиг, и постигать, наверное, времени уже не хватит, да и зачем?

— Тебе че! Тебе хоть волки, хоть медведи, — собирая кошелку, ворчала Домна Михайловна. — У тя, Лексей Донатович, наган-то есть? А то ведь нашей пролетарье всех стран соединяйтесь никто не страшен...

— Есть, есть, Домна Михайловна. Простите, если что не так.

— Заезжайте ковды, хоть один, хоть с ей, — хмурясь, вежливо пригласила хозяйка и ткнулась в щеку дочери губами. — Ребенка-то хоть побереги, ребенка-то пожалей. Отец вон в каждом письме о тебе и о нем... Напиши хоть ему ответ, если недосуг матери вниманье уделить... Занята... — мимоходом, но значительно ввернула она и уперлась глазами в младшего лейтенанта.

— Напишу, напишу как-нибудь — отстранилась Валерия от матери и, кинув на ходу: «До свиданья!» — вышла из дому.

Ехали молча, не торопясь. Валерия сидела, откинувшись в угол кошевки, закрыв глаза, плотно запахнувшись, повязанная по груди шалью — кормящая мать, бережется. Щусь, не опуская вожжей, валенком прикопал ее ноги в солому. Она покачала головой — спасибо.

В степи было тихо и лунно. Лишь вешки, обозначающие дорогу, да телеграфные столбы, бросая от себя длинные тени, оживляли белую равнину, загадочно мерцающую искрами, переливающуюся скольльзящим лунным светом. Полоски переломанного бурьяна раскосмаченно помаргивали в лунном свете, в приветствии упрямо клонились к дороге татарники, лебеда, чертополох — все еще пытались сорить где-то упрятым, ветром не выбитым семечком из дребезжащих коробочек; густо ветвилась полынь в степных неглубоких ложбинках, доверху забитых снегом, похожих под луной на переполненные, через края льющиеся речки. В ложбинках вязли сани, трещал сухой бурьян под полозьями, конь утопал по брюхо в снегу, заметно напрягался, но, вытащив кошевку из наметов, фыркнул освобожденно и, отряхнувшись, без понуканий переходил на легкий бег. Тень дуги, оглобель, коняги, даже пара, клубящегося из его ноздрей, скользила рядом, мотала хвостом, шевелила ушами — такая славная, такая милая картина, совершенно успокаивающая сердце,

уносящая память не только за кромку этих снежных полей, но еще дальше, в какое-то убаюканное ночью и временем пространство, где не только о войне, но даже о какой-либо тревоге помина нет.

И если бы не эти всхолмленные поля, не эти «несжатые нивы», уходящие в ночную лунную бесконечность, в неверным светом рдеющие дали, которые там и сям коротким, робким росчерком ученического карандаша означали березовые перелески, краса и радость лесостепных земель, — все воспринималось бы, как в древней сказке с хорошим, мирным концом.

Мертвые хлеба в который раз унизило, придавило метельными снегами, но они, израненные, убитые, все равно клочковато выпрастывались, горбато вздымались из рыхлых сугробов, трясли пустыми колосьями, мотали измочаленными чубами. Темной тучкой наплывала погибшая полоса на холме, выдутая до земли, тенями ходила под луной, все еще чем-то пылилась, позванивала, шуршала — сердцу становилось тесно в груди при виде этих сиротских полей, словно непохороненный, брошенный покойник неприкаянно маялся без креста, без домовины и тревожил собою не только ночную степь, но и лунное студеное небо. От них, от этих заброшенных, запустелых полей, отлученно гляделись и редкие перелески, и остатние низко осевшие скирды, и приземистые, безголосые домики степных деревень, продышавших в сугробах норочки, из которых светилось, теплом дышало одинокое оконце.

Хотелось встряхнуться, заорать или заплакать, исхлестать лошадь, такую бодрую, такую безразличную ко всему, такую... «Эк тебя, Алексей Донатович, рассолодило! Баба рядом, степь кругом, метель унялась, война далеко — такая ли идиллия...»

И только он так подумал, от перелеска, проступившего впереди, донесло голос заблудшего пьяного человека и тут же подхватом поскребло уши одинокое рыдание. «Да это ж волки! Накаркала, накликала Домна Михайловна...»

— У тебя наган-то заряжен ли? — не открывая глаз, насмешливо спросила Валерия.

— Он у меня завсегда, товарищ генерал, взведен.

— Если б тем наганом волков бить — все зверье повывелось бы.

— А другого у меня нет.

— Зачем старую женщину обманываешь? — Валерия открыла забеленные морозом, пушистые ресницы и скосила на него глазищи, в лунном свете обрамленные куржаком, совсем они были по солдатской уемистой ложке.

Лошадь встревожилась, запрядала ушами. Щусь крепче намотал на руку вожжи.

— Не бойсь, — пошевелилась Валерия и потуже затянула шаль на груди, — они постоянно тут поют, но на людей не нападают, на подводы тем паче, — овчарен и деревенских собачонок хватает. Чистят их умные звери, чуют людскую беду, плодятся. Дедок из Прошихи, тот, кто помог солдатам черенки для вил заготовить — мой крестный, — он сказывал, прошлым летом все выводки были полны. Волки — звери настолько приспособленные, что могут регулировать рождаемость в зависимости от урожая, падежа скота, засухи, недорода...

— Ты что, всерьез?

— Всерьез, всерьез. Я все делаю всерьез, товарищ командир. И говорю всерьез. Хлеба наши спозаброшенные, спозабытые — людям бедствие, птицам, мышам — раздолье, зверю — прибыток: плодятся, множатся, поют, токуют. Знаешь, — помолчав, продолжала уже без насмешки Валерия Мефодьевна, — волчица если в недородный год опечатку сделает, родит лишнего волчонка, — самого хилого начинает от сосцов отгонять, морду от него воротит, семейка в угол лежбища неуютное дитя загоняет, волчонок хвостом виляет, морды братьям облизывает, к маме ластится, та зубы ему навстречу и... однажды бросается весь выводок, рвет и съедает лишнего щенка, брата своего.

— Это тебе тоже крестный?

— Он. И он же сказал, что у вас в полку братьев Снегиревых со свету свели. Хуже волков, Господи прости!.. Дай мне вожжи. Под ногами в соломе берданка заряженная, вытащи — на всякий случай. Через лесок поедем.

Щусь пошевелил ногами в соломе, нащупал валенком оружие, это был карабин. Младший лейтенант обдул его, передернул затвор — на колени ему выпал патрон с острой пулей. «Да-а, с этой бабой не соскучишься!» — покосился он на спутницу, загоняя патрон в патронник и ставя затвор на предохранитель.

— Какая тебе бердана? Это ж карабин. Старый, правда, но боевой.

— А мне что?

— Так ведь узнают, привлекут. Где взяла-то?

— Не узнают. Не привлекут. Из клуба он, вместо учебной винтовки. Учебный военный кружок у нас. Как вы, героически сокращая линию фронта, до Искитимских степей дойдете, мы, бабы, обороняться начнем от фашиста, станем по очереди палить из этого единственного на три деревни оружия. — Она пошевелила вожжами, сказала внятно: — Давай, Серко, поддавай ходу, конюшня скоро, там тебе кушать дадут и волки не задерут... — Щусю после долгого молчания бросила: — Надеюсь, хоть ты-то в Снегирыт не стрелял?...

— Не стрелял... — эхом откликнулся он и, повременив, добавил: — Да не легче от этого. — И, еще помолчав, покрутил головой. — Что в народе, то в природе — едят друг дружку все.

Лесок, занесенный по пояс, пробуровленный в середке подводами, миновали благополучно, оглянулись как по команде — вдоль облачно клубящихся по опушке кустов, заваленных сугробами, будто насеяно густой топанины. После метели отмякло в лесочке, по опушке, по каждой былочке, по каждой ветке пересыпались синеватые слюдяные блики. Щусю вспомнилось несжатое поле в скорбном свечении, шелестящее, воздыхающее, когда в гущу смятой соломы оседал снег. От дороги полого уходила в лес полоса — волоком вывозил кто-то лес или сено на волокушах. На волоке черные кляксы и рваные полосы. «Кровь», — догадался Щусь. Белый поток исцарапало на всплеске, накрошило кухты с деревьев, где-то близко, совсем рядом таятся, спят в снегу отжировавшие волки. Щусь собрался выстрелить в утихший под луной нарядно-белый лесок, чтобы пугнуть зверье. Валерия остановила его, положив на карабин рукавицу, отороченную на запястье собачьим мехом.

— Не надо. Настреляешься еще. Так тихо.

Она почмокала губами, поговорила с Серком, еще раз заверила его насчет сытой конюшни и полной безопасности. Щусь понял, что ей привычно ездить по степи, разговаривать с лошастью как с самым близким другом, он снова впал в умиление от ночной тишины, от мирных сельских картин и как бы нечаянно прислонился боком к рядом сидящей женщине. Она пристально взглянула на него и вдруг обхватила его руками.

— А ты знаешь, что Донат с латинского переводится как подаренный, а Алексей — это, кажется, хозяин. Донат подарил мне

тебя или Господь?

Он нашел губами ее пушистые глаза и бережно прикоснулся сначала к одному, потом к другому глазу, куржак, собранный с ее ресниц, был солоноватый. Щусь начал догадываться, что дни, прожитые им в Осипове, и женщина эта — надолго. Все, вроде бы так мимоходом и понарошке начатое, оборачивается в серьезное дело. И тут же вспомнил: «А я все делаю серьезно».

«Чего это я? А-а, чует сердце, скоро уезжать. И все, что было сегодня, сделается воспоминанием. Скоро...»

— А Валерия как будет? — шепнул он под шаль в ухо. — Подаренная или встреченная?

— Подцепленная будет, — сказала спутница внятно и отстранилась от него, заправляя шаль под полушубок.

В завозне, увешанной под крышей, по слегам и укусинам ласточкиными и осиными гнездами, по края набитыми белым снегом, будто чашки, наполненные молоком, шла привычная, размеренная работа; провеивалось, сушилось, затаривалось в мешки зерно. Из конторы совхоза приказано было довести и подготовить к сдаче все остатки хлеба.

До обеда на совхозных складах обреталась Валерия Мефодьевна, негромко, но со значением и знанием дела распоряжалась погрузкой зерна да бросала взгляды на Васконяна, уныло вращающего ручку веялки, вроде бы собираясь ему что-то сказать. Завязанный по шлему старой шалюшкой, в наглухо застегнутой шинели с поднятым воротником, перепоясанный ремнем, но скорее перехваченный скрученной под пружиной по плоской фигуре, воин этот напоминал пленного невольника, обреченного на изнурительный труд. Старик Завьялов отвалил Васконяну меховую безрукавку. Настасья Ефимовна зашила изодранную шинель, выданы были постояльцу подшитые валенки с кожаными запяточниками, отчего-то простроченные ненасмоленной, белой дратвой. И все равно Васконян стыл изнутри, угнетен был и подавлен холодом, одиночеством, заброшенностью.

Давно уже девчонки перестали его задирать, заигрывать с ним, сыпать ему в штаны холодную, что свинцовая картечь, пшеницу, но ребята, наряженные на сегодняшний день работать на склады, насыпать зерно в мешки, сносить их в угол, скучать девкам не давали, мяли их на ворохах хлеба, залазили в сугревные места рукой.

Девчонки перевозбужденно и ошалело взвизгивали, лишь Шурочка не принимала участия в заманчиво-азартных играх, издали поглядывала на Лешку, поставленного за старшего на складах, о чем-то спрашивала глазами его так настойчиво, что парень кивнул ей. Шура, вспыхнув, отвернулась. «Э-э, да тут никак роман налаживается, — отметила Валерия Мефодьевна, — успеет ли действие развернуться?» — и увидела в распахнутых воротах мангазины, словно на белом экране, женщину, одетую в новый полушубок, в новые, не растоптанные еще валенки, в солдатскую шапку, из-под которой выбивались крупные завитки черных волос. Она не отрываясь смотрела на уныло раскачивающуюся вместе с колесом нелепую фигуру Васконяна, на узкую и плоскую спину его, на которой даже под шинелью угадывались россыпь угластых костей, остро двигающиеся лопатки. Валерия Мефодьевна заторопилась вниз по лестнице, чтоб успеть предупредить о чем-то Васконяна, но в это время женщина, стоявшая в проеме ворот, чуть слышно позвала:

— Ашо-от! Ашотик!

Васконян раз-другой еще крутнул ручку колеса веялки и медленно отступил от агрегата. Разогнанное колесо веялки продолжало вертеться само собой, машина, ослабевая зудящим нутром, продолжала выбрасывать из утробы своей через решетчатое жерло пыль, мякину, пустые зерна, а в другое отверстие на чисто подметенный пол струилась еще желтая полоска зерна. Но утихла веялка, струйка уже не шла, лишь прыскало на исходе россыпи зерно. Васконян все еще не двигался с места, смотрел на женщину, стоящую в светлом проеме ворот. Но вот он начал суетливо прибираться, вытер рукавицей губы, стер, смахнул с носа пыль, мятую ость, попытался повернуть съехавшую набок пряжку ремня на шинели и вдруг, нелепо воздев руки, спотыкаясь, ринулся от веялки к воротам:

— М-ма-а-а-ма-а-а!

Васконян едва не уронил женщину, сбил с нее шапку на заснеженный въезд в завозню, что-то еще неладное, нескладное, суетливое сделал, пока женщина не привлекла его к себе, не принялась его со стоном целовать.

Со второго, сушильного этажа, легши на пол, свесивши головы в широкие люки, глазели ребята. Угадав в Валерии Мефодьевне начальницу, женщина, не выпускающая трясущегося от нервного

припадка сына, все повторяющего: «Мама! Мама! Мама!» — подала ей руку, представилась:

— Васконян. Генриэтта. Его мать, — и, виновато улыбнувшись, показала на не отлипающего от нее, повисшего на шее сына. — Разрешите нам...

— Конечно, конечно. Мы тут управимся. Ты где живешь, Ашот?

— Что? Живу?... А-а, это недавно, совсем недавно.

Так, прильнув друг к другу, в обнимку дошли сын и мать до кошевки, которую Васконян сразу узнал — подвода полковника Азатьяна. Парни и девки, глядевшие в открытые отдушины, от которых полосами настелилась на снег серая пыль, притихли, проникаясь большим почтением к матери сотоварища, да и к нему самому; в головах служивых шевельнулась тень раскаянья — обижали вот человека, насмехались над ним, тычки ему в спину давали, а он вот в полковничьей кошевке к Завьяловым поехал.

Старики Завьяловы сразу определили: гостя к ним пожаловала важная, — засуетились, замельтешили, как и всегда все деревенские люди мельтешили перед городскими гостями. Но мать Васконяна не знала этого, засмушалась, заизвинялась, скоро, однако, поняла, что не от униженности это, а от почтения «к имя», к городским, значит, да еще и нации неизвестной. Была тут же затоплена баня, гостя состирнула амуницию сына, чем приблизила к себе и расположила хозяйку. Самого бойца после бани переодели в деревенское белье — рубашку, штаны Максимушки, который вместе с братом ссадился у Завьяловых на пути в ссылку все из той же достопамятной Прошихи, где разорена была и отправлена на поселение родная сестра Настасьи Ефимовны.

Высылаемые крестьяне ехали на станцию Искитим через Осипово, здесь кормили лошадей. Ссылные горемыки распознали по родственникам — обогреться, повидаться, поплакать, и, чувствуя, что из каторжанских лесов Нарыма им уже не вернуться, старшая «богатая» сестра попросила свою бедную младшую сестру взять из большого выводка двух младших парнишек, спасти их. Спасли, оберегли, полюбили, на фронт проводили. Товарищи комиссары из военкоматов, из энкавэдэшных, партийных и других военных контор как-то сразу запомнили, что это есть дети «смертельной контры»,

гребли всех подряд, бросали в огонь войны, будто солому навильниками, отодвигаясь от горячего на такое расстояние, чтоб их самих не пекло.

Пока непривычно чистый, прибранный постоялец беседовал в горнице с матерью, Завьяловы собрали на стол. Корней Измоденович только венцом серым мелькал, опускаясь то в подполье, то в погреб. Настасья Ефимовна тоже вся исхлопоталась.

— Гляди-ко, гляди-ко! — шепотом позвала она «самово» на кухню, выкладывая из нового солдатского вещмешка продукты, привезенные матерью Васконяна. — Колбаса, консерва, сахар, нездешна красна рыба, белый хлеб, поллитровка.

Выставив все это богатство на приступок кухонного шкафчика, Настасья Ефимовна взыскующе глядела на мужа, будто уличая его в чем-то. Как, старый? Живут люди! Не тужат? Корней Измоденович лишь коснулся глазом продуктового изобилия. Его истомленный взор выделил главным образом отпотелую бутылку с сургучом на маковке, он даже почувствовал судорогу в горле, ощутил томление в животе и во всем теле.

— И не облизывайся, и даже не мечтай! — дала ему отлуп хозяйка. — Пока робяты с работы не придут, не выставлю.

— Дак я че? Я без робят и сам... — И, выходя из кухни, покрутив головой, хозяин внятно молвил, угождая жене: — Век так! Кому война, кому х...евина одна.

— Да не матерись ты, — очурала его хозяйка, — еще услышат.  
— Пушшай слушают!

В горнице, в уединении шел напряженный разговор между матерью и сыном. Ашот долго не писал родителям. Мать и отец забеспокоились. Очень он напугал их историей с офицерским училищем, госпиталем и всем, что с ним происходило в военной круговерти. Вот она и решила ехать в часть, познакомилась с командиром полка, узнала, что войско на хлебозаготовках, и, как вообразила свое чадо среди зимних сельских нив, так ей совсем не по себе сделалось.

— Полковник был очень любезен, дал своего рысака и ямщика, продуктами снабдил...



Ашот, захватив ладонью бледный высокий лоб, будто жар сам у себя слушал, внимал матери не перебивая.

— Ямщик Харитоненко знакомых солдат встретил, в совхозную столовую с ними ушел... Хотя и мимоходом видела я ваши казармы, да как представила тебя в этом царстве...

— Тебе никогда не представит до конца свое царство, как бы ты ни напрягава свое богатое воображение.

Мать отняла его ладонь ото лба, погладила сухие пальцы и прижалась щекой к смуглой руке сына.

— Мальчик мой! В полку идет подготовка маршевых рот. Вас вот-вот отправят на фронт.

— Чем скорей, тем лучше.

Она ловила его взгляд, хотела что-то уяснить для себя.

— Полковник Азатьян дал мне понять: армяне, разбросанные по всему свету, потому и живы, что умеют помогать друг другу...

Ашот отвернулся, угасло глядел в белое окно, на замерзшие в росте, усмиренные зимние цветы на подоконнике.

— Какой я агмянин? Дед мой в агмянском селе годився, отец — в Твеги, ты и я госли и жили уже в Калининe. Да если бы и быв я тгижды агмянином, не воспользовався бы такой возможностью. Я в этой яме пгозгев, товагищей, способных газделить последнюю кгошку хлеба, пгиобгев...

— Но они бьют тебя, смеются над тобой.

— Пусть бьют, пусть смеются. У идеалистов-фивософов в умных книжках сказано: смеясь, чевовечество гасстается со своим пгошвым. С позогным пгошвым, добавлю я от себя ценную, своевгеменную мысль.

— Да-да, не просто смеясь. Непременно смеясь жизнерадостно. Слова, лозунги, заповеди, нами придуманные для того, чтобы им не следовать: «Коммунист с котелком в кухне — последний, в бой — первый...» Ты думаешь, на фронте не так?

— Нет, не думаю. Я стагаюсь, больше смотгеть, свушать. Может быть... Может быть, я хоть один газ успею выстгелить по вгагу, хоть чуть-чуть гаспвачусь за свадкий хлеб моего детства. — Ашот еще сильнее побледнел, глядя в глаза матери, устало и вроде бы машинально произнес: — Узок их кгуг, стгашно далеки они от нагода... Это пго нас, мама, пго нас. Неужели столько кгови, столько

слез погито для того, чтобы создавась новая, подвая агистокгатия, под названием советская?

— Полуобразованная, часто совсем безграмотная, но свою шкуру ценящая больше римских патрициев, — подхватила мать, комкая платочек в горсти. — Ох, как много я увидела и узнала за дни войны. Бедствия обнажили не только наши доблести, но и подлости. — Мать помяла платочек, пощелкала пальцами. — Все так, все так, но...

— Нет, мама, нет. Я еду с гебтями на фгонт, я не могу иначе. Уже не могу.

— Я понимаю... я понимаю.

— Что деваает сейчас папа?

— Редактирует какую-то шахтерскую «Кочегарку». А я? Я теперь при обкоме и снова на букву «ке» — был Калининский, теперь Кемеровский, в отделе агитации и пропаганды, — мать усмехнулась, развела руками, — я умею только агитировать, пропагандировать — на это ведь ни ума, ни сердца не надо.

— Всякому свое, — подхватил Ашот. — Женщинам и детям в забой вместо мужиков, комиссагам — призывать их к тгудовым подвигам. — Он пристально и неприязненно поглядел на свою еще моложавую мать, привыкшую к белым накрахмаленным блузкам, к черной юбке, и, заметив, как она нервно перебирает воротничок этой самой блузки, протянул руку, погладил ее по жестким черным завиткам. — Пгости, пожавуйста. Давай пгекгатим этот газговог. Ни вы с папой, ни я уже не сможем жить отдельно от той жизни, котогая нам выпава. — Ашот прислушался. — Гебтя с габоты пгишли, в гогнипу ни они, ни хозяева не сунутся — пойдём к ним.

Он приобнял мать, вывел ее в прихожую и, виновато улыбаясь, сказал Грише Хохлаку и Лешке Шестакову:

— Вот моя мама. Добгавась в такую даль.

В столовку работников не отпустили. Ужинали все вместе.

— Неча, неча казенной кашей брюхо надсажать. Угощайтесь, чем Бог послал.

Мать Васконяна ела опрятно, поглядывая на парней, на хозяев, сама и первую рюмку подняла:

— За добрых людей!

Ашот расхрабрился, выпил до дна, закашлялся, забрызгался.

— Ну, Ашотик, ну, воин! — с потерянной, извинительной улыбкой вытирала она платочком губы сына, и ребята подумали, что и в детстве мать так же вот обихаживала сына на людях, стесняясь и любя. Им-то ни губы, ни попу никто не вытирал, своими силами обходились.

— Пгостите, пожавуста! — вытирая слезы с глаз, повинился Васконян.

— Непривышный, — пояснил матери Корней Измоденович и авторитетно обнадежил: — Однако на позициях всему научится, холод и нужда заставят.

— Хорошо бы.

— Изнежен он у вас, вот ему и трудней середь людей, да ишшо в тако время.

— Да, да, конечно.

— Бывали хуже вгемена... — вмешался в разговор Васконян. — Ничего, Когней Измоденович, ничего, как вы говогите: Бог не выдаст, свинья не съест... Я уже самогонку пгобовав — и удачно. Вон гебята подтвегдят.

— Ашо-от!

— И не один я такой и пегезэтакый, в пегеплет попал, — будто не слыша мать, громко уже говорил Васконян, моментом захмелевший, и вдруг грянул: — «Мм-ы вгага встгечаем пгосто, били, бьем и будем бить!»

Мать Васконяна махнула рукой:

— Тоже мне Лемешев!..

Все с облегчением засмеялись, попробовали подхватить песню. Васконян решительно потянулся ко второй рюмке.

— Ашо-от!

— Мама, не мешай! Гечь буду говогить! — в рубашечке с отлинялыми полосками, с промытым до бледности лицом, на котором чернели каторжно брови, ночным блеском отливали глаза, утопив в бездонной глубине своей свет лампы, Васконян смотрелся только поднявшимся с больничной койки человеком. — За мою маму и за ваших матегей, Леша, Ггигогий! Мама, это замечательные гебята! С ними на фгонте... — Он трудно высосал рюмку до половины и, сам себе удивляясь, воскликнул: — Не идет! Но ты, мама, не обижайся... А как, мама, Ггигогий иггает на баяне, как иггает!.. Вы вот меня на

фогтепьяно насильно тащили. Ггиша учився тайком. Ггише в пионегы нельзя. Вгаг! Кому — вгаг, кому? Тетка-убогщица, вечегней погой тайком его во Двогец пионегов. В пионегы ему нельзя. Баян советский довегить ему нельзя, винтовку пожавуста. Комиссагы — моводцы — все ему вгедное его происхождение пгостили... Ггиша, Ггиша, дай я тебя, бгат, поцевую.

Васконян сдавил костлявыми руками шею смущенно улыбающегося Хохлака, обмусолил ему ухо и щеку. Настасья Ефимовна начала промокать глаза платком. Мать Ашота, уставившись в стол, постукивала пальцами о скатерть, ребята, от неловкости снисходительно улыбаясь, переглядывались.

— Ничего, робяты, ничего. Мы фашисту-блядине все одно кишки выпустим! Потом и тута разберемся, — погрозив кулаком в потолок, звонким голосом возвестил Корней Измоденович.

Вскоре Хохлак с Лешкой подхватили совсем сомлевшего Васконяна, отволокли его в горницу, сами же торопливо снарядились в клуб, где, знали они, призывно мерцало пятнышко лампы. В протоптанную под окном избы Завьяловых щелку уж не раз вежливо стучали, вытребывая музыканта.

— Порешат стекла, порешат! — Настасья Ефимовна, понарошке сердясь, повысила голос. — Халды! Бесстыдницы! Сами, сами к парням так и лезут. Мы раньше...

— Обходили, обегали парней! По степу не гуляли с имя, на полатях да на вечерках не тискались, — тут же подхватил Корней Измоденович. — Война, Тася, война. Молодым последняя радость. Ступайте, ступайте, робятушки. Солдат идет селом, глядит орлом! Мы тут ишшо посидим. Гражданочка уложит своего вояку спать, мы дале поведем с ей беседу про политику и про всякую другую хреновину.

Мать Васконяна уезжала наутре, спать не ложилась. Она сидела возле спящего сына, тяжело, со свистом и пискom дышащего простуженной грудью, стирала проступающий на лбу его, высоком и чистом, пот — Завьяловы подтопили в избе и в горнице, дров не жалея, — смотрела на сморщенное у рта, гиблым пухом обросшее костлявое лицо, неслышно плакала. Ей не принадлежащим, может, еще от зверей-самок доставшимся чутьем или инстинктом мать угадывала — видит она свое дитя в последний раз...

В предутренний час Харитоненко вежливо постучал в окно кончиком деревянной рукоятки кнута. Все повскакивали в избе, даже парни, совсем недавно домой вернувшиеся, проснулись, лишь Ашот спал безмятежно-младенческим сном, мать припала ухом к его груди, послушала сердце, коротко ткнула губами в высокий лоб и вышла быстро из избы, отворачивая лицо, уже на ходу одевая рукавицы.

— Спасибо! Спасибо! — уже открыв дверь, обернулась, сверкнула слепыми от слез глазами в сторону Лешки и Гриши, которым постелено было на полу. Парни сидели в ворохе шуб,дох, со сна ничего не соображали. — Ребята, миленькие, поберегите его там, поберегите!

Войско, перемешанное с гражданским людом, неровной цепью вело наступление на чуть всхолмленную снежную целину, оставляя после себя густую топанину, соломенный сор и воронки, точно как от взрывов мин на том месте, где таилась под снегом, но была выковыряна и увезена хлебная копешка. Позади цепей, как бы поддерживая пехоту, стоял наподобие танка комбайн и целился пустым железным дулом хлебоприемника в пространство. За «танком» пылило, чуть дымясь, ворохами валилось тут же рассыпающееся соломенное месиво. Мирная картина привычного уже труда под привычным зимним небом, бугристым на горизонте от недвижно лежащих, снегом набитых облаков, в любую минуту готовых двинуться по высоким просторам, заполнить собою небо, вывалить весь белый груз на зимнюю землю, да и понестись налегке вдаль, в вечное странствие, во всегда им открытые небесные дали.

У костра, горящего среди поля, сидел на ведре, опрокинутом вверх дном, полководец, курил, жмурился, морщился, отворачивался от шатучего жара и дыма, думая обо всем сразу и о братьях Снегиревых тоже, так некстати помянутых Валерией Мефодьевной...

Два противоречивых чувства боролись в нем — одно: прикинуть еще две-три копешки на брата, уж больно наловчились солдатики управляться с копнами, больно уж наступательную стратегию тонко продумали: впереди авангардом идут девки с лопатами, разгребают снег на копешках, да и тут их мудрые воины научили не пыхтеть, не скрести лопатой поверху, но разрубать на три-четыре пласта плотно слежавшийся снег, раззять пласты, разбросать их на стороны — и вся

недолга. Маковка смирной копнушки светится младенческим темечком или как плешь деда Завьялова, прелью пышет, слабеньким теплом курится, движения, шороху, употребления, обмолоту жаждет.

Следом движется войско, составленное из крепких забойщиков с вилами. Шестеро вил всаживаются по черенок в хрустящую копешку, под самый под теплый соломенный подол забраться бойцы норовят, поддеть ее, опрокинуть, будто бабу, ну и... плюнули, дунули, хо-хо! — и вот лежит кверху бледной задницей копешка-матрешка, зернышки из нее на снег высыпаются, ость пылится, обнажившиеся, на свету ослепшие, тучами расплодившиеся, мечутся ожиревшие мыши. Допревать бы по весне под жарким солнцем, среди снежных луж копнам, затем гореть, освобождая землю для плуга, бороны и сеялок. Однако назначение пусть и у занесенных снегом копешек было совсем другое: сколько ни есть колосьев под снегом — сохранить, зернышками людей, скот и птичек питать.

Следом за ударниками-молодцами с волокушами наступает Коля Рындин, сам себе конь, он в чембарах, в химических скороходах, с оглоблей на плече вышагивает, наевшись досыта столовской пищи, наверхосытку полный противень до хруста зажаренной пшеницы срубавший, по-конски грохает на всю округу, вилами поддевает копны, точно оладьи вилкой в масленицу за столом у бабушки Секлетиньи, прет на горбу целый воз к сыто урчащему комбайну, да еще и песню орет, совсем не стихирную, не божецкую: «Распустила Анька косы, а за нею все матросы». Зазноба его, Анька, обучила Колю Рындина песне этой вольной. Услышь бабушка Секлетинья такую срамотищу, теми же вилами по хребту внучка отходила бы и епитимью велела б на него наложить, и бил бы добрый молодец лбом об пол, замаливал грехи. Армия, конечно, не сахар, но в ней то хорошо, что от утеснений веры полная свобода, да и «товаришшэв» много, как поется в одной кужебарской песне.

Дополнительный отряд трудящихся у комбайна копошится, словно боевой расчет возле орудия, вилами копны растеребливает, рыхлит солому, граблями к подавальщикам подгребает, те на полук вороха подают. Мчится солома под гремющий барабан в пасть молотилке. Оно, конечно, сухие бы снопы туда, в молотильный-то зев, да кто снопы нынче вяжет? Сжать, в снопы хлебушек связать — времени и сил у народа не хватило. Вот она, желтая, поникшая нива,

до самого горизонта, до лесов самых сиротски плачет, сердце рвет и все ниже и ниже клонится, бумажно шуршит пустой колос — ветру и снегу добыча.

«Нет, придется набросить копешку-другую на брата, придется, каждая горсть зерна — спасение. Вон в Ленинграде голод, да какой! Провоевали половину страны! Гитлер, гад, нарочно, видать, под урожай войска двинул, не дал хлеб убрать», — думает, но не успевает довершить думу полководец. По дороге галопом скачет серый конь, из-под копыт его сыплется ледяное крошево. Не из Осипова скачет конь, от центральной усадьбы совхоза скачет. «Отра-або-ота-ались!» — падает сердце у полководца. Видит он, как во поле, на белых пространствах замирает наступление по мере приближения всадника, как охнул и заныл на холостом ходу все пожирающий, душной гарью дышащий комбайн.

«Отрабо-о-тались!» — повторяется в приглушем звуке машины.

Как быстро! Васконяниха, мельком видевшаяся с Азатьяном, говорила, что ведется подготовка к отправке маршевых рот. Иван Иванович Тебеньков, по делам бывший в полку, наметанным хозяйским взглядом тоже кое-что предположительное отметил, но все думалось: сборы да сборы, может, недельку-другую еще потрудятся красноармейцы в совхозе, поокрепнут, погуляют. Ну да чему быть, того не миновать. Уже и войско с поля разбродно потянулось вслед за вестником-всадником к костру, к полевому штабу, уже и комбайн, хокнув, замолк, но еще какое-то время крутилось в нем, чуть завывая, маховое колесо да слышнее сделалось, как чиненые-перечиненые ремни шлепаются, ударяясь швами о маховик.

Комбайнер Вася Шевелев, вытирая руки ветошью, дает распоряжения помощнику Косте Уварову: собрать инструменты, снять ремни, слить горючее обратно в бочку, воду — наземь. А в ушах все слышен звук работающей машины, все еще он по зимним полям разносится, тревожит глухостью объятые пространства.

Собралось войско в кучу, обступило костер, ждет, когда командир роты прочтет записку из совхоза и даст руководящее распоряжение насчет дальнейшего существования.

Иван Иванович Тебеньков остро заточенным карандашом писал:

«Алексей Донатович! Дорогой мой! Пришла в совхоз телеграмма, и звонок был — немедленно возвращаться вам в расположение полка. Домой, значит. Сегодня же и отправляться, чтобы вечером пригородным поездом уехать в Бердск. Я подъеду на станцию Искитим. Скажи Валерии Мефодьевне, чтоб хорошо накормили бойцов и в дорогу сухим пайком снабдили. Ну да она сама женщинына с умом, сообразит. Ах, ты, Господи! Как подумаешь, куда вы отправляетесь и с кем мы остаемся... Ну да ничего не поделаешь.

До встречи, дорогой мой! Ив. И. Тебеньков».

Щусь свернул записку, глядя в затухающий огонь. Бойцы выжидательно и напряженно молчали. Девчонки, отступившие на второй план и как бы сразу отделившиеся от своих соартельщиков, в растерянности и испуге таращили глаза.

— Все, товарищи! — хлопнув себя по коленям, поднялся с сиденья своего Щусь. — Кончилась страда. Все! Всем быстро в деревню, в столовую на обед и... — Он подумал, прикинул что-то. — И-и двадцать минут на сборы, на расставанья. Ночью надлежит нам быть в полку. Все.

С полей по снежной дороге тащились в Осипово, будто невольники, разбродной унылой толпою, за ними — сами, без поводырей, опустив головы, мели пустыми волокушами снег лошади и быки. В просторном безгласном поле сиротским серым дымком сочился догоревший костерок в вытаявшей до земли, плотно вокруг обтопанной воронке да бугром чернел заваленный со всех сторон соломою угрюмый, умолкший комбайн.

Было краткое, но душу рвущее расставание с деревушкой Осипово. За две недели сделалось оно таким родным, таким необходимым, с такой привычной уже работой, пусть нелегкой, пусть на холоду, на ветру, в пыли, в мякине, в ости, да где он, труд-то и хлеб, легким бывает?

Может, пряники легкие, а хлеб...

Как ни отнекивались, как ни отказывались Хохлак, Шестаков и Васконян, старики Завьяловы все-таки снарядили их в дорогу, набили



съестным продуктом холщовый мешок. Настасья Ефимовна поплакала, Корней Измоденович на нее покрикивал, покашливал, кряхтел, пытался шутить.

— Конь копытом бьет, удила грызет — ох-хо-хо! Ничего, робятушки, ничего. Главное дело, держитесь друг дружки да здоровье берегите, коли воин занеможет, всяк его переможет, говаривали в старину, друг дружки держитесь, еще раз говорю...

Особо трогательно прощались старики с Васконяном. После приезда его матери они уяснили, что он не пролетарского полета птица, из «грамотеев» он, к которым веки вечные была и пока не извелась почтительность в русской деревне. Но после того как Валерия Мефодьевна приблизила к себе Васконяна, поручила ему писать всякого рода бумаги, в основном квитанции, уважением этим прониклась вся деревня. Васконян сперва путался в деловых бумагах, цифирь у него не сходилась, но Завьяловы-то этого не знали. Да если б им и сказали о том, не поверили б — такой лютый книгочей в бумагах каких-то конторских осиповских может дать промашку? Чепу-ха!

Сысподтиха подъехали они к постояльцу с просьбой написать командиру части, в которой воевал с флота на сушу ссаженный и тут же запропавший старший приемыш, да и самому приемышу написать с намеком, что-де война войной, но родителей не следует забывать и хоть две строчки, хоть поклон...

На сколько хватило бумаги, на столько Васконян и размахнулся, была бы длинная бумага — длиньше бы написал. Вроде бы и диктовку-то рассеянно слушал, но так проемисто, так складно, так жалостно все прописал, что Настасья Ефимовна пускала слезу при слушании письма, за сердце держалась. Вот что делает грамота! — сраженно удивлялись старики, вот до чего может дойти умная голова, ведь даже то, чего старики не умели сказать, лишь подумали, и то обозначилось на бумаге, все вравноступ, все с ходом мыслей наравне, с ладом деревенским, неспешным, всем во всем понятным. «Это-то вот наше-то, деревенское-то, как постиг грамотей за шшытанные дни?» — поражались старики. Улучив минутку, Настасья Ефимовна незаметной отмашкой позвала Хохлака и Шестакова в куть, шепотом наказала беречь такого редкостного человека, в обиду его не давать, на позициях остерегать от огня и пуль. Ребята дружно сулились остерегать. Корней

Измоденович выразил свое напутствие более открыто и прямо, чем это свойственно бабам:

— Тебе, Ашот, прямой путь в писаря. Служба, конечно, тоже не подарошна, а все-ш-ки не всяка пуля твоя. Вы, робятки, Лешка, Гриша, коли он по интеллигентной учености поскромничает, подскажите кому надо, в лазарете или ишшо где, любу, дескать, бумагу в ладном виде и содержании может составить человек, хоть на нашем, хоть на заморском языке.

Васконян от такого внимания оконфузился и на пути к конторе, отворачиваясь от резкого навечернего хиуса, молвил:

— Гебятя! Надеюсь, вы всегез не пгиняви стагика. Я едва ввадею немецким, ну и немножко читаю по-фганцузски...

— Ты?! Так че же ты молчишь-то? Че волов за веревки тягал? Тебя в штаб, переводчиком, либо в отдел какой... секретный...

— Да вадно вам! Чушь всякую бовтаете.

Разом обернулись, возле низеньких ворот рядышком стояли и смотрели вослед им старики Завьяловы.

— Такой нагод, такой нагод! За такой нагод и умегеть не стгашно...

— Умереть, умереть... Не ляпал бы языком своим, да еще к ночи!

Войско выстроилось возле конторы. Все почти красноармейцы с мешками, поставленными возле ног. А приехали-то с голыми руками. Вот будет работа в казарме! Вот повеселятся зимогоры! Вот пошерудят котомочки доходяги-промысловики.

Завязывая на ходу шаль, на крыльцо конторы вышла Валерия Мефодьевна, в накинутой на плечи телогрейке, под которой белела кофточка, бугристо округленная набрякшими грудями.

— Ну, ребята! Ну, дорогие работники! Спасибо! Еще бы дней десяток вам тут побыть, но и на том, что сделали, спасибо! — Валерия Мефодьевна обвела строй из глуби печально освещенными глазами, скользнула взглядом по девушкам, сиротливой кучкой сбившимся в отдалении. — Останетесь живы, приезжайте! Крестьянская работа не кончится до тех пор, пока есть земля. Она и войны не признает. Как мой папа говаривал: «Рать кормится, мир жнет». А девочки наши будут ждать вас... Ну, с Богом!

— Вещи на подводу! — скомандовал Щусь и, когда снова сколотился строй, звонко, отчетливо, стосковавшись, видать, по привычным командам, почти как песню вывел: — Нн-на-пр-рыв-во! Ш-го-ом... 3-за-певай!

Где подлый враг не проползет,  
Там пролетит стальная рота.  
Где танк железный не пройдет,  
Промчится грозная пехота!

Умный парень, талантливый парень Гриша Хохлак понимал, какая тут песня к месту — боевая, грозная, надежду в мирное население, веру в несокрушимость родного войска вселяющая.

Украина золотая, Белоруссия родная...

Рявкнула рота единой грудью, кто-то и подсвистнул, Коля Рындин рокоту подбавил. Только вот Анька, семенившая за строем, петь ему мешала, толкалась, обнимала при всем честном народе, губами шлепала куда попало. Девушки не висли на войске, стеснялись, частью на почтительном расстоянии тащились за строем, частью уж у конторы в кучу сбились да так и остались закаменелые. Ребятишки малые спешили по обочинам, вязли, барахтались в сугробах — большенькие-то в школе, на центральной усадьбе, а этим, сеголеткам, возбуждение, шум, праздник. Высыпавшие за ворота, прижавшие к окнам расплющенные носы осиповские жители, крестясь, утирая слезы, все же отрицательно влияли на песню. За околицей она начала разлаживаться, пока не развалилась на отдельные голоса, а там и вовсе угасла.

Полководец, назначив старшим над войском комбайнера Васю Шевелева, наказав не сбавлять темп движения, вернулся в деревушку, сказав, что нагонит роту на подводе.

Тут уж воля вольная! Разломился солдатский строй, разбрелся. Шли кто как, кто с кем, побоевитее и посмелее которые воины, среди них технический спец и командир над машинами Вася Шевелев, — в обнимку с зазнобами. До комбайна дошли, замедлили шаг,

останавливаться начали, поглядывая на кучи соломы. Вася Шевелев, угадав здоровые намерения, повелительно крикнул: «Отставить!»

Тоже еще один начальник выискался. Все так и норовят покомандовать, так и лезут в руководящий состав. Скоро совсем некому воевать и работать будет, совсем рядовых не останется.

Как ни отдаляй, но пришла, приспела пора прощаться среди широкой степи. Шурочка приникла к Лешке, Дорочка — ко Грише, все уединились парами. Анька в замок взявши шею Коли Рындина, повисла на нем, плакала и за щеку воина кусала. Он увертывался, пытался успокоить свою зазнобу, но она была безутешна.

— Так и не стали мы мужем и женой, — сонно утопив в раскрылье Лешкиной шинели лицо, Шурочка сдерживала слезы. — Все некогда... Может, к лучшему? Я буду тебя ждать. Ты адрес мой не забыл? Да как его забудешь? Одно Осипово на свете! Пиши, ладно? И не обижайся на меня. В разлуке чувства проверяются... Крепчают. Я глупая, глупая... Ты не слышишь меня? Вот она какая, разлука-то...

Девушки остались среди белого широкого поля, на белой, едва накатанной дороге. Красноармейцы спотыкались, оглядывались, махали нечаянным подружкам, махали и они вослед, по пророчеству тетки Марьи, первым, кто знает, возможно, и последним в жизни ухажерам. Бежала следом, голосила на всю степь Анька. Коля Рындин отставал, прижимал ее к груди, гладил по спине, отпускал, но через какое-то время Анька, неистовая женщина, снова припускалась вдогон, волоча цветастый полушалок по снегу.

В виновато стихшей степи тоже умолкшие, поникшие, разбито убредали все дальше и дальше молодые бойцы. Неубранная мертвая полоса поглотила наконец нечаянных, негаданных тружеников своих, прикрыла их нищими лохмотьями. Воронье, кормившееся зерном под комбайном и вокруг машины, клубясь и каркая, катилось поверху вослед спугнувшему его войску. Что было в том крике: сожаление, радость, торжество? — пойми у воронья. Горластая стая начала рассеиваться, отваливать в сторону березовых колков, только канюк, возникший из неубранных хлебов, забравшись высоко, все валился и валился косо на разброднодвигающееся воинство, и почти до станции Искитим сопровождала ребят зловещая птица.

Пронзенный стрелой старообрядческого суеверия, потрясенный разлукой с первой в жизни женщиной, Коля Рындин голосил про себя:

«Не к добру так визгливо вскрикивает пташка, ох не к добру!.. Пушшай безвредная, мышью питающаяся пташка — все одно не к добру, ох не к добру...» Правясь на почти уже унявшийся огненный закат, под которым и над которым властно, по-хозяйски уверенно занимала земную и небесную ширь тяжелой мутью налитая темнота, понуро бредущие парни думали и плакали всяк о своем. Недоброе, ввечеру леденеющее небо еще и напоминало о том, что они, кто они, куда и зачем двигаются. И каждый заключал, что та мраком налитая, огнем запекшаяся по окоему даль — и есть войной объятая, фронтовая сторона.

## Глава пятнадцатая

По возвращении была суматоха.

Не успели вернуться и казарму, сразу баня, совсем не та баня, которой уже замучили в полку служивых. По-настоящему потопленная, с настоящими машинками для стрижки, мыло вдосталь, вода нагретая. Все хламье с себя снимали, оставили в рубленом предбаннике, было велено лишь бумажки да носовые платки взять в руки. Когда ребята вышли из мойки до синевы остриженные, грязь с себя смывшие, распаренные, их заставили мчаться с захваченным в горсть грешешком по коридору и в конце его завернуть в пристройку. Там опытный командир старшина Шпатор и двое помощников, пофамильно выкликнув, бросали к ногам маршевика узел, обвязанный новым солдатским ремнем.

А в узле-то! Батюшки-светы, чего только нету! Полушубочек желтый с белым отворотом, к нему брючным ремнем пристегнуты новые валенки, две пары портянок, гимнастерка, брюки-галифе, две пары белья, шапка, уже со звездой, и не жестяной, настоящей, эмалевой, подшлемник и даже пара носовых платков с пометкой в углу — аленьким цветочком.

Бойцы не сразу и узнали друг друга, переодевшись и выйдя на улицу. Первый раз за дни и месяцы службы видели они себя на человек похожими, чувствовали себя людьми. Ну и, конечно же, начали поталкивать друг дружку, пошучивать, мечту высказывать насчет того, чтобы сняться бы на карточку в таком боевом виде да домой бы фотку послать и, само собой, в Осипово бы, и вообще сейчас в таком наряде да в осиповский клуб завалиться — что было бы, что было!

Казарма вонючая, темная, почти уже сгнившая, могилой отдающая, подавила праздничное настроение красноармейцев. Позалезали на нары бойцы, спрятались в углы, письма пишут под плашками. Возле трех ламп, где-то раздобытых Шпатором, столпотворение. Корячились, корячились орлы, пришивая погоны, подшивая подворотнички и на одной лампе разбили стекло. Старшина

ор поднял, кого-то обругал, кого-то взащей из казармы вытурил, кому-то вгорячах наряд вне очереди отвалил.

Все последние дни он был в хлопотах, почти не спал, получая, пересчитывая, охраняя ценное имущество. С карандашом, нацеленным на книгу накладных или раскладных, готовился чего-то вычеркнуть, что-то списать, носился по казарме как борзой, не ругатель по природе своей, разок-другой матюгнулся, чем шибко позабавил ребят. А тут еще помощник не является, Яшкин-то Володя-то, — понравилось ему, памах, на казенной госпитальной коечке прохлаждаться. Ну он ему задаст! Он ему рецепт пропишет, до скончания века не забудет...

Старшина Шпатор шумел, бегал, но и доволен был ротой — подкормились орлы в совхозе, здоровым воздухом и волей подышали, переоделись в новую амуницию, и куда тебе с добром ребята, хоть на парад их выставляй. За все время переобмундирований не пропало ни одной вещи — сами бойцы взялись охранять имущество, строгость и сознательность проявили, попытки пэфээсовцев-прохиндеев обсчитать старшину на складах, обмишулить на комплект-другой обмундирования успеха не имели, потому как Шпатор есть Шпатор. Не напрасно он две войны и тюрьму обломал, набрался ума-разума, сквозь землю зрит, бойца своего, как родное дитя, бережет и любит. Еще хорошо и то, что Булдакова в роте нет, припадочный этот плут непременно стибрил бы что-нибудь из вещей и на самогонку променял.

Однако хоть и любил и лелеял своих бойцов старшина Шпатор, гонял и муштровал он их, крушил руганью, как самых злостных недругов, жизнь его заевших. Кто-то чего-то потерял, кто-то криво погон пришил, опять урон в иголках — ломают их похоружие неумехи, на верхнем ярусе визгливо лаялся Петька Мусиков, его привычно лупили, на этот раз новым валенком. Дневальный из грамотеев газету где-то раздобыл, перекрывая шум, громко читает:

«Сыны казахского и русского народов Сеитов Дюсекей и его командир Сахаров Борис здесь, в окопах, готовятся навсегда покончить с фашизмом и просят Джамбула-акына прислать им песню в подмогу. Джамбул немедленно откликнулся...»

— Да тише вы! — крикнул кто-то с верхних нар.  
— Уйметесь сегодня или нет? — грозно спросил дневальный.  
— Казахский акын не слушаешь? Джамбул не уважаешь? — подал голос кто-то из казахов.  
— Давай! Дуй!

Казах Сеитов Дюсекей  
И русский Сахаров Борис,  
Ваш клич достиг моих ушей,  
Он тучей над врагом навис.  
Залегши в снежной тишине,  
Готовя извергам разгром,  
Вы обращаетесь ко мне  
С коротким пламенным письмом.  
Вы заявляете: «Сведем  
С фашистом счеты мы сполна».  
Вы пишете: «Мы песен ждем,  
Джамбул поможет нам».  
Я время лет откину прочь,  
Чтоб спеть о празднике весны.  
Есть песню спеть! Есть вам помочь.  
Народов доблестных сыны!

— Астапрала! — воскликнул казах на верхних нарах. — Джамбул наш ба-а-алшой шылабек, иво Сталин любит.

Казарма из конца в конец загудела, будто в ней снова окно в живой, звучащий мир открылось, — говорили кто о чем. А Васконян, читавший Данте в лучших переводах, Верхарна и Бодлера — без перевода, знавший Пушкина, Тютчева, Лермонтова, тихой, юношеской почтительностью проникшийся к Баратынскому, смотрел на ребят с любопытством: неужели они восприняли все это словесное варево всерьез? — и уяснил наконец: да, всерьез. Они здесь и жизнь свою в этой казарме, будущую судьбу, свою и родины своей — все, все, пусть неосознанно, воспринимали всерьез.

Отужинали маршевики, на нары, воняющие в этот вечер особенно удушливо, взгромоздились, лежат, думу думают, мечтают кто о чем. Слабаки засыпать начали, но в это время под прелыми сводами



казармы, в недрах этого наспех вырытого и слепленного под людей подвала негромко и внятно раздалось:

Ревела буря, дождь шумел...

Казарма, приглушенно, ровно гудевшая предсонным, постепенно замирающим гулом, смолкла, вовсе унялась. Врасплох захваченная казарма не сразу, не вдруг, как бы пробно, как бы для себя поддержала серебряно-звонкий голос Бабенко:

Во мраке молнии блистали...

Вот тогда-то, в последний вечер перед отправкой на фронт, во второй раз услышал Лешка Шестаков песню в постылой, совсем прокисшей от смрадного испарения казарме первого стрелкового батальона... Ротного певца подбодрил его друг Гриша Хохлак. Сразу радостно, сразу высоко взнялся, взлетел голос из второй роты. И вот уж весь батальон, пока еще пробно, подхватил песню, ротный запевала второй роты соединил свой голос с запевалой первой роты. Все бережнее, все аккуратнее ровняли под них голоса бойцы, всяк свой голос встраивал, будто ниточку в узор вплетал, всяк старался не загубить песенный строй, и Лешка норовил приладиться к соседу, сосед к другому соседу, и вся изматеренная, оплеванная, Богом и людьми проклятая казарма во всю грудь, во всю мощь четырмя сотнями голосов сотрясала подвал:

И беспрерывно гром греме-э-эл,  
И ве-этры в дебря-ах бушева-а-али-и-и-ы...

Старшина Шпатор, спустивши босые ноги с топчана, сидел, полуоткрыв рот, ошарашенно слушал мощно гремевшую многоголосую армию, слушал свою роту, свой первый батальон и ничего не мог понять — он не ведал такого батальона, такого праведного, душу разрывающего восторга и гнева. Нет, он знал, все знал, он угадывал сокрытое в этих юных ребятах могущество, понимал

этот подлый казарменный быт, повседневно унижающий и даже убивающий того, что послабей, размельчил людей, поднял наверх самое отвратительное, зверское, блудное, мелочное, и боялся, что там говорить, боялся: душу-то живую не убили ль? Не погасило ли в ней быдловое существование свет добра, справедливости, достоинства, уважения к ближнему своему, к тому, что было, что есть в человеке от матери, от отца, от дома родного, от родины, России, наконец, заложено, передано, наследством завещано?

В прежних служивых, ушедших на фронт в маршевых ротах, Шпатор не имел оснований сомневаться, то в большинстве своем были люди с устоявшейся жизнью и характером, среди них попадались, конечно, и отребье, и бродяги, и ворье, и симулянты, и ветрогоны, но костяк роты, как остров среди реки, всегда был надежной пристанью, крепкой площадью, вокруг которой плещись, волнуйся, суетись, пузырись — все она тверда, все устойчива, все неразмывна.

Но эти вот восемнадцатилетние ребята-то с неустоявшейся жизнью и судьбой, иные и характером-то еще не сформировавшиеся, они-то, они-то как же будут бедовать, в самом-то начале сознательной жизни как устоят, как вынесут испытания во фронтовой обстановке, коя не всем взрослым, стойким и крепким людям по плечу? Порой отчаяние охватывало старого вояку, познавшего не только самое войну, но и все прелести, сопутствующие ей, не раз, не два хватался он за голову: «Погибнут! Все как один погибнут, сгорят в том неразборчивом, всепожирающем огне войны, не оставив за собой ни следочка в жизни, ни памяти никакой, потому как и жизни-то у них не было».

Но вот каждый голосишко норовит пристроиться к другому, поддержать его, подпереть, силы всему хору прибавить, и ощущал сердцем, чуял кожей своей старшина Шпатор: каждый его боец, как и он сам, в восторженном ознобе сейчас, холодок у каждого течет под рубаху, проникает внутрь, покалывает сердце, и ощущает каждый в себе незнаемую силу, полнящуюся другой силой, которая, слиясь с силой товарищей своих, не просто отдельная сила, но такая великая мощь, такая сокрушительная громада, перед которой всякий враг, всякое нашествие, всякие беды, всякие испытания — ничто!

В эти минуты старшина Шпатор твердо поверил: его ребята, юные эти шпанята, заломают врага и живы будут, все-все живы.

— Вот, значит... песня, памаш... как поют, памаш! — отерпшими губами шевелил он.

Когда песня отделилась от этой темной гнилой дыры, не давши казарме задушить ее, но скорее замерла в груди солдатской, высвобожденно дышащей, старшина Шпатор услышал странные звуки за печкой. Это, уже, видать, в потемках, вернулся Володя Яшкин и тоже слышал песню. С головой укрывшись куцей шинеленкой, помкомвзвода плакал. Маленькое худое тело его дергалось, шинель помахивала рукавом. Сердце старшины сжалось, заныло — недавний фронтовик Яшкин зря может ругаться, визжать, шуметь, но плакать зря не станет. Яшкин лучше Шпатора знал, что ждет тех певцов на войне, в окопах. А может, лекарства так подействовали на помкомвзвода, думал старшина Шпатор и какое-то время сидел еще, вслушиваясь в унимающуюся жизнь казармы.

Там, в казарме, на верхних нарах, кутаясь в теплый мех нового полушубка, костлявым пальцем утирая глаза, человек, совершенно не умеющий петь и все же соединившийся в песне со всеми товарищами, расслабленно вздохнул: «Дант Дантом, Бодлер Бодлером, но жизнь такова, что ныне ей нужнее Джамбул...» — и, всхлипнув, уснул столь покойно и глубоко, что едва ли спал так дома, на барских пуховиках.

Генерал Лахонин, представитель Воронежского фронта, тот самый, что повстречался когда-то бредущим с лесовытаски красноармейцам, и его давний друг, соратник еще по полковой школе — майор Зарубин, только что выписавшийся из госпиталя и поступивший в распоряжение Сибирского военного округа, вместе с представительной комиссией принимали маршевые роты во вновь формирующуюся Сибирскую дивизию, в том числе и роты, подготовленные в двадцать первом стрелковом полку.

На первый взгляд войско выглядело совсем недурно. В новом обмундировании, туго запоясанные, браво заправленные, в новых шапках-ушанках с ярко горящими на лбу звездочками, боец к бойцу, нога к ноге, пара к паре — в две шеренги стоят. Лишь несколько орясин по два метра ростом нарушали строй и портили ранжир. Но хоть на этот раз учли обстоятельство: подбирали обмундирование по красноармейским книжкам, где все размеры, группа крови и даже иммунологические и социологические данные, пусть в кратком

изложении, значились. Верзилам шили одежду по заказам, а то ведь карикатуры — не солдаты.

Все вроде бы нормально, поворачивай роты направо и шагом арш грузиться в эшелоны. Но въедливый педант майор Зарубин, уже набедовавший на фронте, хотел досконально знать, кто, в каком качестве, в каком виде, в каком состоянии едет не щи хлебать, но воевать, и воевать не с тем вероломством своим и трусостью своей смущенным, запуганным, даже шороха куста боящимся врагом, какого изображают в родном кино и на газетных карикатурах, а с врагом, хорошо обученным, воевать умеющим не только храбро, но и расчетливо, не дуром, не прихотью одной, не только самоуверенным нахрапом пропоровшим половину советской страны, с боями в сражениях, порой невиданно кровопролитных, достигшим и упершимся в Волгу, забуксовавшим на берегу ее, в Сталинграде. Надо было противостоять организованной, крепкой военной силе такой же или еще лучше и крепче организованной, боеспособной силой.

Просмотрев в медсанчасти санитарные карты боевого состава, как попало, наспех заполненные, майор Зарубин заключил, что в полном здравии народу в полку достаточно много, но хватает и таких людей, что переболели или болеют дизентерией, бронхитом, их мучает кашель, малокровие и эта самая гемералопия — куриная слепота, из редкой смешной болезни превратившаяся в массовую эпидемию, порожденную наплевательским отношением к «человеческому материалу», как привычно и бездумно именовали тыловые деятели рядовых воинов в разного рода военных отчетах, донесениях и во всевозможных бумагах, которых, чем дальше шла война, чем хуже становились дела на фронте и в тылу, тем больше и больше плодилось. Канцелярия, от веку на Руси защищавшаяся от войны видимостью бурной деятельности, рожала потоки бумаг, море пустопорожних слов.

Двадцать первый полк расположен недалеко от городов, почти на берегу реки, в сосновом лесу, годном хоть на сырое, да топливо, на всяческие, столь необходимые человеку нужды. Полковник Азатьян со своими помощниками извлек из выгодного стратегического расположения своего полка все, что можно извлечь, насадил нервы военным чинам в штабе округа, себя изодрал в клочья, но все же поголовного мора, сокрушительного разгула болезней не допустил, а эта инициатива самим себе заработать хлеб на зимней уборке,

подкрепить на сельской работе здоровье ребят, дать им дохнуть перед отправкой на фронт хоть маленько волей и чистым воздухом родины — просто неоценима.

Если командиры полков, батальонов, рот в прифронтовой полосе получают время и возможность подзаняться бойцами из вновь прибывших соединений и пополнений, в условиях, приближенных к боевым, научат стрелять, не жалея патронов и мин, поутюжат их танками, погоняют, из пареньков этих, пытающихся браво выглядеть, и на деле получатся brave воины. Но, к сожалению, давно гонят, бросают и бросают в бушующую ненасытную утробу войны этот самый «человеческий материал», чтобы хоть день, хоть два продержаться в Сталинграде, провисеть на клочке волжского берега, а в Воронеже — не отдать больницу, стоящую на отшибе, потому как пока есть они — клочок берега и больница, можно докладывать Верховному Главнокомандующему и сообщать народу, что города эти не сданы, а Главнокомандующий будет делать вид, что верит этому, и уверять надсаженный народ его помощники будут: мол, стоят, уперлись доблестные войска, борются с выдыхающимся врагом, с его превосходящими силами. Под Великими Луками вон начали наступление в честь дня рождения великого вождя и полководца. По фронтовым сусекам заметенные, с жиденькой огневой поддержкой и оснащённостью, выполняя патриотический священный долг, доказывая нежную любовь к вождю и учителю, войска залезли в болота и не знают теперь, как из них выбраться, несут огромные потери. «Бьют нас, бьют, учат нас, учат немцы воевать и никак не могут научить», — досадливо морщился генерал Лахонин, встретив своего друга и беседуя с ним наедине за чашкой чая.

Майор Зарубин и генерал Лахонин настояли на том, чтобы самых слабых, ослепленных гемералопией, пораженных переходчивыми болезнями бойцов оставили в полку, подлечили и тогда уж отправляли бы вдогонку дивизии с пополнением на фронт. Воронежскому фронту, скрытно готовящемуся к наступлению, нужны были резервы, крепкие, хорошо подготовленные. Деятелям же двадцать первого полка не хотелось иметь брака в работе, получить втык от командования, а сбуть всех вояк подчистую, да и двадцать пятый год с остатками двадцать четвертого, с подметенными по лесам и весям резервистами и разным бедовым народом, укрытым от войны, где хитрыми чинами,

где тюрьмами, уже катил в эшелонах, на подводах, в машинах по направлению к Новосибирску и Бердску. Скоро-скоро — открывай ворота. Начинай все сначала.

Мудрые руководители заскребали остатки мужичков по Руси, переложив их непосильные обязанности, надсадную работу на женщин, стариков и детей. Войне еще и конца не видно, но российская деревня почти опустела, в надорванном государстве разом все пошатнулось, захудало, многие казармы в полку были уже непригодны даже для содержания скотины. Санчасть ютится все в том же обветшалом, тесном помещении, хорошо хоть столовая есть, рядок новых, на жилье похожих за счет самообслуживания казарм срублено, разросся конный парк, есть на чем вывозить строевой лес, поставлять солону, дрова, фураж, продукты, амуницию. Много чего требуется людям, пусть они всего лишь служивые, пусть ко всему привычные и притерпевшиеся люди.

После большой ругани в штабе, горячего спора с Азатьяном в полку осталось около двухсот бывших призывников, из них половина неизлечимо больных будет комиссована и отослана домой — помирать.

Легко отделался двадцать первый стрелковый полк. Генералу Лахонину доводилось бывать в Гороховецких лагерях в Горьковской области, в Бершедских лагерях под Пермью, в Чебаркуле за Челябинском — везде дела обстояли из рук вон плохо, везде был провал, наплевательское, если не преступное отношение к людям. Но то, что он увидел в Тоцких лагерях в Оренбуржье, даже его, человека, выдавшего виды, повергло в ужас.

Тоцкие лагеря располагались в пустынной степи. Весь строительный материал здесь состоял из ивняка и кустов, растущих по берегам реки, и дерна. Из ветвей сплетались маты, были они потолком, полом, стенами, нарами, а травяным дерном крылись верха землянок вместо крыши. Сушеные прутья и степной бурьян употреблялись на топливо, на палки, заменявшие учебное оружие, на указки, которыми политруки во время политбеседы водили по картам, показывая «героически» оставленные наши города и земли, на костыли, на опорные трости для доходяг — на все, на все шли приречные ивняки, в смятении все дальше и дальше отступающие от зачумленного военного городка.

Ивовые маты кишели клопами и вшами. Во многих землянках пересохшие маты изломались, остро, будто ножи, протыкали тело, солдатики, обрушив их, спали в песке, в пыли, не раздеваясь. В нескольких казармах рухнули потолки, сколько там задавило солдат — никто так и не потрудился учесть, уж если наши потери из-за удручающей статистики скрывались на фронте, то в тылу и вовсе Бог велел ловчить и мухлевать.

Песчаные пыльные бури, голод, холод, преступное равнодушие командования лагерей, сплошь пьющего, отчаявшегося, привело к тому, что уже через месяц после призыва в Тоцких лагерях вспыхнули эпидемии дизентерии, массовой гемералопии, этой проклятой болезни бедственного времени и людских скопищ, подкрался и туберкулез. Случалось, что мертвые красноармейцы неделями лежали забытые в полуобвалившихся землянках, и на них получали пайку живые люди. Чтобы не копать могил, здесь, в землянках, и зарывали своих товарищей сослуживцы, вытащив на топливо раскрошенные маты. В Тоцких лагерях шла бойкая торговля связочками сухого ивняка, горсточками ломаных палочек. Плата — довесок хлеба, ложка каши, щепотка сахара, огрызок жмыха, спичечный коробок махорки.

Много, много пятен, язвочек от потайных костерков вдоль полувысохшей реки, под осыпистыми ярами, издырявленными ласточками-береговушками. По костеркам и остаткам пиршества возле них можно было угадать, что люди дошли до самой страшной крайности: как-то умудрялись некоторые уходить из лагеря, хотя тут все время их всех занимали трудом и видимостью его, в степях и оврагах раскапывали могильники павшего скота, обрезали с него мясо. И уж самый жуткий слух — будто бы у одного из покойников оказались отрезаны ягодицы, будто бы их испекли на потаенных костерках...

Никто из проверяющих чинов не решался доложить наверх о гибельном состоянии Тоцких и Котлубановских лагерей, настоять на их закрытии ввиду полной непригодности места под военный городок и даже для тюремных лагерей не подходящего. Все чины, большие и малые, накрепко запомнили слова товарища Сталина о том, что «у нас еще никогда не было такого крепкого тыла». И все тоцкие резервисты, способные стоять в строю, держать оружие, были отправлены на

фронт — раз они не умерли в таких условиях, значит, еще годились умирать в окопах.

«Не-эт, здесь хлопцы ничего, с этими еще повоюем», — взбодряя себя, думал майор Зарубин, сразу же после госпиталя выхлопотавший себе направление на фронт с резервными подразделениями.

В сформированные части срочно отправлялось оружие, боезапас, письменным приказом под ответственность командиров частей в пути следования и в эшелонах изучение транспортной и боевой техники не должно было прекращаться.

«Сожгли безоружное ополчение под Москвой, стубили боееспособные армии под Воронежем и в Сталинграде, с колес, необстрелянных, плохо обученных людей бросая в бой, теперь вот спохватились, уразумели, нельзя так дальше воевать. России может не хватить на многолетнее истребление, всеобщий убой, и она, родимая, не бездонный колодец!» — толковал генералу Лахонину майор Зарубин. Генерал радовался, что отыскал старого друга, въедливого, непреклонного в своих действиях и решениях командира, которых так не хватало в армии, полегли они на западных рубежах страны во время боев и отступления в сорок первом году, попали в плен, да и поныне, уже во глубине России, на окраинах ее гибнут в наших концлагерях.

Со своими ротами на позиции отсылалось все командование первого батальона, себя скомпрометировавшее в тылу нападением солдат на командира, дезертирством братьев Снегиревых, дезорганизацией суда над Зеленцовым, воровством, разгильдяйством и многими-многими другими позорными деяниями, недопустимыми в передовых рядах эркака. В штабе военного округа не могли позволить, чтобы командиры непобедимой Советской Армии, допустившие такие промахи, продолжали заниматься подготовкой кадров для героически сражавшегося фронта, тем более в таком достославном полку, как двадцать первый, не раз отмеченном благодарностями местного и главного командования. Где гарантия, что впредь эти командиры не допустят упущений в ответственной работе? Не-эт, пусть уж лучше будут там, где им хочется быть. С Богом! Здесь вон орлы в очередь стоят, в затылок друг другу горячо дышат, глазами «сиятельств» пожирают, готовые проявлять денно и ночью всяческое усердие и послушание и отличиться, чтобы только не в пекло, не на этот всех и



вся пожирающий фронт. Выжить, любым способом выжить, уцелеть, продлить свои достославные дни. И шныряли по тылам, докладывали, обманывали, доносили, предавали служивых бесовски ловкие ярыжки с лицами и ухватками дворовых холуев, всегда готовых быть и придворным, и палачом, и лизоблюдом, и хамом.

Скорик уже уехал. Пшенного тоже куда-то девали, и хорошо сделали — ребята из первой роты собирались «потолковать» с ним на прощание, а если такие основательные парни, как Костя Уваров и Вася Шевелев, потолкуют да им поможет псих Булдаков — лекарств в санчасти не хватит лечить товарища Пшенного...

Не только командиры проштрафившихся рот, но и участвовавшие в боях, минометная рота, взвод пэтээрщиков, полурота пулеметчиков с новыми «максимами», со своим конным обозом из двадцати подвод тоже уходили на фронт. Все добро сколочено, смолочено, выхлопотано, вырвано из глотки, завезено, выстроено не без участия и энергии командира полка. Командование округа было довольно его деятельностью, и хотя полковник Азатьян целился уйти со своим полком на фронт, настаивал, ругался, рапорты писал — все его просьбы остались без удовлетворения.

Крестьянину на базар снарядиться — и то мороки сколько, хлопот, а тут ведь не на базар, не к теще на блины снаряжались люди — на войну. Ребята, помогавшие грузить и сопровождать грузы на станции Бердск и Новосибирск, поражались, как много всего надо боевому соединению, начиная с топлива, с досок, с гвоздей для сколачивания нар в вагонах и кончая оружием, боеприпасами, лошадьми, провиантом, приборами для разведки и наблюдений. Говорили, что это лишь малая часть добра и оружия, что довооружение произойдет уже в прифронтовой полосе, в армии, в которую вольется Сибирская стрелковая дивизия. И все это добро стоило денег, труда, ведь только чтобы сутки пропитать один лишь двадцать первый полк, десять его тысяч человек, — не одному району, не одной фабрике надо сутки, может, и неделю работать. А ведь еще и обуть, и одеть, и обогреть, и вооружить надо, да и дармоедов содержать надо, их в армии, дармоедов-то, столько, что на колхозных счетах и не сосчитаешь. Какое же это разорительное дело — война, начинали понимать молодые парни и рассуждать на эту тему пробовали.

Меж тем майор Зарубин метался между Новосибирском и Бердском, чтобы все предусмотреть, предвидеть, лишний раз перепроверить. Повидавший в прах разбитые, на все стороны разогнанные войска, побросавшие добро свое, лошадей и повозки, оружие, людей, он знал дорогую цену военному имуществу, с надсадой изготовляющемуся мирным народом, разоренной стране нужны еще будут и добро и люди, ох как нужны. Хватит уж сорить людьми, хватит сорок первого года, когда лучшие бойцы погибали, не увидав врага, не побывав даже в окопах, под бомбежками в эшелонах, на марше; не дойдя до передовой, целые соединения оказывались в котле, в окружении, все их обучение военной науке, вся их жизнь полуголодная, многотрудная, часто чудом сохранившаяся в надломленно живущей стране, — все-все это шло насмарку. Напрасная гибель, бесполезная жизнь — ах, как горько это знать.

И дай Бог, чтобы там, под Сталинградом, полк этот, вливающийся в свежую дивизию, укрепился, повоевал, закалился в боях, принес бы ту пользу фронту и облегчение стране, ради которой, напрягая все силы, изнемогая, работает народ, ради чего, наконец, эти ребята перенесли все лишения, вытерпели гнилые казармы, подлый быт учебного подразделения. Эти вот самые ребята, строго подобранные в напряженном строю, разом посерьезневшие.

Полковнику Азатьяну было предоставлено слово. Он легко взбежал по трем ступенькам на крохотную праздничную трибуну, краска на которой не подновлялась с 7 ноября, облупилась от морозов, обвел плотно стоящих поротно бойцов, слившихся в сплошные кремовые полосы — полушубки, воротники, загнутые рукава и шапки с белой оторочкой смотрелись ранними сибирскими подснежниками с чудным названием сон-трава, которыми скоро, совсем скоро засияют берега Оби, оживится просторный бердский сосняк, но эти парни уже не увидят вешнего цветения.

— Товарищи! — негромко произнес командир полка и замолк, сдвинул перила трибуны руками в черных перчатках. — Это какое же сердце надо иметь, чтобы все время отправлять и отправлять вас туда. Вы же... вы же все мне дети! Мои дети! Ах, Господи, лучше бы мне с вами, может, я бы пригодился вам, кому помог, кого уберег... Какие вы все еще молодые!.. И какие красивые!.. А война все идет, все идет! Мы пытались делать для вас добро. С добром в сердце отправляйтесь на

фронт и вы. Выполняйте честно свой долг! Бейте врага! За матерей, за сестер, за Родину, за Сталина и... за меня маленько! — Полковник Азатьян слабо улыбнулся, строй чуть шевельнуло. — За меня, за всех нас! Мы вам желаем жизни, скорого возвращения домой с победой! Ура, товарищи!

Негромкое и недружное «ура» последовало в ответ — не привыкли в двадцать первом полку кричать «ура», да и учиться незачем было, на фронте его тоже не кричат — в кино только, в военном, героическом, кричат и дурачат врагов, крушат их весело и забавно, порой даже поварским черпаком.

Крикнув «смирно!», полковник Азатьян сбежал с трибуны и, перейдя на размеренный торжественный шаг, приблизился к генералу Лахонину, красиво вскинул руку к каракулевой папахе.

— Товарищ генерал-лейтенант! Маршевые роты двадцать первого стрелкового полка готовы следовать по назначению!

Генерал Лахонин принял рапорт, пожал руку полковнику, они встали в ряд — генерал, полковник и майор.

— Товарищи командиры и красноармейцы! Благодарю за службу! — подобравшись, внятно и четко сказал генерал Лахонин.

В ответ выдано было: «Служим-совску-су-зу!»

— Вольно! После десятиминутного перерыва всем снова в строй.

Бойцы толкались, смеялись чему-то, все возбужденно радовались, охотно табаком, у кого он велся, делились, в полку его так ни разу и не выдали, кто незнаком, знакомились, ведь теперь они все родня друг другу — фронтовики. Все надеялись, что попадут в одно место, в одну часть, и твердо верили — там-то пропасть не дадут! Никакого зла, остервенения, никаких придинок друг к другу, словно бы все прошли чистилище, одновременно и от скверны душевной избавились, однако дальней какой-то частью ума и притихшего сердца чувствовали: идут они все-таки в окопы, на смерть, — изо всех сил пытались представить, да и Бог с ними, с окопами, пока вот волнительно все, дружно, торжественно, как бы и празднично даже, оттого ребята веселы, компанейски спаяны. Бесшабашность их посетила: да мы, да там, да так дадим! Не надсаженные еще окопной жизнью, не битые, чистые пока, здоровые, настоящих житейских бурь и страданий не испытывавшие, да и сердца не надсадившие, сердце за них надсаживали, страдание и смерть принимали родители, селясь в голодные годы, при

разгуле бесовства, в царстве юродивого деспота — выкормить, поднять и сохранить их для служения земле родной, для битвы, которая им предстояла.

Среди шума, сбора, собора, смеха, шуток так и позывало к кому-то прислониться, выговориться, выплакаться, может, на что-то и пожаловаться.

Русские люди, как обнажено и незлопамятно ваше сердце! Можно рукой потрогать его под полушубком, услышать ладонью его тревожный стук, его доверчивое тепло почувствовать. А тут еще старшина Шпатор со своим прощанием! Обходя строй первой роты, он обнимал каждого красноармейца, повторяя:

— Простите меня, дети, простите!.. Чем прогневал... чем обидел... Не уносите с собою зла... — Дошел до командира роты, утерся большим серым платком, полюбовался Щусем и развел руками. — Ну вот что тут сделаешь, памаш? Будто родился в военной форме! Ну, Алексей Донатович, родной мой, себя береги, ребятки береги. С Богом!

Они обнялись, старшина троекратно расцеловался с ротным. Яшкина Володю, своего постояльца по каптерке, тоже обнял, похлопал рукой по спине и тут же замельтешил, заплясал вокруг роты:

— Все взяли? Никто ничего не забыл? Если кто чего забыл, весть дайте, я здесь остаюсь. Дальше маяться с вашим братом...

Старшина Шпатор дошел с ротой до учебного поля, с подбегом попадая в ритм, пытался чеканить шаг, но скоро выдохся, на краю соснового бора отстал, напалком рукавицы вытирая мокрые усы.

Полк, растянувшийся версты на две, головной колонной достал дальний конец дороги, повернул к станции, и вместе с другими ротами первая родная рота-мучительница первой вступила в дымчатый лес, растворилась в морозной мари.

Старшина Шпатор, опустив голову, разбито побрел в опустевшую казарму, в свою казенную, обрыдлую до смерти дощатую каптерку.

В военном городке Новосибирска, за речкой Каменкой, в старых, дореволюционных еще царских казармах сводились маршевые роты стрелковой дивизии. У людей подвальных казарм и землянок появилась возможность убедиться в том, что «прогнивший строй» умел тем не менее строить на века. Кирпичные казармы с толстыми

стенами, да еще и с вензельками карнизными, сухие, теплые, просторные, со множеством служебных комнат, в том числе с умывальными и туалетными местами внутри помещения.

Здесь, в казармах, перед отправкой на фронт разрешено было служивым после занятий повстречаться с родственниками и подружками, у кого они имелись. Сюда же, за речку Каменку, продвинулся небольшой подвижный базарчик с мешками табака, семечек, с картофельными лепешками и варенцом в банках. Вместе с базаром явились говорливые шустрые фотографы, способные не только быстро заснять на карточку хоть одного, хоть группу бойцов, но уже через сутки вручить им сырые, зато очень хорошие фотографии, на которых каждый человек выглядел хоть немножко красивей и бравей, чем был на самом деле.

Эта-то вот особенность искусства больше всего радовала военных люд, ребята уже знали, у какого фотографа получают карточки красивше, к нему и очереди выстраивались. Молодые нарядные бойцы еще не ведали, что многим из них и суждено будет остаться в родном доме в самодельной рамочке, в альбоме ухажерки иль невесты единственной той предфронтальной фотографией. Забыв живой образ сына, брата иль жениха, его и вспоминать будут по карточке, называя красавцем ненаглядным.

В каптерках казарм, в красном уголке, в служебном помещении комбатов, командиров рот, пригорюнясь, сидели усталые женщины с красными от ветров и морозов лицами, приспустив шалюшки, смотрели, как дитя, стриженое, худое, бледное, шибко с осени повзрослевшее, ест домашнюю стряпню, привычное наказывали, говорили то, что век и два века назад говорили уходившим на битву людям: беречь себя, не забывать отца-мать, чаще писать с фронта, — крестя украдкой служивого, вознося молчаливую молитву Богу, вновь в сердце вернувшемуся, о спасении и о бережении дитя родного.

Ребята, непривычно томясь и смущаясь, выслушивали наказания старших, кивали, соглашались, не зная еще, что сердце отца-матери уже угадало вечную разлуку, не понимали, отчего родители плачут, хмурились и даже осаживали родителей, когда замечали, что те крестятся и их крестят. Облегченно себя чувствовали, когда родители наконец уходили с нудного свидания. Глянув в затемненный угол, где при царе стояли иконы над лампадой и где вместо икон ныне в ряд

лепились вожди мирового пролетариата, женщины взваливали на плечи пустые холщовые мешки, в которых гремели кринки, бидоны или банки из-под молока, редко-редко стеклянная поллитровка — на фронт уходило поколение, не пораженное еще российской пагубой, не успевшее научиться пьянству. Ах, как потом, на фронте, в крайнюю минуту или сгорая на госпитальной койке, жалеть будет сибирский парень о том, что не обласкал мать, не прижался к ее груди в последние минуты, не сказал те самые нежные, самые важные слова, которые должен был сказать, да еще и креститься запрещал.

Подружки-девушки стеснялись на людях, которые еще и побаивались заходить в старые, пусть и не зловещие, но все же казенные помещения. Парочки лепились по скамейкам вокруг казарм, сидели, обнявшись, прижавшись друг к другу, вроде бы никого и ничего вокруг не замечая. Иные парочки пробовали уединиться, прятались по углам, отыскивали всевозможные ухоронки за деревьями, за поленницами — да где же на все-то войско наберешься укромных мест?

Много-много лет спустя молодой русский поэт, угадывая состояние своих давних сверстников, будто впаяет в ранние солдатские могилы, в несуществующие надгробья литые слова:

Мы с тобой не играли в любовь,  
Мы не знали такого искусства.  
Просто мы за поленницей дров  
Целовались от странного чувства.

В первую роту, спаянно и родственно державшуюся после сельхозработ в селе Осипове, нагрянула Валерия Мефодьевна. Она обхватывала нарядных бойцов обветренными руками, пыталась целовать тех, кого узнавала, — такая серьезная, такая видная женщина, и вот...

Валерия Мефодьевна привезла красноармейцам не только пламенные поцелуи и приветы от осиповских зазноб, но и поклоны от хозяев, в избах которых квартировали служивые, да и не одни только пустые поклоны. Из холщового мешка, набитого под завязку, она принялась извлекать узелки, торбочки, кошелки со всякой разной

продукцией. Бойцы что дети сбились вокруг, ждут, нетерпеливо приплясывая, радуются, получив подарочек, отбегают в уединение — читать записки. Начальница — баба битая, еще и драматичности добавила в это массовое действие:

— А где это у нас тут Коля-Николай, по фамилии Рындин? Где этот сердцеед-негодник, под корень подрубивший нашу замечательную повариху? — будто не видя до краски смущенного молодца, вопрошала хитрющая женщина.

Коля Рындин вынужден был подать голос из толпы: «Тута я, тута. Чего надо-то?»

Бойцы-товарищи, упираясь, словно в тяжелый воз с соломой, толкали сердцееда в спину, подвигали ближе к гостье. Потомив немножко человека, гостья выдала сердцееду белый мешочек, завязанный розовой ленточкой, в петельку которой вдет записка, на записке крупными буквами обозначено: «Любимому моему Количке». Коля Рындин аж зашатался, принимая стафет: «Ну, к чему это? У самой робенок...»

Но его уже никто не слушал, и он удалился читать записку да придумывать ответ, поскольку Валерия Мефодьевна сказала, что без ответов не уедет, да никто ее домой без ответов и не пустит.

Посылка Васконяну, Хохлаку и Шестакову от стариков Завьяловых. В посылке письмецо, писанное Корнеем Измоденовичем при участии Настасьи Ефимовны.

«Государь ты наш Ашот, как по бабушке — не запомнили. Дорогие вы наши Леша и Гриша! Посылаем мы вам подарочек, а также пожелания всем вам доброго здоровьица...»

Оно и небольшое было, письмецо-то, но обстоятельное, трогательное, в конце письма сообщалось, что Дора и Шура вернулись домой, на центральную усадьбу, но все равно и от них следуют приветы.

К троим этим красноармейцам на свидание никто не приезжал, у всех троих капиталов не велось, и посылка стариков Завьяловых, их доброе письмо заменили ребятам домашние приветы и посылки. Они делились гостинцами с теми, к кому вовсе никто не приезжал, никто

ничего не присылал. В других ротах ахали и удивлялись, завидовали товарищам своим, сподобившимся так отличиться и такое внимание завоевать у мирного населения, потрудившись на сельхозработах! Петька Мусиков, шнырявший по базарчику, снова объелся, снова почту гонял. Леха Булдаков на базаре отыскал банду картежников, объегоривал доверчивых простаков-чалдонов.

Понимая ситуацию — не за тем ехал человек в такую даль, чтобы всех перецеловать, — дневальные бросились отыскивать ротного и нашли его в помещении для командиров. Он, рожа наодеколоненная, гордыню проявил, характер показал — на восторженное сообщение отреагировал холодно:

— Чего раздухарились-то? Как навидаетесь с дорогой начальницей, сюда ее проводите.

Валерия Мефодьевна тоже не вдруг-то поспешила к командиру в уединение, пока не обласкала всех своих парнишек, пока не обсказала все о делах совхозных, в особенности подробно о тоскующих зазнобах, с места не сдвинулась.

— Ну и панику ты на сибирское войско навела! — поднимаясь навстречу гостье, рассмеялся Щусь.

— Я вот всех девчат из Осипова обозом сюда доставлю. Такая ли еще паника будет! — Валерия Мефодьевна обняла Щуся, отступила на шаг, оглядела с ног до головы. — Ты вот один не сохнешь. Совсем бравый кавалер сделался в новой-то амуниции. Есть хочешь?

— Хочу.

— А выпить?

— Как всегда.

— А-а...

— Ну, это само собой разумеется!

— Хулиган.

— Командование так не считает.

— А что оно, командование, в людях понимает? Да еще в таких самоуверенных, как ты?

«Ночевать останется», — шелестел шепот в первой роте. «Ага, ночевать! — осаживал служивых Коля Рындин. — А коня куды? Я вот сходил, супонь и чересседельник распустил, из кошевки сена коню бросил...» — «До коня ли тут, ковды сердце в ключья?!» — «Все одно



коня кормить и поить надобно...» — «Вот и напои, помоги родному командиру. Он родину потом спасет!..»

Однако дружба дружбой, но служба — службой. Поздним вечером Валерия Мефодьевна тихо-мирно убралась из казармы, прикрывая шалью растерзанные губы, и, к удивлению своему, обнаружила совхозную лошадь обихоженной, напоенной и бдящего возле лошади солдата в кошевке под сеном нашла.

— А-а, это ты, Коля?

— Я, я, Валерия Мефодьевна. Щчас запрягу. На всякий случай при коне был. Тут ведь народ-то хват на хвате, ой-е-ей, оторвы! Токо моргни — ни хомута, ни шлеи, ни седелки — на подметки утартают, после и подметки оторвут.

— Спасибо, Коля. По Аньке-то тоскуешь?

— Да как те сказать? С одной стороны, навроде тоскую, с другой стороны, и нековды. Сборы-соборы, суета, не забыть бы чего думаешь, команду в срок и ладом сполнить норовишь.

— С одной стороны! С другой стороны! Я вот возьму да привезу девчат. Плачут они, дуры, по вас. — Валерия Мефодьевна чуть было не проговорила, что Анька получила похоронку на мужа и теперь плачет по нему, а может, по Коле, может, и по обоим сразу — баба она сердобольная.

— Дак че тут сделаешь? — развел руками Коля Рындин. — Отродясь так было: бабы плачут, мужики скачут! — Обрядив лошадку, вежливо подтыкав под сиденье остатки сенной объеда, Коля Рындин со вздохом добавил: — Насчет девчат, пожалуй что, не успеешь. Робята сказывали — завтра отправка. А солдаты от веку больше царя знают. Ну, спасай тебя Бог!

— Спасет, спасет, если вы спасете, — отстраненно глядя куда-то, вздохнула Валерия Мефодьевна и, тронув вожжи, вроде бы как сердито добавила: — Аньку-то не забывай. Верная баба, истинно — русская баба, хоть и нраву бурного.

Полк по боевой тревоге вывели из казарм на рассвете. Пока собирались, пока выстроились, пересчитались, перепроверились, отыскивали засонь и самовольщиков, собрали разгильдяев, среди которых, конечно же, скрывался и Петька Мусиков, и закаленный в борьбе со всякими порядками бес Булдаков. Петька Мусиков успел уже

толкнуть вторую пару белья, новые портянки, подшлемник, обожрался картофельными лепешками и скандально доказывал, что все это лоскутье ему в походе не нужно, кушать же охота, потому как заморили его в запасном полку, обожрало его в роте советское командование. Дневальные заволокли Петьку обратно в каменную казарму, надавали пинкарей. Он орал и матерился на весь военный городок. Но вот наконец-то унялся и Петька Мусиков, стоит в строю вроде как вместе со всеми, слушает напутственную речь какого-то важного комиссара, на самом деле дремлет, порыгивая, пуская горячий дух в новые валенки.

У оратора рожа по габаритам мало чем отличается от старорежимных казарм, из алого кирпича сложенных. В разьеме комсоставского полушубка видны золотистые, празднично сверкающие звезды, в остальном же политический начальник одет во все походное, боевое, хотя ни в каких походах он не бывал и ходить, тем более ездить, не собирался, однако всем своим видом, полевой амуницией показывал, что сердцем и телом, распирающим форменную одежду, он там, в сражающихся рядах, да что в рядах, он, как на плакатах, — впереди их, с обнаженной саблей в одной руке и со знаменем в другой. И вдохновленные его пламенным словом, идут за ним патриотические массы в кровавый бой и готовы умереть за него, за Родину все до единого.

«Шкура! — очнувшись от сладкой дремоты, икнул Петька Мусиков. — На тебе бы, на курве, бревна возить, а ты языком молотишь...»

И кабы один разгильдяй, кабы только несознательный элемент Петька Мусиков так думал — так думали многие бойцы, однако большинство и думать-то себе не разрешало, полагая, что так оно и должно быть: одним морды в тылу наедать, другим умирать в боевых окопах.

Пока, надсаживаясь, все более багровея от словесных усилий, выбрасывая пар из свежесбритой пасти, кричал оратор про Родину, про партию, про долг, про родного отца всех народов, но в первую голову про героические сражения, кипящие там — указывал он на запад, — с обратной стороны, с востока, выкатилось солнышко и, проморгавшись со сна, начало плясать на многолюдный военный строй.

Наконец торжественное напутственное слово иссякло. Настроил бойцов на подвиги политический начальник, заработал еще один орден, прибавку в чине и добавку в жратве.

— Н-ннн-на-пр-ря-о! — совсем близко раздался голос командира первой роты. — Ш-ш-ш-шшшго-ом!

И в это время неожиданно и звонко ударил впереди оркестр. В строю у всех разом сжалось сердце от старинного, со времен Порт-Артура звучащего по русской земле военного марша. Под него, под этот марш, сперва не вступ ногой, но с каждым шагом все уверенней, все слаженней двинулась первая рота, колыхая над собой пар дыхания, вытягивая за собой колонну. За нею, топающие на месте, как бы разгон набирающие, сдвинулись, приняли движение другие ротные ряды. И когда первая рота уже спустилась к речке Каменке, ступила на старый, тоже при царе излаженный мостик, последняя рота била шаг возле казарм, только еще намереваясь попасть в лад отдаленно звучащему оркестру, готовясь сделать шаг вслед людской колонне.

Солнце, вкатившись горячим колобком на крыши закаменских деревянных домов, выглядывало из-за дымящихся труб, приостановило свой ход, как бы заслушалось походной музыкой, но изнутри все же разогревалось, плавилось, струя горячий металл во дворы, палисадники, в безлюдные улицы, плеснуло и войску под ноги горячей лавы. И слился небесный огонь с сиянием медных труб, и такой ли яркий свет полился, что уж за ним не угадывалось и не виделось ничего — только звук оркестра, только грохот шагов, только ахающее дыхание и пар, плавающий над колонной, свидетельствовали о том, что в этом ослепляющем, холодном сиянии двигается рать, не ведающая конца пути своего, догадываясь о предназначении свыше лишь объединенным сознанием: там, там, за этим яростно и отчужденно сияющим солнцем, есть сила столь могущественная, что перед нею все земное слабо и беспомощно, только оркестр да грохающие шаги достигают той высоты, той всеми владеющей и повелевающей силы, от предопределения которой судорожит, сжимает сердце. Может быть, впервые так близко, так осязаемо подступило к парням, идущим в строю, сознание неизбежного конца, может быть, впервые они ощутили прикосновение судьбы, роковой ее неотвратимости. И, значит, что? Значит, рать должна льнуть к другой рати, объединиться с миллионами таких, как он, подвластный судьбе и

команде человек. Надо тверже ставить ногу, но слышать могучую поступь за тобой и рядом с тобой идущего народа.

Ы-ыр-р-рас, рры-ыс, рыс! — шагали ноги в лад ударам барабана, под аханье труб, под рулады легкомысленной флейты, и соединялся со строем крепнувший шаг.

Повсюду просыпались собаки и незлым, настойчивым лаем провожали строй. Умные сибирские лайки уже начали привыкать к такого рода беспокойствам.

Техника, кони, кухни, питание были развезены по эшелонам и погружены в ночное время. Маршевые же роты из-за нежелания беспокоить трудовой люд, но скорее всего все по той же причине строгой военной тайны вели к станции кружным путем, глухими окраинными улицами. Окна домов всюду были еще закрыты ставнями, глухие сибирские ворота со всевозможными резными штучками заложены, снег толсто лежал на крышах, черемухи и рябины в палисадниках обреченно опустили в сугробы ветви. Зоркий глаз северного человека ухватил в одном, в другом месте из-под пластушин снега выступившие по крыше натеки, застывшие в виде мышиноного хвостика иль гребешком, они были еще едва заметные, эти отметины солнца, повернувшего на весну. И не от оркестра, сверкающего под солнцем начищенной медью, а от этих вот, может, от неисправной горячей трубы накипевших нечаянных сосуллек ломалось сердце, чужая пока еще далекое тепло, вешнюю траву, цветы, победу — все-все ворожеи в Осипове, и в первую голову главная ворожея тетка Марья, предсказывали победу скорой весной.

Щипнуло в груди при воспоминании об осиповских полях, об осиповских девчонках, о стариках Завьяловых, обо всем хорошем, что происходило в жизни, закипало в горле, слепило глаза. И все же, пусть и сквозь слепящую пленку, Лешка Шестаков заметил впереди на безлюдной улице бабу в клетчатом полушалке, в валенках, насунутых на босую ногу, с коромыслом и ведрами на плечах. Она появилась из ворот крепко рубленного дома, легко одетая, в мужичьем пиджаке, надернутом на ситцевую кофту, добежала до середины дороги, но тут же запнулась, на мгновение обмерла, закрыла вскрикнувший рот ладонью и, круто повернувшись,хватила обратно, со звоном бросила ведра, коромысло во двор, брякнула створкой ворот, охлопала себя, отряхнула подол, ничего, дескать, не было, никаких пустых ведер,

спиной прислонясь к доскам ворот, распластавшись на них, — женщина оберегала воинство от лихих напастей. Через минуту Лешка обернулся: выйдя на дорогу, баба размашисто, будто в хлебном поле сея зерно, истово крестила войско вослед — каждую роту, каждый взвод, каждого солдата осеняла крестным знаменем русская женщина по обычаю древлян, по заветам отцов, дедов и Царя Небесного, напутствуя в дальнюю дорогу, на ратные дела, на благополучное завершение битвы своих вечных защитников.

## Послесловие

Автор хорошо и давно знает, в какой стране он живет, с каким читателем встретится, какой отклик его ждет, в первую голову от военных людей, поэтому посчитал нужным назвать точное место действия первой книги романа «Прокляты и убиты», номера частей и военного округа, а также фамилии и имена уважаемых и тех не уважаемых людей, какие сохранила память.

На том месте, где готовил кадры на фронт двадцать первый стрелковый полк, ныне плещется рукотворное Обское море и с пляжа Академгородка, где летами вповалку лежат отдыхающие, видно горбину голого, грязного острова. Это как раз то место, где располагались солдатские казармы. Казармы же царских времен, как стояли на бугре, за речкой Каменкой, так и стоят бодреньким строем, красненькие узорчато выложенные под крышей, на законниках и над входами. Ни один уголок не выпал, ни один кирпич не раскрошился, и возникшие меж них строения новых времен, уныло-серые, лоскутные, сразу же неряшливо, старо выглядящие, кажутся случайно сюда забредшими, на скорое вымирание обреченными, как и земля вокруг них, паршой покрытая.

В первые годы после возникновения Академгородка кто-то регулярно разбивал изогнутые наподобие рассерженных кобр с раздутыми шеями фонари академического пляжа. «Господи! — думал я, глядя на остров, на тухлые воды, покрывшие древнюю реку. — Уж не сослуживцы ли мои, не братики ли солдатики из двадцать первого полка выходят ночами из мутных вод, покрывших ранние их безвестные могилы, и напоминают о себе и о своей доле таким вот странным, лешачьим образом, спасенным от фашизма гражданам родного отечества, забывшим и себя и нас, все святое на этой земле поругавшим».

*1990–1992*

*Овсянка — Красноярск*

Скачать другие книги [Виктора Астафьева](#).

Подборка "[20 лучших книг о Великой Отечественной войне](#)"